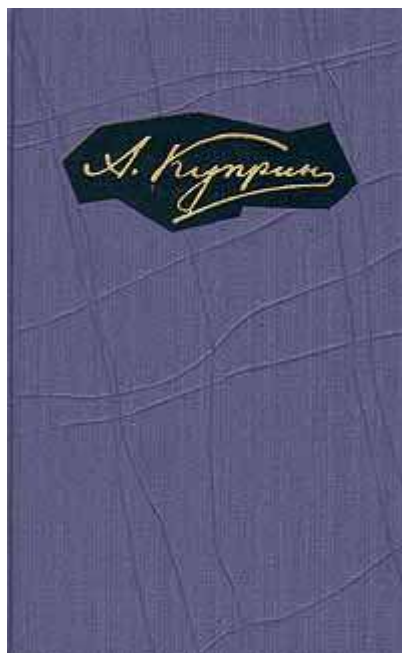


Александр Иванович Куприн
Том 7. Произведения 1917-1929

Серия: *Собрание сочинений Куприна в девяти томах – 7*



*«Собрание сочинений в девяти томах»:
Правда; Москва; 1964;*

Аннотация

В седьмой том вошли произведения 1917–1929 гг.:

- Скорцы
- Храбрые беглецы
- Козлиная жизнь
- Звезда Соломона
- Сашка и Яшка
- Пегие лошади
- Гусеница
- Последние рыцари
- Царский писарь
- Волшебный ковёр
- Лимонная корка
- Сказка
- Пёсик-Чёрный Носик
- Однорукий комендант
- Судьба
- Золотой петух
- Дочь великого Барнума
- Ю-ю
- Пуделиный язык
- Синяя звезда
- Звериный урок
- Инна
- Тень Наполеона
- Рассказы в каплях
- 1. Черепаха
- 2. Шторм
- 3. Философ
- 4. Четыре рычага
- 5. Ёлка в капельке
- 6. Московский снег
- 7. Московская пасха
- Завирайка
- Скрипка Паганини
- Геро, Леандр и пастух
- Ольга Сур
- Четверо нищих
- Домик
- Дурной каламбур
- Соловей
- Бальт
- Типографская краска
- Рахиль

Скворцы

Была середина марта. Весна в этом году выдалась ровная, дружная. Изредка выпадали обильные, но короткие дожди. Уже ездили на колесах по дорогам, покрытым густой грязью. Снег еще лежал сугробами в глубоких лесах и в тенистых оврагах, но на полях осел, стал рыхлым и темным, и из-под него кое-где большими плешинами показалась черная, жирная, парившаяся на солнце земля. Березовые почки набухли. Барашки на вербах из белых стали желтыми, пушистыми и огромными. Зацвела ива. Пчелы вылетели из ульев за первым взятком. На лесных полянах робко показались первые подснежники.

Мы с нетерпением ждали, когда к нам в сад опять прилетят старые знакомые – скворцы, эти милые, веселые, общительные птицы, первые перелетные гости, радостные вестники весны. Много сотен верст нужно им лететь со своих зимних становищ, с юга Европы, из Малой Азии, из северных областей Африки. Иным придется сделать побольше трех тысяч верст. Многие пролетят над морями: Средиземным или Черным. Сколько приключений и опасностей в пути: дожди, бури, плотные туманы, градовые тучи, хищные птицы, выстрелы жадных охотников. Сколько невероятных усилий должно употребить для такого перелета маленькое существо, весом около двадцати – двадцати пяти золотников. Право, нет сердца у стрелков, уничтожающих птицу во время трудного пути, когда, повинаясь могучему зову природы, она стремится в место, где впервые проклюнулась из яйца и увидела солнечный свет и зелень.

У животных много своей, непонятной людям мудрости. Птицы особенно чутки к переменам погоды и задолго предугадывают их, но часто бывает, что перелетных странников на середине безбрежного моря вдруг застигнет внезапный ураган, нередко со снегом. До берегов далеко, силы ослаблены дальним полетом... Тогда погибает вся стая, за исключением малой частицы наиболее сильных. Счастье для птиц, если встретится им в эти ужасные минуты морское судно. Целой тучей опускаются они на палубу, на рубку, на снасти, на борта, точно уверяя в опасности свою маленькую жизнь вечному врагу – человеку. И суровые моряки никогда не обидят их, не оскорбят их трепетной доверчивости. Морское прекрасное поверье говорит даже, что неизбежное несчастье грозит тому кораблю, на котором была убита птица, просившая приюта.

Гибельными бывают порою и прибрежные маяки. Маячные сторожа иногда находят по утрам, после туманных ночей, сотни и даже тысячи птичьих трупов на галереях, окружающих фонарь, и на земле, вокруг здания. Истомленные перелетом, отяжелевшие от морской влаги птицы, достигнув вечером берега, бессознательно стремятся туда, куда их обманчиво манят свет и тепло, и в своем быстром лете разбиваются грудью о толстое стекло, о железо и камень. Но опытный, старый вожак всегда спасет от этой беды свою стаю, взяв заранее другое направление. Ударяются также птицы и о телеграфные провода, если почему-нибудь летят низко, особенно ночью и в туман.

Сделав опасную переправу через морскую равнину, скворцы отдыхают целый день и всегда в определенном, излюбленном из года в год месте. Одно такое место мне пришлось как-то видеть в Одессе, весной. Это дом на углу Преображенской улицы и Соборной площади, против соборного садика. Был этот дом тогда совсем черен и точно весь шевелился от великого множества скворцов, обсевших его повсюду: на крыше, на балконах, карнизах, подоконниках, наличниках, оконных козырьках и на лепных украшениях. А провисшие телеграфные и телефонные проволоки были тесно унизаны ими, как большими черными четками. Боже мой, сколько там было оглушительного крика, писка, свиста, трескотни, щебетания и всяческой скворчиной суеты, болтовни и ссоры. Несмотря на недавнюю усталость, они точно не могли спокойно посидеть на месте ни минутки. То и дело сталкивали друг друга, срываясь вверх и вниз, кружились, улетали и опять возвращались. Только старые, опытные, мудрые скворцы сидели в важном одиночестве и степенно чистили клювами перышки. Весь тротуар вдоль дома сделался белым, а если неосторожный пешеход, бывало, зазеважется, то беда грозила его пальто и шляпе. Перелеты свои скворцы совершают очень быстро, делая в час иногда до восьмидесяти верст. Прилетят на знакомое место рано вечером, подкормятся, чуть подремлют ночь, утром – еще до зари – легкий завтрак, и опять в путь, с двумя-тремя остановками среди дня.

Итак, мы дожидались скворцов. Подправили старые скворечники, покривившиеся от зимних ветров, подвесили новые. Их у нас было три года тому назад только два, в прошлом году

пять, а ныне двенадцать. Досадно было немного, что воробьи вообразили, будто эта любезность делается для них, и тотчас же, при первом тепле, заняли скворечники. Удивительная птица этот воробей, и везде он одинаков – на севере Норвегии и на Азорских островах: юркий, плут, воришка, забияка, драчун, сплетник и первейший нахал. Проведет он всю зиму нахохлившись под застрехой или в глубине густой ели, питаясь тем, что найдет на дороге, а чуть весна – лезет в чужое гнездо, что поближе к дому, – в скворечье или ласточкино. А выгонят его, он как ни в чем не бывало... Ерошится, прыгает, блестит глазенками и кричит на всю вселенную:

«Жив, жив, жив! Жив, жив, жив!» Скажите, пожалуйста, какое приятное известие для мира!

Наконец девятнадцатого, вечером (было еще светло), кто-то закричал: «Смотрите – скворцы!»

И правда, они сидели высоко на ветках тополей и, после воробьев, казались непривычно большими и чересчур черными. Мы стали их считать: один, два, пять, десять, пятнадцать... И рядом у соседей, среди прозрачных по-весеннему деревьев, легко покачивались на гибких ветвях эти темные неподвижные комочки. В этот вечер у скворцов не было ни шума, ни возни. Так всегда бывает, когда вернешься домой после долгого трудного пути. В дороге суетишься, торопишься, волнуешься, а приехал – и весь сразу точно размяк от прежней усталости: сидишь, и не хочется двигаться.

Два дня скворцы точно набирались сил и все навещали и осматривали прошлогодние знакомые места. А потом началось выселение воробьев. Особенно бурных столкновений между скворцами и воробьями я при этом не замечал. Обыкновенно скворцы по два сидят высоко над скворечниками и, по-видимому, беспечно о чем-то болтают между собою, а сами одним глазом, искоса, пристально взглядывают вниз. Воробью жутко и трудно. Нет-нет – высунет свой острый хитрый нос из круглой дырочки – и назад. Наконец, голод, легкомыслие, а может быть, робость дают себя знать. «Слетаю, – думает, – на минутку и сейчас же назад. Авось перехитрю. Авось не заметят». И только успеет отлететь на сажень, как скворец камнем вниз и уже у себя дома. И уже теперь пришел конец воробьиному временному хозяйству. Скворцы стерегут гнездо поочередно: один сидит – другой летает по делам. Воробьям никогда до такой уловки не додуматься: ветреная, пустая, несерьезная птица. И вот, с огорчения, начинаются между воробьями великие побоища, во время которых летят в воздух пух и перья.

А скворцы сидят высоко на деревьях да еще подзадоривают: «Эй ты, черноголовый. Тебе вон того, желтогрудого, во веки веков не осилить». – «Как? Мне? Да я его сейчас!» – «А ну-ка, ну-ка...» И пойдет свалка. Впрочем, весною все звери и птицы и даже мальчишки дерутся гораздо больше, чем зимой. Обосновавшись в гнезде, скворец начинает таскать туда всякий строительный вздор: мох, вату, перья, пух, тряпочки, солому, сухие травинки. Гнездо он устраивает очень глубоко, для того чтобы туда не пролезла лапой кошка или не просунула свой длинный хищный клюв ворона. Дальше им не проникнуть: входное отверстие довольно мало, не больше пяти сантиметров в поперечнике. А тут скоро и земля обсохла, душистые березовые почки распустились. Вспахиваются поля, вскапываются и рыхлятся огороды. Сколько выползает на свет божий разных червяков, гусениц, слизней, жучков и личинок! То-то раздолье! Скворец никогда весною не ищет своей пищи ни в воздухе на лету, как ласточки, ни на дереве, как поползень или дятел. Его корм на земле и в земле. И знаете, сколько истребляет он в течение лета всяких вредных для сада и огорода насекомых, если считать на вес? В тысячу раз больше собственного веса! Зато и проводит он весь свой день в непрерывном движении.

Интересно глядеть, когда он, идя между грядок или вдоль дорожки, охотится за своей добычей. Походка его очень быстра и чуть-чуть неуклюжа, с перевалочкой с боку на бок. Внезапно он останавливается, поворачивается в одну сторону, в другую, склоняет голову то налево, то направо. Быстро клюнет и побежит дальше. И опять, и опять... Черная спинка его отликает на солнце металлическим зеленым или фиолетовым цветом, грудь в бурых крапинках. И столько в нем во время этого промысла чего-то делового, суетливого и забавного, что смотришь на него подолгу и невольно улыбаешься.

Лучше всего наблюдать скворца рано утром, до восхода солнца, а для этого надо и вставать пораньше. Впрочем, старинная умная поговорка гласит: «Кто рано встал, тот не потерял». Если вы по утрам, каждый день, будете сидеть тихо, без резких движений где-нибудь в саду или в огороде, то скворцы скоро привыкнут к вам и будут подходить совсем близко. Попробуйте бро-

сать птице червяков или крошки хлеба сначала издалека, потом все уменьшая расстояние. Вы добьетесь того, что через некоторое время скворец будет брать у вас пищу из рук и садиться вам на плечо. А прилетев на будущий год, он очень скоро возобновит и заключит с вами прежнюю дружбу. Только не обманывайте его доверия. Разница между вами обоими только та, что он маленький, а вы – большой. Птица же создание очень умное, наблюдательное: она чрезвычайно памятлива и признательна за всякую доброту.

И настоящую песню скворца надо слушать лишь ранним утром, когда первый розовый свет зари окрасит деревья и вместе с ними скворечники, которые всегда располагаются отверстием на восток. Чуть немного согрелся воздух, а скворцы уже рассеялись на высоких ветках и начали свой концерт. Я не знаю, право, есть ли у скворца свои собственные мотивы, но вы насслушаетесь в его песне чего угодно чужого. Тут и кусочки соловьиных трелей, и резкое мяуканье иволги, и сладкий голосок малиновки, и музыкальное лепетанье пеночки, и тонкий свист синички, и среди этих мелодий вдруг раздаются такие звуки, что, сидя в одиночестве, не удержишься и рассмеешься: закудахчет на дереве курица, зашипит нож точильщика, заскрипит дверь, загнусит детская военная труба. И, сделав это неожиданное музыкальное отступление, скворец, как ни в чем не бывало, без передышки, продолжает свою веселую, милую юмористическую песенку. Один мой знакомый скворец (и только один, потому что слышал я его всегда в определенном месте) изумительно верно подражал аисту. Мне так и представлялась эта почтенная белая чернохвостая птица, когда она стоит на одной ноге на краю своего круглого гнезда, на крыше малорусской мазанки, и выбивает звонкую дробь длинным красным клювом. Другие скворцы этой штуки не умели делать.

В середине мая скворец-мамаша кладет четыре-пять маленьких, голубоватых глянцевиных яичек и садится на них. Теперь у скворца-папаши прибавилась новая обязанность – развлекать самку по утрам и вечерам своим пением во все время высиживания, что продолжается около двух недель. И, надо сказать, в этот период он уже не насмешничает и никого не дразнит. Теперь песенка его нежна, проста и чрезвычайно мелодична. Может быть, это и есть настоящая, единственная скворчинная песня?

К началу июня уже вылупились птенцы. Птенец скворца есть истинное чудовище, которое состоит целиком из головы, голова же только из огромного, желтого по краям, необычайно прожорливого рта. Для заботливых родителей наступило самое хлопотливое время. Сколько маленьких ни корми – они всегда голодны. А тут еще постоянная боязнь кошек и галок; страшно отлучиться далеко от скворечника.

Но скворцы – хорошие товарищи. Как только галки или вороны повадились кружиться около гнезда – немедленно назначается сторож. Сидит дежурный скворец на маковке самого высокого дерева и, тихонько посвистывая, зорко смотрит во все стороны. Чуть показались близко хищники, сторож подает сигнал, и все скворечье племя слетается на защиту молодого поколения. Я видел однажды, как все скворцы, гостившие у меня, гнали, по крайней мере, за версту трех галок. Что это было за ярое преследование! Скворцы взмывали легко и быстро над галками, падали на них с высоты, разлетались в стороны, опять смыкались и, догоняя галок, снова забирались ввысь для нового удара. Галки казались трусливыми, неуклюжими, грубыми и беспомощными в своем тяжелом лете, а скворцы были подобны каким-то сверкающим, прозрачным веретенам, мелькавшим в воздухе. Но вот уже конец июля. Однажды вы выходите в сад и прислушиваетесь. Нет скворцов. Вы и не заметили, как маленькие подросли и как они учились летать. Теперь они покинули свои родные жилища и ведут новую жизнь в лесах, на озимых полях, около дальних болот. Там они сбиваются в небольшие стайки и учатся подолгу летать, готовясь к осеннему перелету. Скоро предстоит молодым первый, великий экзамен, из которого кое-кто и не выйдет живым. Изредка, однако, скворцы возвращаются на минутку к своим покинутым отчим домам. Прилетят, покружатся в воздухе, присядут на ветке около скворечников, легкомысленно просвищут какой-нибудь вновь подхваченный мотив и улетят, сверкая легкими крыльями.

Но вот уже завернули первые холода. Пора в путь. По какому-то таинственному, неведомому нам велению могучей природы вожак однажды утром подает знак, и воздушная конница, эскадрон за эскадронам, взмывает в воздух и стремительно несется на юг. До свидания, милые скворцы! Прилетайте весною. Гнезда вас ждут...

Нельгин, Амиров и Юрьев – соседи по кроватям в спальней казенного сиротского пансиона. Каждому из них между десятью и одиннадцатью годами. Юрьев – мальчик вялый, слабенький. У него простое веснушчатое лицо тверской крестьянки, – оттого его и кличут в классе «баба», – светлые ресницы вокруг мутно-голубых глаз, открытый мокрый рот; и всегда капля под носом. Он плох в драке, чувствителен, часто плачет и боится темноты. Амиров – альбинос с белыми волосами на большой длинной от лба до подбородка голове, с красными белками глаз и бледной, шероховатой кожей лица. К нему приходит по воскресеньям отец – такой же большеголовый, седой и красноглазый, как и сын, маленький, чисто выбритый. Появляется он в роскошной приемной зале (пансион помещается в бывшем дворце графа Разумовского) в опрятеньком отставном военном мундире, украшенном двумя рядами серебряных пуговиц, а в руках у него неизменный красный платок, в котором завязаны яблоки и вкусные темные деревенские лепешки, у которых на верхней стороне выведена ножиком косая решетка.

Амиров-сын – скромн, послушен, учится усердно, и, несмотря на это, он не подлиза, не тихоня, не зубрила; все, что он делает, отмечено какими-то неуловимыми чертами вкуса, удачи, терпения и немного старческой добротности. Он опрятно носит казенную одежду: парусиновые панталоны и парусиновую рубашку, обшитую вокруг ворота и вокруг рукавов форменной кумачовой лентой. Его собственные вещички: перочинный ножик, перышки, пенал, резина и карандаши – всегда блестят, как только что купленные. Он не придумывает новых игр, но в любую игру способен внести много серьезной увлекательности и милого порядка.

По праздникам, когда для воспитанников открыта библиотека, Амиров непременно выберет, к общей зависти, самую занимательную книгу с приключениями и с яркими картинками, не то, что другие, которые вдруг попросят Гомера и потом с недоумением и тоской зевают над длинными фразами, заключенными в саженные строки, в которых к тому же попадаются двойные слова, по тридцать букв в каждом, – зевают, но из мальчишеского самолюбия не хотят сознаться в ошибке. Прочитанное Амиров без труда запоминает и пересказывает товарищам толково, точно, но суховато.

Нельгин – фантазер. Его воображение неистоимо и чудовищно пышно. Еще до классного обучения, в малолетней группе, по вечерам, в часы, оставшиеся до ужина, когда наиболее прилежные мальчики плели по способу Фребеля коврики из разноцветных бумажек, или расшивали шерстями выколотых на картоне попугаев, или клеили домики, или просто, без всякой мысли, измазав доску сплошь грифелем, разводили на ней при помощи намусленного пальца облака и макароны, – Нельгин рассказывал своим мечтательным слушателям пестрые чудесные истории из своей прежней, «домашней» жизни, от которых его самого охватывал ужас и вдохновенный восторг. Это ничего не значило, что город Наровчат, где всегда происходило действие и откуда Нельгин был увезен трехлетним ребенком, стоит, забытый богом и людьми, ежегодно выгорая, среди плоской, безводной и пыльной равнины, и что старшие братья, главные действующие лица великолепных историй, поумирали, не дожив двухлетнего возраста, задолго до рождения рассказчика, и что отец его служил скромным письмоводителем у мирового посредника, и что от бабушкиных великолепных имений, деревни Щербаковки и села Зубова, проигранных и прокученных буйными предками, остались всего лишь три спорных, кем-то самовольно запаханных десятины. Нельгин все это знал умом, но все это было скучное, взрослое, не настоящее и не главное, и он ему не верил, а верил в собственное, яркое, заманчивое и сказочно-прекрасное, верил, как в день и ночь, как в булку и яблоко, как в свои руки и ноги. Для него Наровчат был богатым людным городом, вроде Москвы, но несколько красивее, а вокруг шумели дремучие леса, расстилались болота, текли широкие и быстрые реки. В бабушкиных деревнях жили тысячи преданных крепостных, не пожелавших уходить на волю. Отец был могущественным человеком, грозным судьей, великодушным барином. Брат Сергей отличался сверхчеловеческой силой: одной рукой останавливал бешеную тройку и ударом кулака пробивал насквозь стены. Брат Иннокентий изобрел и построил удивительную машину, бегавшую по земле, плававшую по воде и под водою и летавшую в воздухе. Брат Борис один владел секретом готовить одежду цвета воздуха: надев ее, всякий становился невидимкой. Сам же Миша Нельгин замечательно скакал на белом арабском иноходце и метко стрелял из ружья, хотя и маленького, но вовсе не игрушечного, а взаправдышного, бывшего на целую версту.

Главным занятием четырех братьев были великие кровавые подвиги против местных раз-

бойников, населявших мрачные дебри наровчатских лесов. И — бог мой! — что это были за богатырские подвиги, военные хитрости, ночные засады, перестрелки, ночлеги в лесных трупобах у костров. Как часто четыре брата беззвучно, целыми часами, подползали на животах к становищу врагов, как они прикидывались мертвыми, чтобы выведать разбойничьи секреты, как они, спасаясь от преследования, ныряли и плыли под водой на сотни шагов, как послушно прибегали их верные кони на условный свист! А сам Миша, чтобы замаскировать от разбойников свой маленький рост, а отчасти и для большей достоверности рассказа, всегда носил под штанами привязанные ходули, а на лице прицепные усы и бороду, свои разговоры с разбойниками вел страшным, толстым, звериным голосом. Разбойников ловили, сажали в острог, отправляли в Сибирь, но так как с их исчезновением пропадала и канва для жутких и сладких рассказов, то на другой же вечер они убегали из тюрьмы или острога и снова появлялись в окрестностях знаменитого города, пылая жаждой мести и наводя ужас на мирных жителей. Их разбойничьи имена были такие: Гаврюшка, Орешка, Фома Кривой и Степан Клеветник. И с необыкновенной ясностью видел мальчик их красные волосатые рожи, белые зубы, коренастые, корявые тела, красные рубахи и длинные кухонные ножи за поясом. Классной дамой в группе Нельгина была Ольга Алексеевна, маленькая румяная толстушка с черными усиками на верхней губе. Среди остальных чудовищ в юбках, старых, тощих, желтых дев с подвязанными ушами, горлами и щеками, злых, крикливых, нервных, среди всех классных дам, которых у мальчиков и девочек в разных классах было до двадцати, — она одна на всю жизнь оставила у Нельгина сравнительно отрадное впечатление, но и она была не без упреков. Иногда бывала мила, приветлива и ласкова, иногда же выходила по утрам из своей комнатки бледная, с головой, повязанной полотенцем, с запахом туалетного уксуса и тогда становилась нетерпеливой, придирчивой, кричала, стучала маленьким кулачком по столу и сама плакала от раздражения. Любила и поощряла нашептывание и даже до такой степени, что случалось, в угоду ей, один мальчишка ехидно втраивал другого в какую-нибудь невинную, но недозволенную пакость, а потом стремительно бежал к классной даме и, захлебываясь от восторга, с пузырями на губах, доносил. И вот случилось так, что однажды, в ту полосу, когда Нельгин был в немилости, кто-то из его товарищей доложил Ольге Алексеевне об изумительных героических похождениях Миши, и она совершила большую несправедливость: позвала рассказчика и жестоко, но с неотразимой правдой доказала вздорность его рассказней и, постепенно увлекаясь и краснея от охватившего ее гнева, назвала его вральщиком и лгуном. Услужливый хохот других мальчиков еще более ее подзадоривал. Наконец она склеила из белой бумаги высокий остроконечный колпак, написала на нем чернилами кистью жирное слово «лгун» и велела Нельгину носить этот позорный убор целых три дня, снимая его только во время занятий, за едой, на молитве и в спальне. Тогда мальчик сжался, затаился, но увлекательность вымысла была сильнее его воли: он разделял четвертушку бумаги на правильные квадратики и в них очень мелко рисовал знаменитую историю борьбы разбойников с защитниками справедливости. С переходом из группы в классы пошли другие обычаи и новые нравы. Классные дамы там занимались только надзором; для преподавания же наук приходили настоящие учителя в очках, в синих фраках с золотыми пуговицами. Убирали кровати мальчиков и водили их в баню не горничные, как раньше, а два усатых дядьки, Матвей и Григорий. Они же в случае надобности и секли ребят по приказанию начальницы пансиона. Это была высокая полная женщина, с княжеским титулом, серолицая, сероглазая; в ушах у нее были вдеты большие золотые колокольчики, с языками из каких-то синих камешков, и когда еще издали в коридоре слышался шум ее каменных шагов и легкий перезвон сережек, — мальчишки цепенели от ужаса.

И внутренняя жизнь мальчиков стала совсем иной. Все они уже считали себя на линии будущих военных гимназистов, поэтому жаловаться на товарищей или ябедничать считалось у них преступлением, уважалась сила, грубость со старшими, пренебрежение к наукам.

Единицы да нули:
Вот и все мои баллы.
Двоек, троек очень мало,
А четверок не бывало.

Рассказчицы таланты Нельгина расцвели в этом году с новой, пылкой силой. Но ему уже мало было одних странствований в области воображения: его влекло к действию. Ранее всего он,

конечно, изобрел свой собственный удальской язык, затем он основал бесшабашную шайку молодых людей, которые, в зависимости от прихоти, являлись то казаками, то дикарями, то мстителями-молотобойцами, называвшимися на таинственном языке Нельгина «сацаро-даярами». Принимался в шайку только тот, кто выдерживал двадцать – тридцать ударов жгучей крапивой по рукам. Во время прогулок в огромном запущенном Екатерининском саду эти бравые молодчики, предводительствуемые атаманом Нельгиным, с палками в руках кидались в чашу жимолости, шиповника и бузины и рубили налево и направо, холодея от восторга, с волосами, вставшими дыбом на головах.

Потом как-то накатил на Нельгина стих набожности, молитвы, стремления к чудотворству. У него только что умерла бабушка, и он был во власти впечатлений от гроба с восковым старческим лицом, грустного похоронного пения, запаха ладана, открытой могилы на Ваганьковском кладбище. По вечерам, в спальне, он становился голыми коленями на пол, усердно крестился, вдавливая три пальца поочередно в лоб, в живот и в плечи, и читал проникновенным голосом самодельные молитвы. И, как всегда бывает у детей, у дикарей и у тихих сумасшедших, вокруг него образовалась немедленно толпа последователей. Нельгин выпросил у матери флакончик со святой водой и начал при ее помощи творить чудеса. У золотушного Добросердова всегда болело ухо. Надо было его исцелить. И вот, как бедняга ни бился, ни отбрыкивался, его положили на бок, и Нельгин, громко творя молитву, влил ему в уши ложки две чайных воды. Лечил он также головные и зубные боли и давал смоченную ватку за щеку для удачного ответа на уроке.

Затем чей-то рассказ или прочитанная книжка заставили его страстно желать богатства. Он попробовал было выпустить свои собственные деньги из разноцветной бумаги, по рублю, по три, по пяти и по десяти, довольно плохо сделанные. В них охотно играли понарошку, для забавы, но никто не давал за сто рублей даже одного перышка, и денежная затея лопнула. Тогда Нельгин решил сделать золото. Он уже слышал о том, как монах Шварц совсем случайно открыл порох, когда, перетирая в ступке какой-то состав, опалил себе лицо неожиданным взрывом. Почему же и Нельгину таким же путем не наткнуться на изобретение золота? С глубокой верой, с таинственным видом, он подолгу жевал, обильно смачивая слюной, большие комки бумаги, смешивал эту массу с золой из печных труб, с известкой из стен, с мелом, с замазкой, с песком из плевательницы и со всякой гадостью, какая попадала ему под руку. Потихоньку от постороннего взгляда он клал эту волшебную смесь куда-нибудь под пресс: под спальный шкафчик, под классную доску, под учебную скамейку. Через два дня, с бьющимся сердцем, он вынимал сухую, бесформенную лепешку и шептал сам под нос с важным, значительным видом:

– Не тот состав. Чего-то не хватает...

Впрочем, это увлечение алхимией заняло у него не более двух недель. Его сменила полоса влюбленности.

Раз в неделю в пансион приезжал учитель танцев Петр Алексеевич – круглый, седой, гибкий, подвижной, всегда в прекрасном фраке, сияющий, добродушный – в сопровождении лохматого и унылого скрипача. Тогда в приемную залу, в блестящем паркете которой пленительно отражались люстры, кенкеты, мраморные стены и бронзовые бюсты, собирали с разных половин мальчиков и девочек старшего класса. Урок танцев был единственным случаем, когда они встречались сравнительно близко, потому что в церкви и даже за обедом они были далеко разделены. Конечно, у мальчишек девочки всегда считались низшими, презренными существами, слабосильными, фискалами, плаксами и неженками. Оттого, стоя в паре со своей дамой и проделывая с нею под унылую скрипку «па-де-баск» и «па-де-глицсе», считалось особым мужским шиком дернуть ее за косичку, ущипнуть за руку, сдавить пальцы до боли. И вот Нельгин, который никогда не боялся идти наперекор общим мнениям, взял да в один прекрасный зимний полдень и влюбился в хорошенькую Мухину, в немного всегда заспанную смуглянку, черноглазую, чуть-чуть скуластую, с милыми родинками на щеках и на подбородке. И мало того, что влюбился, но громко заявил об этом перед всем классом и сказал, что тому, кто будет становиться в пару с Мухиной или скажет о ней что-нибудь неуважительное, тому он немедленно побьет морду до крови. Нельгин не был из первых силачей, но он сам давно уже распространил таинственный, многозначительный слух, что он «скрывает силу». Для поддержания в товарищах такого мнения он иногда, по утрам, в умывальнике очень сильно намыливал себе руки и так долго тер их, что пена совершенно впитывалась в кожу. А когда его спрашивали, для чего он это делает, он отвечал, с сумрачным видом топорща плечи:

– Так надо. Чтобы кулаки были крепче... И тогда во всем классе пошла поголовная мода на любовь. Решительно все перевлюблялись самовольно, поделив между собою девочек, точно средневековые завоеватели рабынь. Наиболее сильные и разбитные выбрали себе самых высоких, самых толстых и самых румяных. Слабых оставили слабеньким, зеленым и хилым. Нельгин пошел еще дальше. Однажды вечером он долго что-то писал, низко склонившись над листом почтовой бумаги, подпирал от усердия щеку изнутри языком и сопел. Потом украсил листок переводной картинкой, сунул его в розовый конверт, а на конверте наклеил наlepпную картинку. На первом же уроке танцев он, потев от стыда и страха, сунул Мухиной в руку свое послание. Там были стихи и проза. Девочка смутилась гораздо меньше, чем можно было предполагать: она быстро засунула письмо куда-то под передник и даже не покраснела. А на другой день, во время урока закона божьего, раздался в коридоре тяжкий топот и звон колокольчиков, отчего чуткое сердце Нельгина похолодело и затосковало. Полуоткрылась дверь, и в ней показалось огромное серое лицо с мясистым носом, а затем рука с подзывающим указательным пальцем.

– Нельгин! Иди-ка сюда, любезный!

И бедного влюбленного повели наверх, в дортуар, разложили на первой кровати и сняли штанишки. Григорий держал его за руки и за голову, а Матвей дал ему двадцать пять добрых розог. Так, сама собою, как-то незаметно пресеклась, а вскоре и вовсе забылась первая любовь. Только образ хорошенькой смуглой Мухиной с ее заспанными глазами и надутыми губками застрял в памяти на всю жизнь.

Трудно было бы перечислить все увлечения Нельгина. Предпоследнее было – свободное летание в воздухе. Основу этого искусства, которое теперь уже никого не удивляет, он взял из одного из своих снов, который очень часто повторялся. Ему снилось обыкновенно, что обеими руками он держит широкую ленту и, крутя ее через голову, перепрыгивает ногами, вроде того, как девочки играют в скакалку. Ему казалось, что, учащая темп вращения, он становится легче и легче, наконец отделяется от земли и парит в воздухе под потолком. Но он находился уже в таком возрасте, когда нестерпимо хочется обратить мечту в действие, сон в явь. Поэтому во время одной из весенних прогулок он, подобно индейцу племени апачов или черноногих, прокрался в запрещенный лагерь девочек, украл там шнур с двумя рукоятками на концах, принес его на мальчишеское поле и, твердо уверенный в чуде, подобно мифическому Дедалу, легендарным Аполлонию Тианскому и Симону Волхву, и нашему почти современнику крылатому Лилиенталу, взобрался на самый верх полевой гимнастики, на самую перекладину, и крикнул:

– Смотрите! Я сейчас полечу!

Но тотчас же запутался в веревке и позорно упал, расквасив себе нос и разбив правую коленку.

Насколько можно проследить, самым последним его детским увлечением были экзамены в военную гимназию. Попасть в нее и окончить курс было очень трудно, во-первых, потому, что «разумовских воспитков» вообще принимали неохотно, во-вторых, потому, что они все были подготовлены плохо, в-третьих, потому, что, проведши лучшие годы под влиянием капризных старых дев, они были с самого первоначала исковерканы.

Из пятидесяти мальчиков выдерживали экзамен десять-пятнадцать; из них после телесного осмотра оставался самый надежный отбор в количестве пяти-шести мальчиков; но даже и эти счастливцы, пройдя через горнило науки и товарищества, уменьшались до трех-четырех. Самых худших, а почему знать, может быть, и самых талантливых, ссылали за плохое учение в Ярославскую прогимназию, а за скверное поведение – в Вольскую, где, как говорят современники, драли их всех по субботам: если виноват, то за вину, а если не виноват, то в поучение, а за особые провинности – вдвое; где редкие крепыши выдерживали, но это были уже настоящие люди, и среди них можно было бы назвать несколько известных, но скромных военных имен в конце девятнадцатого и в начале двадцатого столетия.

Но Нельгин не думал о второстепенных именах истории. В своих пылких грезах он бывал поочередно – то Скобелевым, то Гурко, то Радецким (а время было как раз после окончания войны 77–79 годов), иногда даже – до чего простирается мальчишеская дерзость! – Наполеоном. Он заранее чувствовал, что назначена ему какая-то совсем иная судьба. Но чтобы попасть в гимназию, приходилось верить в чудо...

Пробовал он прибегнуть к помощи молитвы. Стоял ночью в кровати на коленях, изо всей силы прижимал руки к груди, пробовал выжать из себя хоть немножко слез и даже делал (надо

заметить, что он никогда не был лгуном, а только страстным мечтателем), в виде невинной взятки, почти неосуществимые обеты. «Милый бог! Добрый бог! – говорил он, напрягая все мускулы своего маленького тела, – ведь ты все можешь. Тебе ничего не стоит. Сделай так, чтобы я выдержал экзамены, а потом... потом я построю в Зубове или в Щербаковке большую церковку... то есть нет: маленькую церковь или хорошую часовню. Только устрой».

В это время он почти перестал есть, похудел, побледнел, питался хлебом с солью, а также, на прогулках, всякой травяной дрянью: просвирками, свербигусом, молочаем. В научном смысле он сам крепко подналег и знал, что ему необходимо будет только победить свою самолюбивую застенчивость и, наоборот, сдержат грубую вольность языка.

Но несправедливая судьба, перед которой, вероятно, очень много нагрешил такой невинный и веселый пистолет, как Нельгин, готовила ему серьезное испытание. Сменилась или, кажется, уехала на лето в отпуск классная дама, Ольга Петровна. Она была очень маленькая и сухая женщина, чрезвычайно строгая, холодная, но и справедливая. Первые два качества вселяли в мальчишек страх, третье – уважение. Однажды она в воскресный день привела своего сына, долговязого пригготовительного гимназиста, поиграть с ее мальчиками. Гимназист немножко форсил, показывал мускулы, шведскую гимнастику, перепрыгнул через стол (он говорил, что без разбега, но разбег был в три шага), наконец вызвал кого-нибудь из любителей подраться. Конечно, на это первым согласился Нельгин, а уже после него, поддерживая свою славу главного силача, выступил ленивый Сурков, – однако Нельгин не уступил ему очереди. Через пять минут оба боксера были красны от крови. Ольга Петровна застала это зрелище и правосудно поставила в угол и того и другого, а другие дети в это время с лицемерно-добродетельными лицами пили шоколад, приготовленный классной дамой для первого знакомства пригготовишки с воспитанниками. Но ушла Ольга Петровна, а на смену ее временно была назначена Вера Ивановна Теплохова. Ее Нельгин знал еще по группе. Это была длинная, но при этом коротконогая девица, с огромной лошадиной бледной мордой. Она всегда носила короткие юбки, из-под которых выглядывали невероятно большие ноги в прюнелевых башмаках с ушками. От нее всегда пахло какой-то вонючей пудрой, а между бровями росла бородавка, похожая цветом на спелую малину, а формою – на рог носорога. Совсем неизвестно, где рок фабрикует людей такой наружности и такого характера.

Самое же ужасное в ней было то, что она была твердо убеждена в непоколебимости и верности нравоучительных анекдотов и воскресных прописей и каждое свое слово, взятое из книжки, считала священным. Конечно, она сразу же, по естественному отвращению, возненавидела Нельгина, в котором, даже и в его юном возрасте, чувствовался настоящий бунтарь, – возненавидела так, как умеют только ненавидеть старые, мелочные, скучающие классные дамы из девиц. Ей претили и движения Нельгина, и звук его голоса, и невольные привычные гримасы, и живость его воображения, и еще многое, чего она себе объяснить не умела и о чем она потом забыла, как забыла о самом Нельгине.

Это еще ничего, что Нельгина ежедневно оставляли без завтрака и обеда – он и так почти ничего не ел, – и что его лишали свиданий – к нему никто не приходил, – но Вера Ивановна выбрала с терпением и проницательностью мстительницы самое больное, чувствительное место: она заставляла его стоять столбом во время общих прогулок. В это время другие дети катались на гигантских шагах, строили великолепные пещеры из земли и песка или устраивали из веток сады и огороды. А Нельгин стоял столбом, и стоял кому-то назло добросовестно и терпеливо. Игры товарищей ему были уже неинтересны, но тут же рядом простирался огромный луг, окаймленный густым лесом. Только потом, вернувшись в эти места уже почти стариком, он убедился, что луг был не более ста квадратных саженей, а лес – кусты жимолости, бузины и сирени. Но в то время это были прерии, пампасы и льяносы. Стоял Нельгин столбом и думал: «Хорошо бы было нестись по этой зеленой степи, скривив челюсть набок, как будто закусив удила, склонив голову, галопом; по этой необозримой степи, усеянной ромашкой, одуванчиками и какими-то голубыми неведомыми цветами и остро пахучими травами». И, конечно, если бы Нельгину сказали: «Вот, тебе прощаются все многочисленные стояния, которые ты должен отбывать за свои провинности, но только обещай, что, отбив стояние столбом, ты не побежишь опять по траве», – то он, конечно, обещал бы искренно не побежать, но все-таки побежал бы... Словом, в мнении воспитательниц, он навсегда оставался мальчиком-лгуном.

– Она ко мне придирается, и я больше не могу. Совсем никак не могу, – говорил ночью

Нельгин, сидя в ногах у Амирова, а рядом с ним, приподнявшись на локте, лежал Юрьев. — Она ко мне придирается, и нет больше моего никакого терпения. Завтра я убегу, а вы — как хотите. Впрочем, это, конечно, будет свинство и вы не товарищи. Читали вы «Дети капитана Гранта»? Пятнадцати лет был мальчик, а он командовал трехмачтовым кораблем: фок, бизань, такелаж, грот и там другие вещи и шкоты. Ну, скажем, нам по одиннадцати лет — все равно. Взять хлеба, посолить, спрятать в карман, потом мы пойдем на квартиру, где жила бабушка. Она теперь умерла, но остались хозяева: Сергей Фирсович и Аглаида Семеновна — они меня знают. Мама теперь в Пензе, и они ни о чем не догадываются. Там мы устроим ночлег. Хотя, конечно, есть и некоторые, которые трусы и подлизы...

Это был с его стороны дипломатический подход. В темноте Нельгин не видел, а как будто чувствовал, что Юрьев расстегнул рот, а Амиров поднял голову, чтобы было удобно слушать.

— Ну что же? — продолжал Нельгин. — Ну что же? Нас здесь мучают, притесняют, из-за каждой ерунды ругают и ставят стоять столбом. Вот жаль, что война кончилась! Но очень просто удрать и в Америку.

— В Америку — это на пароходе, — деловито заметил Амиров.

— Да, на пароходе. Но можно и вплавь, то есть не вплавь, а на лодке. А главное — нужно запастись провизией и деньгами. Мы (он теперь уже говорил не «я», а «мы» — замечательный прием всех заговорщиков) переночуем у Сергей Фирсыча. Он нам даст несколько денег, потом мы садимся на железную дорогу и едем прямо в Наровчат. Из Наровчата (меня там все знают) едем в наше имение Щербаковку и Зубово (тут его фантазия разгорается, по обыкновению), нас встречают крестьяне... Молоко, деревенские лепешки, все, что угодно... Я им продаю сто десятин леса, тогда мы надеваем взрослое платье, садимся опять на железную дорогу, на пароход и едем в Америку. Впрочем, это все я могу и один, а вы — как хотите.

— Это верная дорога, — сказал Юрьев. Амиров подумал и сказал шепотом, но веско:

— Да! А как убежишь, если она с тебя глаз не спускает? А потом кто-нибудь профискалит? Потом, мы не знаем, как ехать по паровику. Да.

— Ну, паровик — это чепуха. Я все знаю. Завтра на прогулке она будет ходить со своими любимчиками туда и сюда. Как повернулась спиной, — жжик в кусты, а там через парк. Через Язуу вплавь. До Кудринской площади дойдем к вечеру, а потом, уж вы поверьте мне, все будет как следует. Я даю мое честное, благородное слово.

Нетрудно было ему увлечь мальчиков: Юрьева, который всегда шел за смелым, предприимчивым Нельгиным, и Амирова, которому стыдно было из обязательного молодечества отказаться от компании. Надо еще раз отметить, что Нельгин не хотел их обманывать: он просто душой поэта и сердцем путешественника верил в то, что все сделается, как он предполагал. На другой день на прогулке вышло маленькое осложнение, решившее судьбу побега. Вера Ивановна рассказывала мальчикам о том, как летело стадо гусей и навстречу ему один гусь. Была она зла и придиричива. Вероятно, у нее был плохой желудок или долго не получалось письмо до востребования. Задача о гусях очень заинтересовала Нельгина, и он просунул свою стриженую большую голову вперед, забыв в эту минуту о своем побеге, хотя хлеб с солью у него был уже в кармане. Но она увидела ненавистное ей лицо, понюхала, брезгливо сморщилась и сказала:

— От тебя всегда пахнет воробьем.

У всех мальчишек летом, когда волосы немного выгорают, пахнет от головы птицей, но почему-то Нельгин обиделся и ответил:

— А от тебя, дура, пахнет мышами. И потом, ты старая, у тебя грязное лицо.

Готово. Нельгин стоит столбом. Вера Ивановна Теплоухова хватается за голову и кричит:

— Нет! Я больше не могу! Уберите мне его отсюда, уведите этого гнусного мальчика, иначе я сама за себя не ручаюсь! Дядька! Где дядька? Дети мои! Никогда не берите пример с таких глупых и гадких детей! Нельгин! Будешь стоять во все дни моих дежурств, навсегда, до самой могилы.

Нельгин стоял, глядел на солнце, жмурился и думал:

«Вот говорят, что только орлы прямо глядят в лицо солнцу, а вот я не орел, а гляжу, хотя слезы текут градом». Другие мальчики насыпали горсточку песку, обложили сырой землей, потом снизу отковырнули маленькую дверцу, осторожно пальцами выгребли песок — получился великолепный рыцарский замок или разбойничья пещера. «Какие дураки, — думает Нельгин. — Тут нужно вставить прутик с зеленым листиком — это будет флаг, кругом воткнуть разные цветы,

какие попадутся, и получится дивный замковый сад». Но все-таки же одним краем своего сознания он знал, что к нему подойдут Амиров и Юрьев. Выждав момент, они, правда, подошли к нему, как заговорщики.

– Что же, – спросил небрежно Нельгин, – слово дано. Бежим? Оба помялись.

– Да мне все равно. Я один убегу. Потом вы обо мне услышите, когда я буду миллионером. Конечно, я для вас найду места, вроде генералов. Только я прошу не фискалить. Я с вами незнаком, вы со мной незнакомы.

Но мальчики уже были зачарованы новой игрой. Юрьев первый сказал:

– Так что же? Раз дали честное слово и клятву друг другу, так пойдем?

Амиров немножко замялся:

– Да вот я не знаю... папа придет в воскресенье...

Но Нельгин уже овладел положением:

– Папа, папа... Подумаешь тоже: папа! Когда мы приедем в Наровчат, я ему вышлю целый воз битых индюков кур, гусей, соболю шубу, тройку жеребцов и сундук денег. Потом мы папу возьмем с собою и будем вместе с ним обрабатывать Кордильеры.

Вера Ивановна ходила взад и вперед, окруженная толпою прилежных учеников. Оставляя на ее совести все то, что она, невежественная и злая, говорила в это время! Но едва только она поравнялась с тремя заговорщиками, из которых один стоял с идиотским лицом, скосив глаза, другой рвал и нюхал какие-то травы, а третий предавался танцевальному искусству, – поравнялась, повернулась спиной и проплыла назад, – как они, все трое, бросились в кусты. Это была совсем неизвестная дорога. Там разрослись – волчья ягода, жимолость, бузина, глухая крапива, лопухи, дикий тмин, божьи дудки, просвирняк, и сильно пахло грибами. Сначала очень трудно было пробираться. Мальчикам казалось, что они катятся по какому-то бесконечному лесному обрыву, затем чаща немного поредела, показалась дорожка. Побежали по ней, долго кружили. Одно время им слышались детские голоса. Нельгин распознал, что они приближаются к той части парка, которая отведена для девочек. Стало быть, нужно было бежать от голосов. Очутились совсем в незнакомом месте. Там текла черная, вонючая, быстрая река Яуза, а может быть, ее приток. Тут дрогнула приличная душа Амирова. Он сказал:

– Не лучше ли мы оставим это на потом? Во-первых, ко мне придет в воскресенье отец, и, кроме того, я забыл переписать чистописание.

Какой решительный характер был у Нельгина! Четыре забытых доски, вероятно, остатки портомойни или временного моста, гнили в воде у берега. Нельгин сказал с тем величием, которое смешно в детях и остается навеки в истории взрослых:

– Ну что же, Амиров? Это твое дело. А вот мы с Юрьевым сейчас переплывем реку и потом дальше. Юрьев! Снимай обшлага! Мигом!

Юрьев сорвал красный кумач с воротника и с рукавов. Это сейчас же сделал и Нельгин. Амиров как будто поколебался одну секунду, но благоразумие взяло верх.

– Прощайте.

– Все-таки ты не профискалешь? – спросил для верности Нельгин.

– Честное слово! Вот ей-богу!

Амиров ушел. Ребятишки сели на неустойчивый плот и кое-как, обмакивая руки в воду и заставляя доску двигаться движением тел, добрались до противоположного берега. Вероятно, кто-то неведомый, но добродушный руководил их движениями: если бы они скувырнулись, то так бы и потонули, как камни, потому что берега у реки были обрывисты, а сама река была глубокая, и плавать они оба не умели. Выбрались ползком на противоположный берег и только тогда ясно почувствовали, что все расчеты с прошлым покончены. И тотчас же они услышали лай, подобный грому. Два больших холеных сенбернара летели прямо на них.

Надо сказать, что мальчики, если и видали собак, то только на картинке, но эти разинутые пасти, красные языки, частое дыхание, громкий лай – это уже была действительность. Старая, корявая, дуплистая ива висела над речкой. Первый Юрьев, а за ним Нельгин с быстротой обезьян вскарабкались на ветви и сидели, поджав под себя мокрые ноги, дрожа от ужаса.

Пришел какой-то человек, грязный, с черным лицом, заставил собак замолчать, спросил мальчиков

– Откуда вы? Кто такие? Где живете? Куда идете? Нельгин начал вдохновенно лгать. Немножко ему вспомнилась «Красная шапочка»:

– Мы идем в Кудрино, к бабушке. И вот заблудились. Как бы нам пройти? Черный человек все-таки оказался менее страшным, чем собаки. Под его покровительством они пошли в контору к управляющему железоделательного завода «Дангаузе и К^о». Толстый, опившийся пивом и очень спокойный немец спрашивал их почти то же самое, что и черный человек, но очень лениво и равнодушно. Нитки не особенно ловко сорванных обшлагов, однако, навели его на почти правильную мысль:

– А все-таки, вы, может быть, из этих самых, как его называется? Елизаветинское училище?

Елизаветинский институт был рядом с пансионом, и если бы он сказал из «Разумовского», то, вероятно, мальчики отдались бы на волю победителя. Но этот промах был в руку Нельгину.

– Помилуйте! Елизаветинский институт – это женский институт, а мы просим указать дорогу.

Немец их отпустил, сказав, однако, черному человеку:

– Ты гляди, чтобы чего-нибудь не украли.

Черный человек проводил их до вторых ворот по двору, где в свете угасавшего летнего дня цветились радугой лужи, валялись обломки железа и сильно пахло хлором.

Мальчики не знали, где они находятся, и, выйдя на улицу, сейчас же очутились около Андрониевского монастыря! Как ни странным покажется, но когда они спрашивали у прохожих, как пройти в Кудрино, то большей частью получали ответ либо насмешливый, либо явно лживый: «Поверни направо, потом еще направо, там увидишь трубу, а над трубой сапожник, а над сапожником пирожник, а у парикмахера напудрено – там и увидишь Кудрино», или «Вы, мальчики, идите все прямо, никуда не сворачивая. А где ваши папа-мама? Ай, ай, ай! Такие маленькие мальчики ходят одни! Как ваши фамилии?» Но чутье подсказало Нельгину не верить глумливым указаниям и не отвечать на вопросы. Уже начался вечер... Юрьев куксился, говорил о том, что он, конечно, пошел бы за Нельгиным на край света, но только одно ему жаль, что он оставил в пансионе кошелек с семью копейками и образок – благословение покойной матери (она и не думала умирать). Нельгин понимал, что уступить, поколебаться, сдаться – значит потерять все и сделаться навеки смешным. И он по-своему был велик в эти минуты.

– Давай, – говорил он Юрьеву, – прикинемся, что мы – бродячие итальянцы.

– Молякаля селя малям! Лям па ля то палям калям. От них прохожие шарахались. Известно, что они о них думали. Вероятно, думали, что вот выпустили откуда-то двух сумасшедших идиотов. Инстинкт бродячего круговращения иногда заводил их к фонтанам, которые льют свою воду в широкие бассейны. Мальчики пили воду, как собаки, лакали ее, и – о, подлая, бессердечная Москва! – один раз, когда Нельгин утолял жажду, какой-то взрослый болван, верзила-разносчик, снял со своей головы лоток, поставил его бережно на мостовую и равнодушно, но расчетливо ударил мальчика по затылку. Нельгин захлебнулся и едва отдышался. Был еще один жуткий момент, когда они очутились в центре города, шли по какой-то людной, узкой, богатой улице и спросили кого-то, как пройти в Кудрино. Вежливый, на этот раз добродушный и, должно быть, честный человек сказал:

– Вам нужно вернуться назад и повернуть в следующую улицу налево. Тогда вы попадете как следует.

Но мальчики так устали, что одно слово «назад» для них казалось страшным, и поэтому они предпочитали идти упорно и бессмысленно по прямому направлению. От Лефортова до Кудрина по карте было около восьми верст. Вероятно, ребяташки со всеми нелепыми кривулями сделали верст больше двадцати, но все-таки они, наконец, дошли до Кудрина и нашли напротив Вдовьего дома дом и квартиру, где когда-то, года два тому назад, жила бабушка. Сергей Фирсович и его жена были немножко удивлены позднему посещению, однако в память прекрасной покойной женщины и побежденные красноречием Нельгина, они оказали мальчикам гостеприимство. Это им было тем легче сделать, что комната, где раньше жила бабушка (одно окно в коридор), случайно пустовала. Нельгин, усталый, изодранный, врал из последних сил:

– Мама теперь в Петровском парке. Мы туда ехали, потеряли деньги. Я и мой товарищ заблудились. Боимся поздно ночью возвращаться.

Им предложили чаю с булкой. Юрьев склонен был попить и поесть, но Нельгин был осторожен. «А вдруг догадаются, что мы ничего не ели?»

– Спасибо: мы только что пообедали.

Ах, как трудно было с Юрьевым, с этим слабовольным получеловеком, который каждую секунду готов был расплакаться. Постелили им на пол одеяло и подушку. Юрьев дрожал. Рядом Сергей Фирсович шаркал туфлями. Он служил в городской думе писарем и раньше, еще во времена бабушки, не без остроумия говорил о себе: «У нас в думе есть гласные и безгласные. Так я – безгласный». У него и у жены не было детей, но зато у них было шесть или семь собачонок, маленьких, черных, короткошерстных, с рыжими пятнами под глазами. По утрам Сергей Фирсович читал газету, а вечером кормил собак вареной печенкой, шаркал туфлями и что-то про себя бормотал.

Но Нельгин знал отлично, что собаки печенку не доедают, поэтому он сказал Юрьеву:

– Теперь лежи, не шевелись. Сейчас я достану «пищу».

И правда, ощупью в темноте он набрел на тарелку с печенкой (сытые собаки поворчали на него, но, обнюхав, успокоились) и принес ее Юрьеву. Должно быть, в печенке весу было около полуфунта, но этого хватило, и затем... блаженный сон усталых тружеников, без сновидений, без просыпа... Наступило утро. Мальчики проснулись освеженные. Нельгина не оставил дух предприимчивости, но зато в Юрьеве угас вчерашний огонь и иссякла энергия. Как настоящая тверская баба, он спросил, кривя рот и дергая носом:

– Что мы будем делать дальше?

На это Нельгин не мог бы ответить откровенно, потому что, немного протрезвившись, он сам не знал своей дальнейшей судьбы. Он, однако, сообразил, что Сергей Фирсович сегодня еще не шелестел газетой, но что газета уже подсунута почтальоном в дверную щелку и что в газетах обыкновенно печатают о беглых мальчиках: стало быть, нужно было уйти до того момента, когда Сергей Фирсович развернет свой шелестящий лист. Милый, добрый Сергей Фирсович! Да будет тебе земля пухом: ты, должно быть, о чем-то догадывался, но ни одним нескромным вопросом ты не смутил беглецов. Ты предложил им чаю. Они ответили: «Спасибо, мы очень торопимся» (этакие деловые люди!)... И отпустил их с миром.

До сей поры почти все предположения Нельгина сбылись. Теперь осталось только сесть на железную дорогу и поехать в изумительный город Наровчат к своим крепостным верноподданным. Мы все знаем, что человеческая воля иногда творит чудеса, но все-таки нужны кое-какие знания, уверенность в себе, большой рост, громкий голос, усы и многое другое, может быть, даже и лишнее. Очутившись на улице, Юрьев занял:

– Хочу домой-ой, в пансио-о-н!

– Это подло, – сказал Нельгин, зная, впрочем, в глубине души, что дело кончится сдачей. – Это свинство! Не по-товарищески! Ты же давал честное слово.

– Бою-юсь!

– Ладно, – сказал Нельгин, – только сначала сходим в зоологический сад.

– Да-а. У нас денег не-ет.

– Ничего. Ты, как я. Я знаю.

Знания его были не особенно высокого качества. Нужно было пройти новые триста шагов. Направо каланча, налево церковь Покрова, затем – налево какие-то пруды, направо – зоологический сад, между ними мост. Нужно так: мост пройти, затем перелезть через барьер и иметь мужество прыгнуть прямо в болото до пояса: тогда ты не проходишь через контроль. Нельгин об этом слышал раньше от мальчишек, но сам он прыгал в первый раз. Вымазался весь, как черт. Юрьеву нечего было делать: оставаться одному было страшнее, и поэтому он сиганул вслед. С независимым видом, грязные, со следами оторванных лацканов, невыспавшиеся, они посетили и какаду и страуса, причем Нельгин сставил ему большой камень и найденный на дорожке ключ от карманных часов, посетили и слонов, и тигров, и многих птиц, и вонючих хорьков, и лис, и гиппопотама, который высовывал из густой лужи разинутую морду, похожую на чемодан с розовой подкладкой, подразнили обезьян и потрогали колючего дикобраза. Почему никто не остановил их, это до сих пор остается загадкой. Вероятно, все-таки человеческая воля – это область до сих пор не исследованная.

Пришлось возвращаться назад. Юрьев перестал плакать и только подзуживал Нельгина:

– Ты скажи, что это ты затеял, а я только так.

– Хорошо.

На этот раз путь был не так долог. Помогли и бессознательная животная память местности, и дневной свет. Часам к трем пришли в училище. У ворот стояли какие-то дворники, прачки,

полотеры, кухарки. Странно, что на мальчиков никто из них не обратил никакого внимания, и так они сначала не знали, в чьи правосудные руки они отдадут свою судьбу. Довольно быстро их все-таки схватили, отвели в лазарет и рассадили в разные комнаты, со строгим запрещением видаться друг с другом. Нельгин сдержал обещание: взял всю вину на себя.

Тяжело было одиночество: ни книг, ни разговоров, и вдобавок Юрьев оказался совсем дураком: одиннадцатилетний Нельгин додумался до разговора стуком, а этот маленький старик, будущий взрослый трус, не отозвался ни одним ударом в стену. От нечего делать Нельгин вспомнил и решил почти все арифметические задачи и в уме подзубрил слова на «ять». Но вот однажды, около полудня, раздались каменные шаги в коридоре и звон колокольчиков. «Ну! все равно выдерут, – подумал он. – А вдруг я возьму и умру внезапно? Потом они все будут жалеть...» Словом, те мысли, которые кому только из мальчишек не приходили в голову... Он не знал того, что в это время княгиня Г. уступала свое почетное место княжне Л., и поэтому в его лазаретную каморку вошла не только его строгая начальница, но и новая владычица его души и тела, а с ними вместе пять-шесть веселых светских барынь и почти все утлые классные дамы.

– Вот посмотрите, княжна, если угодно, – сказала княгиня, – Сокровище! Конечно, надо было бы отдать его в арестантские роты. Поглядите, какое ужасное лицо. Вот с чем вам придется бороться, милая княжна. К нам присылают бог знает каких детей.

Но полная дама с очень милым, толстым, простым и добрым лицом возразила вежливо:

– Ну ничего: широкий лоб, зоркие глаза. Вероятно, упрямая воля. Очень возможно, что он и пропадет, но, может быть...

– Вы смотрите через розовые очки.

– Нет, мне просто не хотелось бы начинать дело с жестокого наказания.

– Итак, княжна, вы считаете возможным допустить его к экзамену?

– Конечно, я согласна наперед с вашим мнением, княгиня, но один маленький опыт, если позволите...

– О, конечно. Прошу вас.

– Благодарю вас. Вы очень любезны.

И они все ушли в том же порядке, как и пришли. Так как они говорили по-французски, то Нельгин ровно ничего не понял, но, как мог, он все-таки переводил разговор на свой язык. Ему казалось, что прежняя начальница сказала:

– Не выпороть ли нам этого мальчишку? А другая сказала:

– Нет, зачем же, он такой маленький и худой... А потом вдруг, как во всех рассказах, случилось чудо. Только затихли многочисленные женские голоса, как вдруг Нельгин услышал легкие шаги. Трудно было предполагать, что эта большая, полная княжна могла идти так легко. Он слышал только два слова, брошенные ею кому-то вдоль коридора:

– Pardon, princesse...¹

Княжна вошла в скучную больничную комнату, взяла шершавую голову мальчика двумя ладонями, приподняла ее кверху, внимательно-долго поглядела ему в глаза, точно читая в них будущее Нельгина, потом погладила от лба к затылку его колючую шерсть и сказала:

– Ты, мальчик, ничего не бойся. Сейчас я тебе пришлю куриного бульона и красного вина. Ты, видно, давно ничего не ел и совсем бледный. Только ничего не говори никому. А что экзамены ты выдержишь прекрасно, я в этом уверена. Она уже готова была уйти, но вдруг остановилась.

– Это правда, что ты один задумал побег и уговорил товарища?

– Правда, – твердо сказал мальчик. И прибавил с презрением:

– Он такая баба!

Милое, полное лицо княжны все осветилось прелестной улыбкой.

– Ах ты, дерзкий мальчишка! – сказала она ласково и погладила его по загорелой исцарапанной щеке. – Ну, хорошо, непоседа, живи как хочешь. Только не делай ничего бесчестного. Прощай, бунтарь.

Она наклонилась к нему. На мгновение, с закрытыми глазами, Нельгин уловил чистый и сладостный запах духов, почувствовал на лбу прикосновение нежных губ, и на него повеяло

¹ Извините, княгиня... (фр.)

слабым ветром от удаляющегося платья.

Первая ласка от чужого человека. Он открыл глаза. Никого в комнате не было. Из коридора доносились затихающие звуки легких поспешных шагов. Нельгин прижал обе руки к середине груди и прошептал восторженно, со слезами на глазах:

– Для тебя!.. Все!

Козлиная жизнь

В некотором царстве, в некотором государстве... Впрочем, нет. Этот рассказ не так начинается. Не в каком ином, как в нашем царстве, в собственном государстве, давным-давно жили-были дед да баба. И, как водится, не было у них детей. Были только: кошка Машка, собачка Патрашка и говорящий скворец Василий Иванович. Свыклись они все и жили дружно неподалеку от города. У каждого было свое занятие. Дед дрова колот, двор подметал, ходил пить чай в трактир и кряхтел на лежанке. Старуха сдавала на лето дачу дачникам из города и ругалась с ними от утра до вечера, а зимою вязала чулки и варежки и бранила старика. Патрашка ловил мух, лаял на луну и на свою тень, и был самым отчаянным трусом в деревне; ночью все просился в горницу, портил воздух и во сне тоненько полаивал, – бредил. Кошка Машка думала, что весь дом, и все в нем люди и звери, и все молоко на свете, и все мясо – все для нее одной заведено. Такая была самолюбивая. Оттого она очень обижалась, если, бывало, дед ее стукнет около молочника ложкой по голове или баба оплеснет водой.

Скворец Василий Иванович жил над окном, в открытой клетке, но ходил на полной свободе по всему дому, и все уважали его за ум и за образование. Очень искусно Василий Иванович истреблял тараканов и весьма похоже передразнивал: как дед ножик точит, как баба цыплят с крыльца сзывает, как Машка мурлычет. Как только дед с бабой за стол сядут, скворец уже на столе. Бегаёт, вертится, попрошайничает: «Ч-что же это такое, с-скво-руш-шку-то поз-за-были?»; А если и это не помогает, он прыг деду на голову да в лысину его – долб! Дед взмахнет рукой, а Василий Иванович уже над окном и верещит оттуда: «Что же такое за штуки? Что же это такое?»

Так-то вот они и жили в великом согласии. Раз зимою легли они спать. А на дворе была вьюга. Вдруг баба повернулась на бок и говорит:

– Дед, а дед, как будто у нас около калитки кто-то кричит... жалобно так...

– А ты спи знай, – отвечает старик. – Я только что второй сон начал видеть. Никто там не кричит. Ветер воет.

Помолчали, помолчали. Опять баба беспокоится.

– Да я же тебе говорю, встань ты, старый трутень. Ясно я слышу, что это ребеночек кричит... Мне ли не знать?

Тут все звери проснулись. Машка сказала:

– Это не мое дело. Если бы молоко или мышь, тогда так... А понапрасну я себя беспокоить не согласна.

Вспрыгнула на печку, задрала заднюю ногу кверху, как контрабас, и завела песню. Патрашка потянулся передними лапами, потом задними и сказал:

– Беф! Что за безобразие, уснуть не дают!.. Беф-беф! Целый день трудишься, покою не знаешь, а тут еще ночью тревожат. Беф!

Покрутился, покрутился вокруг собственного хвоста и лег калачиком. На дворе что-то опять запищало. Даже и дед услышал.

– А ведь это ты верно, баба. Не то ягненок, не то ребенок. Пойти-ть, что ли, посмотреть?

Спустил ноги с лежанки, всунул их в валенки, снял с гвоздя тулуп, пошел на двор. Приходит.

– Старуха, зажги-ка огонь. Погляди, кого нам бог послал. Баба зажигает, а сама торопится!

– Кого? Кого? Мальчика? Девочку?

– Совсем наоборот. Не ребеночек, а козя. Да ты посмотри, какая прехорошенькая. Вынул из-за пазухи, подает бабе. Та разохалась:

– Ах, ах, ах, что за козя! Что за козюля удивительная. Настоящая ангорская.

А козя вся дрожит: на ножках и на брюшке у нее снег обледенел комьями, хвостиком вертит и прежалостно плачет:

– Б-э-э... Молочка бы мне-э-э!.. Дед своей старухи боялся и знал, что она скуповата. Одна-

ко осмелился, прокашлялся:

– Ей бы, старуха, молочка бы? А? А старуха и рада.

– Верно, верно, старик. Я сейчас.

Налила молочка в блюдце. Но козя была совсем мала и глупа, ничего не понимает, только ногами в блюдечко лезет и все блеет. Тут старик догадался.

– Подожди-ка, я ей соску сооружу.

Налил молока в аптекарский пузырек, обвязал сверху тряпку, колпачком, и сунул козе в рот... Уж так-то она принялась сосать, что просто ужас. Аж вся трясется и копытцем по полу стучит. Кошка Машка говорит:

– Здравствуйте! Мое молоко и вдруг каким-то бродягам. А Патрашка сказал:

– Совсем с ума спятили наши дед и баба. И полез под кровать.

Василий Иванович проснулся, когда зажгли свечку, и заскрипел что-то спросонья. Но увидал, что рядом на стене ползет таракан. Тюк! – и нет таракана. А козя выдудила пузырек, еще требует. Дали ей другой, и третий, и четвертый. А сами на нее не налюбуются. Но потом дед пощупал у нее животик и говорит:

– Точно турецкий барабан. Будя. Облопаешься. Идем-ка лучше спать. Залез на печку и взял козю к себе под армяк.

Очень скоро козя в доме освоилась. Научилась скакать с пола на лавку, с лавки на лежанку, с лежанки на печку. И такая утешная стала, ласковая, что просто одна прелесть. Не только из рук ест, но даже по карманам шнырит. И все бегаёт, суется, хвостом трясёт, орешки рассыпает. Баба в ней просто души не чаёт:

– Послал нам бог сокровище за сиротство за наше. Вот подрастет немножко козлетоночка наша и будет молока давать, каждый день по две бутылки. А мы его будем дачникам продавать. Молоко козье драгоценное, потому что очень целительное, – по полтиннику бутылка. А там острижем ее, и буду я зимою вязать чулки и перчатки из козьего ангорского пуха на продажу. И тебе, старик, свяжу к твоему дню ангела напузники на руки.

А козинька между тем растет не по дням, а по часам, умнеет просто по минутам. Такая, наконец, премудрая козища стала, что даже уж невтерпёж. Сначала, что она выдумала? Дедов табак жевать. Свертит он, бывало, себе крученку, заслюнит и положит на краешек стола. А коза уж тут как тут. Хан, и давай цигарку зубами во рту перетирать и проглотит. Один раз ухитрилась: дед забыл ящик задвинуть, так она целый кисет с табаком вытащила, изжевала и съела.

Но это еще было полбеда. Пришло лето, и козинька показала все свои способности. Что ни день, то на нее жалоба. Там капустную рассаду потоптала, там грядку левкоев слопала, там молодые яблоньки обглодала...

– Вы бы хоть привязали ваше убоище! – говорят старикам соседи.

– Привяжешь ее, как же! Пробовали мы ее привязывать, так она все веревки перегрызает.

– Ну, а все-таки поглядывайте, не удобно так-то...

И, кроме того, изучила она одну преподлую манеру – стала бодаться. Идет по двору человек и без всякого внимания. А она потихоньку зайдет сзади, да как разбежится, да как саданет лбом под коленки, тот мигом на задущку и сядет.

Многие очень обижались.

И чем дальше пошло – тем пуще. Чем больше козлища растет, тем больше наглости набирается. Через улицу в огороде весь молодой картофель повытаскала, у батюшки всю клубнику викторию начисто уничтожила, у волостного писаря сахарный горох истребила. Каждый день – новое бедствие. Не вытерпели наконец мужики, собрались вместе и пошли к деду-бабе.

– Как себе хотите, дед-баба, а больше нашего терпения нет. Житья нам не стало от вашего чудовища беспощадного. Вы его или продайте, или на мясо зарежьте. А мы больше не согласны.

Пробовала было баба заступиться:

– Что уж вы так строго? Чай, не разорила вас моя бедная ангорская козочка. Мужики как грохнут от смеха, как закачаются!

– Да что ты, матушка! Разуй глаза-то. Разве же это ангорская коза? Настоящий, что ни на есть, деревенский козел, и борода у него, как у председателя.

– Да неужели же? Батюшки, стыд-то какой. Пропали мои ангорские варезки! Ах, пропало мое козье молочко.

И в ту же ночь пристала к старику без короткого. Пилила его, пилила...

– Осрамил ты меня на всю округу. Куда мне теперь глаза девать? Засмеют, задразнят меня, станут козлиной бабушкой звать. А все через тебя, окаянный старик. Нет, как хочешь, а чтобы этой страшной твари в моем доме не было. Завтра же води ее на базар продавать. Иначе житья тебе от меня не будет.

Делать нечего. Покорился дед. Встал утром пораньше, обмотал рога козлу веревкой и повел за конец. А козел и тут отличается. То упрется копытами в землю, головой мотает, – с места его не стронешь. То как подерет вперед, старик за ним еле поспевает, рысью бежит. Парни идут навстречу, заливаются:

– Дедушка, а дедушка, кто кого на базар продавать тащит: ты козла аль козел тебя?

Однако кое-как дошли они до базара, верст за двенадцать от своей деревни. Удалось деду продать козла очень скоро и выгодно. Расставаясь с козлом, чуть не плакал дед. Говорил новому владельцу:

– Уж ты, милый человек, побереги козелка-то. Он не простой, а ангорский. Умен до чего: только не говорит!..

Вернулся домой. Отобрала у него баба деньги. Легли спать.

А на утро... батюшки! Что за крик такой страшный на улице? Дед и баба к окну. А на них снаружи прямо так и пялится противная козлиная морда – ровно сам нечистый. Стал на дыбки, передними ногами в стену стучит, ушами хлопает, бородищей трясет, носом дергает и орет во все горло:

– Бэ-е-е-е... Поесть бы мне-э-э-э!..

А на шее у него мотузок веревки болтается. Отгрыз-таки, подлец! Да это еще что! Глотнувши свободного-то воздуха, стал козел так по всей деревне озоровать, точно новый Емелька Пугачев объявился, которого дякон в неделю православия с амвона проклинает. Раз пять его старик водил на продажу. Один раз в телеге увез за тридцать верст, голову ему в мешок завязавши. Вернулся ведь! Через два дня вернулся. Весь в репье, в ссадинах, хромою, грязный, вовсе неприличный – и дерет горло на всю деревню:

– Рады ли вы мне-э-э-э?..

Дошло наконец до того, что опять пришли мужики к деду, на этот раз уже всей деревней от мала до велика. И сказали:

– Ну, дед, давай решать по душе. Либо ты один живи в деревне со своим козлом, а мы отсюда уйдем куда глаза глядят, либо уж, так и быть, мы останемся, а ты уходи от нас со своим извергом.

Тут бабу взорвало, точно бочку с порохом. Как напустится она на старика:

– И пошел ты вон из моего дома, и чтобы я тебя больше не видела, и на порог тебя больше не пущу, пока ты своего товарища не зарежешь. На вот, бери ножик и води козла в лес. И больше я знать ничего не хочу.

Что оставалось делать старику?

Проснулся утром до зари, опять обвязал козлу рога и потянул за собой. А козел, как нарочно, вдруг добрый-предобрый сделался, ласковый-преласковый: точно его подменили. То мордой о дедово колено потрется, то в глаза ему заглянет, то за рукав его теребит...

Пришел дед в лес, сел у дорожки на пенек и заплакал:

– Ну, как я своего козлика доморослого зарежу? Лучше бы уж мне на самого себя руки наложить! Никак я не могу этого сделать.

Только вдруг слышит песню. Из-за еланьки выезжают на дорогу справа по шести всадники-драгуны. Лошади под ними как на подбор, всё рыжие, идут охотно, весело, фыркают на росу, поигрывают. Солнышко тут взошло, шерсть на них золотом отливает, блестит на оружии. Одна красота, а кругом все зелено. Высоким тенором, задрал горло, заливаясь запевала:

Ротмистр скомандовал, дернул усами:

– Ребята, смотреть веселей. А хор как хватит:

Справа по шести, сидеть молодцами,

Не огорчать лошадей.

Так по всему лесу гул и пошел. Все звери и птицы шарахнулись. Вахмистр попридержал коня, подъехал к деду:

– Ты чего тут, старик, делаешь? О чем плачешь? Что у тебя за козел такой страховидный?

– Ах, батюшка-начальник, вот со мной какое горе... Так-то и так-то, – и рассказал дед всю

свою беду.

– Ну, дедушка, это ты на старости лет глупости задумал. Подожди-ка, я тебя сейчас выручу. Стой, ррав-няйсь!.. Ребята, желаете козла принять в эскадрон? Солдаты обрадовались:

– Сделайте милость, Никандра Евстигнеевич. Наши кони давно по козлу скучают. Первое дело мухи его вони не терпят, а главное, домовый его боится. Самое разлюбозное дело выйдет, если возьмете. Первый козел будет по всей дивизии.

– Ладно. Сколько, старик, хочешь за козла вместе с веревкой?

– Да что вы, служивые! Буду я с вас деньги брать? Вам в походе каждая копейка нужна: и на шило, и на мыло, и попить чтобы было. Берите так.

– Утешный старикан. Ну, спасибо тебе.

– А вы далеко ли, воины, путь держите?

– Мы-то? А вот едем немцев бить.

– Ах вы, мои милые. Ну, дай вам бог в сохранности вернуться.

– И ты живи, дедушка, поскрипывай. Эй, Петров, заводи.

Бесятся кони, брешат мундштуками,
Пенятся, рвутся, храпя-я-т.

Ударили в тарелки, засвистали соловьем, залился подголосок, заходил, заплясал бунчук...

Барыни, барышни взором отчаянным
Вслед уходящим глядят.

Пришел дед домой туча тучей. Со старухой и говорить не хочет. Это он нарочно так притворился, что будто бы ему козла зарезанного жалко. Старуха поверила и ничего не расспрашивает.

Но, как прошло недели с две, а козел все не возвращается, тут уж дед признался во всем откровенно. Ужасно баба обрадовалась:

– Спасибо, голубчик. Снял ты с моей души камень.

А козел, как поступил на военную службу, так как будто в ней и родился. Нашел наконец свое настоящее место. И сразу стал страх какой отчаянный! Бывало, идут драгуны перед обедом к водке, а уж кто-нибудь непременно вспомнит:

– Надо бы было и козлу поднести. Вася, Вася!.. Василь Васильич! А он уж тут как тут. Вихрем примчался. Бородой трясет.

– Водки мне-э-э-э!

И хлеб с солью ему полагался. И табачку давали пожевать. А за сахаром он сам по солдатским карманам лазил.

Но зато, как только полк выходит на ученье или на смотр, он уж непременно при первом эскадроне в первом взводе, в первом ряду, рядом с правофланговой лошадей. Отогнуть его было никак невозможно. Даже генералы махнули на него рукой. Безобразно, конечно, когда козел своим диким галопом скачет рядом с конями, но ничего, мирились, знали, что козел – полковой любимец. Потом козлу пришлось и на настоящую войну попасть. Долго он туда ехал: сначала по железной дороге, потом шел пешком, опять с лошадьми в вагоне, через речки на паромках переправлялся и вброд. Зашел совсем в неведомые страны. И тут о нем нам уже мало известно. Говорят, что ходил три раза в атаку на артиллерию. Был ранен, но легко, солдаты его своими средствами вылечили. Говорят тоже, что за его бесстрашие повязали ему солдаты на шею сине-бело-красную ленту. Вспоминал ли он о деде-бабе? Должно быть, вспоминал. Но дело воинское тяжелое, некогда не только письмо написать, а и поесть некогда...

Дед-баба до сих пор поскрипывают, но уж очень старенькие стали, вовсе дряхлые. Кошка Машка оглохла. Патрашка совсем поглупел, разленился и стал у него прескверный характер. Один скворец держится молодцом. Бывало, утром вдруг заорет:

– Бэ-э-э! Молочка бы мне-эээ!..

Баба так к окну и метнется, а потом на скворца полотенцем замахает.

– Кшш ты, окаанный! До чего напугал. Я и вправду подумала, что это наша милая козенька просится...

Звезда Соломона

I

Странные и маловероятные события, о которых сейчас будет рассказано, произошли в начале нынешнего столетия в жизни одного молодого человека, ничем не замечательного, кроме разве своей скромности, доброты и полнейшей неизвестности миру. Звали его Иван Степанович Цвет. Служил он маленьким чиновником в Сиротском суде, даже, говоря точнее, и не чиновником, а только канцелярским служителем, потому что еще не выслужил первого громкого чина коллежского регистратора и получал 37 руб. 24½ коп. в месяц. Конечно, трудно было бы сводить концы с концами при таком ничтожном жалованье, но милостивая судьба благоволила к Цвету, должно быть, за его душевную простоту. У него был малюсенький, но чистенький, свежий и приятный голосок, так себе, карманный голосишко, тенорок-брелок, – сокровище не бог весть какой важности, но все-таки благодаря ему Цвет пел в церковном хоре своего богатого прихода, заменяя иногда солистов, а это вместе с разными певческими халтурами, вроде свадеб, молебнов, похорон, панихид и прочего, увеличивало более чем вдвое его скудный казенный заработок. Кроме того, он с удивительным мастерством и вкусом вырезал и клеил из бумаги, фольги, позументов и обрезков атласа и шелка очень изящные бонбоньерки для кондитерских, блестящие котильонные ордена и елочные украшения. Это побочное ремесло тоже давало небольшую прибыль, которую Иван Степанович аккуратно высылал в город Кинешму своей матушке, вдове брендмейстера, тихо доживавшей старушечий век на нищенской пенсии в крошечном собственном домишке, вместе с двумя дочерьми, перезрелыми и весьма некрасивыми девицами. Жил Цвет мирно и уютно, вот уже шестой год подряд все в одной и той же комнате в мансарде над пятым этажом. Потолком ему служил наклонный и трехгранный скат крыши, отчего вся комната имела форму гроба; зимой бывало в ней холодно, а летом чрезвычайно жарко. Зато за окном был довольно широкий внешний выступ, на котором Цвет по весне выгонял в лучинных коробках настурцию, резеду, лакфиоль, петунью и душистый горошек. Зимой же на внутреннем подоконнике шаршились колючие бородавчатые кактусы и степенно благоухала герань. Между тюлевыми занавесками, подхваченными синими бантами, висела клетка с породистым голосистым кенарем, который погожими днями, купаясь в солнечном свете и в фарфоровом корытце, распевал пронзительно и самозабвенно. У кровати стояли дешевенькие ширмочки с китайским рисунком, а в красном углу, обрамленное шитым старинным костромским полотенцем, утверждено было божие милосердие, образ богородицы-троеручицы, и перед ним под праздники сонно и сладостно теплилась розовая граненая лампадка.

И все любили Ивана Степановича. Квартирная хозяйка – за порядочное, в пример иным прочим, буйным и скоропреходящим жильцам, поведение, товарищи – за открытый приветливый характер, за всегдашнюю готовность услужить работой и денежной ссудой или заменить на дежурстве товарища, увлекаемого любовным свиданием; начальство – за трезвость, прекрасный почерк и точность по службе. Своим канареечным прозябанием сам Цвет был весьма доволен и никогда не испытывал судьбу чрезмерными вожделениями. Хотелось ему, правда, и круто хотелось – получить заветный первый чин и надеть в одно счастливое утро великолепную фуражку с темно-зеленым бархатным околышем, с зеркалом и с широкой тульей, франтовато притиснутой с обоих боков. И экзамен был им на этот предмет сдан, только далеко не блестяще, особенно по географии и истории, и потому мечты носились пока в густом розовом тумане. Давно заказанная фуражка покоилась в картонке, в нижнем ящике комода. Иногда, придя из присутствия, Цвет извлекал ее на свет божий, приглаживал бархат рукавом и сдувал с сукна невидимые пылинки. Он не курил, не пил, не был ни картежником, ни волокитой. Позволял себе только разумные и дешевые удовольствия: по субботам, после всенощной, – жаркую баню с долгим любовным пареньем на полке, а в воскресенье утром – кофе с топлеными сливками и с шафранным кренделем. Изредка совершал он прогулки на вербы, на троицкое катанье, на балаганы, на ледоход и на Иордань и раз в год ходил в театр на какую-нибудь сильную, патристическую пьесу, где было побольше действий, а также слез, криков и порохового дыма.

Была у него одна невинная страстишка, а пожалуй, даже призвание – разгадывать в журна-

лах и газетах всевозможные ребусы, шарады, арифмографы, криптограммы и прочую путаную белиберду. В этой пустяковой области Цвет отличался несомненным, выдающимся, исключительным талантом, и много было случаев, что он для своих товарищей и знакомых, выписывающих недорогие еженедельные издания, разгадывал шутя сложные премированные задачи. Высоким мастером был он также в чтении всевозможных секретных шифров, и об этом странном даровании Ивана Степановича наша правдивая, хотя и неправдоподобная повесть рассказывает не случайно, а с нарочитым подчеркиванием, которое станет ясным в дальнейшем изложении.

Изредка, в праздничные дни, под вечерок, заходил Цвет – и то по особо настойчивым приглашениям – в один трактирный низок под названием «Белые лебеди». Там иногда собирались почтамтские, консисторские, благочинские и сиротские чиновники, а также семинаристы и кое-кто из соборных певчих – голосистая, хорошо сладившаяся, опытная в хоровом пении компания. Толстый и суровый хозяин, господин Нагурный, страстный обожатель умилительных церковных песнопений, охотно отводил на эти случаи просторный «банкетный» кабинет. Пелись старинные русские песни, кое-что из малорусского репертуара, особенно из «Запорожца за Дунаем», но чаще – церковное, строгого стиля, вроде «Чертог твой вижду», «Егда славнии ученицы», или из бахметьевского обихода греческие распевы. Регентовал обычно великий знаток Среброструнов от Знамения, а октаву держал сам знаменитый и препрославленный Сугробов, бродячий октавист, горький пьяница и сверхъестественной глубины бас. Хозяину Нагурному петь раз навсегда было строго запрещено, вследствие полного отсутствия голоса и слуха. Он только дирижировал головой, делал то скорбное, то строгое, то восторженное лицо, закатывал глаза, хлюпал носом и – старый, потертый крокодил – плакал настоящими, в орех величину, слезами. И часто, разнежившись, ставил выпивку и закуску.

На этих любительских концертах Иван Степанович, случалось, не мог отказаться от стакана-другого пива, от рюмочки сантуринского или кагора. Но приятнее ему было все-таки скромно угостить хорошего знакомого, чаще всего – волосатого и звероподобного октависта Сугробова, к которому он питал те же почтительные, боязливые, наивные и влюбленные чувства, какие испытывает порою пылкий десятилетний мальчуган перед пожарным трубником в сияющей медной каске.

II

Двадцать шестое апреля пришлось как раз в воскресенье, в храмовой праздник прихода, где пел Иван Степанович. Кроме обычной обедни, была еще отслужена заупокойная литургия, заказанная вдовой именитого купца Солодова, по случаю мужниных сороковин. Певчие, ставшие вдовы, были награждены расплакавшеюся купчихой с неслыханной щедростью (поговаривали, что покойный сильно поколачивал в хмелю свою супругу и что еще при жизни мужа она утешалась с красавцем старшим приказчиком). После литургии пропели панихиду на дому, а к поминальному обильному столу, вместе с духовенством и нарочито приглашенным соборным протодиаконом, был позван и церковный хор.

День закончился в «Белых лебедях»; настоящим разлитым морем, и как-то само собой случилось, что Цвет, всегда умеренный и не любивший вина, выпил гораздо более того, что ему было допущено привычкой и натурой. Но от этого он вовсе не потерял своих милых и теплых внутренних свойств, а, наоборот, забыв о всегдашней застенчивости и слегка распахнувшись душой, стал еще добрее и привлекательнее. С нежной предупредительностью подливал он пиво в стаканы то октависту Сугробову, то огромному протодиакону Картагенову, которого без особых усилий компания затащила в ресторанный подвальчик. Восторженно слушал он, как эти две городские знаменитости, оба красные, потные, мохнатые, с напряжившимися жилами на шеях, переговаривались через стол рокошущими густыми голосами, заставлявшими тяжело и гулко колебаться весь воздух в низкой и просторной комнате. Обнимал он также и многократно целовал жеманного, курчавого и толстого Среброструнова, уверял, что место ему по его великим талантам быть не регентом в маленьком губернском городе, а, по крайней мере, управлять придворной капеллой или московским; синодальным хором, и клятвенно обещался подарить к именинам Среброструнова золотой камертон с надписью и к нему – замечательный футляр из красного сафьяна, собственноручной работы.

В этот вечер пели мало и не по-всегдашнему стройно: сказались усталость и купеческое широкое хлебосольство. Но говорили много, громко, возбужденно и все разом. Высокие носовые и горловые ноты теноровых голосов плыли и дрожали на фоне струнного басового гудения, точно сверкающая рябь солнечного заката на глубокой полосе спокойной, широкой реки. И Цвету мгновеньями казалось, что он сам среди пестрого говора, в синих облаках табачного дыма, пронизанного мутными пятнами огней, тихо плывет куда-то в темную даль, испытывая сладкое, сонное раздражающее головокружение, какую-то приятную, лазурную, с алыми пятнами одурь. Порою отдельные куски разговора вставляли перед ним с необыкновенной, преувеличенной яркой ясностью.

– Я и не скрываю. Чего мне скрывать? – говорил смуглый, угреватый и мрачный баритон Карпенко. – Есть у меня один выигрышный билет. Первого мая ему розыгрыш. Хоть он и заложенный, а все-таки я его сколотил на мои кровные труды, и никому до этого нет никакого дела. Вот назло выиграю первого мая двести тысяч и брошу к чертовой матери и хор и службу. И заживу паном. Положу деньги под закладную дома из десяти процентов. Проценты буду проживать, а капитал не трону. Двадцать тысяч в год. Буду обедать у Смутьского, а за обедом портвейн пить по два с полтиной бутылка. Попробуйте-ка у меня тогда занять денег. А н-ни копейки, ни грошика. Н-никому! Зась!

– Го-го-го, – захохотал оглушительно Картагенов. Я раз выиграл на билет пятьсот рублей.

– Как это так, отец дьякон? На билет от конки?

– Ничуть не бывало. Взаправду. Мой батяка, как вам, может быть, известно, был, вроде меня, соборным протодиаконом, но только не здесь, а в Москве. И голосом он обладал ужасающим, вроде царя-колокола или самолетского парохода. Что я перед ним? Мозгляк! – рывкнул Картагенов, и от его возгласа заколебались огненные языки в лампах. – Однажды ему за свадебного апостола купцы подарили шесть выигрышных билетов. Тогда они еще по сту с небольшим ходили. Вот он, значит, все эти билеты перетасовал и роздал, как карты, не глядя, и потом на каждом надписал имена: свое, маменькино и нас четверых: мое, двух братьев и сестренкино. И засунул за образа.

Однако не застраховал. Побоялся искушения. Сказано в Писании: «Не надейтесь ни на князи, ни на сыны человеческие». И положил он между нами всеми такой нерушимый уговор: если кто выиграет пятьсот рублей, тому выигрыш идет целиком, малолеткам – ко дню их совершеннолетия. А на руки – немедленная единовременная премия, в пропорции возраста. Мне, например, было высчитано рубль сорок копеек. Если же на чей билет падет больше, то все деньги делятся между участниками и хранятся по уговору, хотя счастливцу все-таки выдается увеселительный наградной куш. За тысячу – три рубля, за пять тысяч – десять и так далее, с благоразумным уменьшением процентов. За двести же тысяч – пятьдесят целковых, по тогдашнему времени – целый корабль с мачтами и еще груженный золотом.

Пришло первое мая. Отец нарочно купил газету, надел очки и смотрит. Глядь – готово. Мой номер. Цифра в цифру. Так и напечатано: вышел в тираж погашения нумер такой-то, серия такая-то. Что такое за штука тираж – никому не было тогда известно: ни отцу, ни знакомым. Но, посоветовавшись с кое-какими ближними мудрецами, так и порешили, что, должно быть, слово это означает тоже выигрыш, а может быть, – почем знать? – и в удвоенном размере? Батяка по этому поводу совершил обильное возлияние, а мне на радостях было выдано в задаток рубль и сорок копеек. Устроил я в тот же день Валтасарово пиршество. Купил на улице полный бочонок грушевого квасу и весь лоток моченых груш. Угостился с приятелями квантум сатис², даже до полного расстройства желудка³. Наутро батяка попер с газетным листом на Ильинку к менялам, справиться, где и как получить выигранные деньги. Ему там и объяснили все его невежество. «Плакали, мол, отец дьякон, твои сто рубликов, а билет ты можешь оправить в рамку и повесить у себя в кабинете, как вечную память твоей глупости». Обиделся он самым свирепым образом. Вернулся домой, точно грозовая туча. И прямо ко мне: «Скидывай портки!»; – «За что, папенька?»; – «А за то, за самое. Не обжорствуй мочеными грушами, в них бо есть блуд!»; И такую

² вдоволь (от лат. quantum satis).

³ Желудка (от греч. stomachos).

прописал мне ижицу ниже спины, что и до сих пор вспомнить щекотно. А остальные пять билетов в тот же день продал. «Не хочу, – сказал, – потворствовать мошенническим аферам». Вот и все.

– Маловато, – заметил кто-то иронически.

– А что же? – возразил другой. – Хоть день, хоть час, а все-таки счастье. Разные там мечты, надежды, планы...

Все на минуту как-то задумчиво умолкли. Первым заговорил Среброструнов:

– Если бы мне двести тысяч, я объездил бы Россию, все города и захолустья, и набрал бы самый замечательный в мире хор. И пел бы я с ним в Москве. А потом стал бы концерттировать по Европе. Везде: в Париже, в Лондоне, в Риме, в Берлине. И приобрел бы я всесветную славу. А Сугробова кормил бы сырым мясом и показывал в клетке за особую плату. Потому что за границей таких зверей еще не выдavano.

– Ве-ерно, – протянул протодьякон низким, мягким и густым басом.

– Да-а, – подтвердил Сугробов на кварту ниже. – А я бы, – заговорил он с оживлением, – я бы сто пятьдесят этак тысяч отдал жене и сказал бы: «Вот тебе отступное. Живи себе как хочешь, пой, играй, пляши, а я – до свидания. Попилили меня десять лет, попили моей крови, пора и честь знать». И ушел бы я на волю. Засим тридцать тысяч отделию в общий великий вселенский пропой, а на остальное куплю хату, на манер собачьей конуры, но с садом и огородом. И буду возращать плоды и ягоды. И кор-не-пло-ды... – закончил он в нижнее контр-ля. Многие засмеялись. Им было давно известно, в каком рабском подчинении держала этого могучего, черноземного, стихийного человека его жена – маленькая, тощая языкатая женщина, ходячая злая скороговорка, первая ругательница на всем Житием базаре. И сразу весь банкетный кабинет закипел общим горячим разговором. Как это часто бывает, соблазнительная тема о всевластности денег волшебным образом притянула и зажгла неутолимимым волнением этих бедняков, неудачников и скрытых честолюбцев, людей с расшатанной волей, с неудовлетворенным аппетитом к жизни, с затаенной обидой на жестокую судьбу. И тут сказала, точно вывернувшись наизнанку, истинная, потаенная буднями натура каждого. Мечтали вслух о вине, картах, вкусной еде, о роскошной бархатной мебели, о далеких путешествиях в экзотические страны, о шикарных костюмах и перстнях, о собственных лошадях и громадных собаках, о великосветской жизни в обществе графов и баронов, о театре и цирке, об интрижке со знаменитой певицей или укротительницей зверей, о сладком ничегонеделании с возможностью спать сколько угодно часов в сутки, о лакеях во фраках и, главное, о женщинах, о целом гареме из женщин, о женщинах всех цветов, ростов, сложений, темпераментов и национальностей.

Пожилой консисторский чиновник Световидов, умный, желчный и грубый человек, сказал ядовито:

– Ни у кого из вас нет человеческого воображения, милые гориллы. Жизнь можно сделать прекрасной при самых маленьких условиях. Надо иметь только вон там, вверху над собой, маленькую точку. Самую маленькую, но возвышенную. И к ней идти с теплой верою. А у вас идеалы свиней, павианов, людоедов и беглых каторжников. Двести тысяч – дальше не идут ваши мечтания. Но, во-первых, у вас у всех в общей сложности имеется наличного капитала один дырявый пятиалтынный. Во-вторых, ни у кого из вас не хватит выдержки сэкономить хотя бы сто рублей на покупку выигрышного билета. Карпенко, наверно, приобрел свой билет, зарезав родную тетку во время сна. И когда он выиграет двести тысяч, то как раз в тот же день его гнусное преступление раскроется и его, раба божьего, повлекут в тюрьму. А в-третьих, даже и с билетом в кармане вероятность первого выигрыша равна одному шансу на десять миллионов, то есть почти нулю или бесконечно малой дроби. Стало быть, все, что вы говорите сию минуту, – одно суесловие, раздражение пленной и жалкой мысли. Двести тысяч! Что за скудость фантазии!

– Ему бы миллион, – сказал чей-то недружелюбный голос в конце стола. – Известно, консистория – место хлебное, а глаза у нее завидующие.

– А что же? – спокойно возразил Световидов, даже не обернувшись. – Мечтать о несбыточном, так мечтать пошире. Миллионов десять – это, скажем, недурно. Можно прожить умно, полезно и со вкусом. Но почему бы вдруг не сделаться, по мановению волшебного жезла, например, царем? Но и тогда ваши телячьи головы ничего острого не вообразят. Знаете, есть побасенка. Русского рязанского мужичка спросили: «Что бы ты, Митенька, делал, если бы был царем?» – «А я бы, говорит, сидел целый день у ворот на завалинке и лузгал бы семечки. А как кто

мимо идет – в морду. Как мимо – так в морду». Ваша готтентотская фантазия не намного дальше хватает. Явись хоть сейчас к вам, к любому, дьявол и скажи: «Вот, мол, готовая запродажная запись по всей форме на твою душу. Подпишись своей кровью, и я в течение стольких-то лет буду твердо и верно исполнять в одно мгновение каждую твою прихоть». Что каждый из вас продал бы свою душу с величайшим удовольствием, это несомненно. Но ничего бы вы не придумали оригинального, или грандиозного, или веселого, или смелого. Ничего, кроме бабы, жранья, питья и мягкой перины. И когда дьявол придет за вашей крошечной душонкой, он застанет ее охваченной смертельной скукой и самой подлой трусостью.

Световидов замолчал, и никто не возразил ему. Слова его были подобны ледяному компрессу на пылающую голову. Только кто-то, скрытый в синем табачном дыму, спросил из угла, обращаясь к Цвету:

– Эй ты, Иоанне Цветоносный. А ты бы что бы? А?

– Я? – встрепенулся Цвет. Он блаженными, блестящими глазами уставился на лампу, и тотчас же от ее огня отделился другой огонь и легко поплыл вправо и вверх. – Я бы? Мне ничего не надобно. Вот хоть бы теперь... светло, уютно... компания милых, хороших товарищей... дружная беседа... – Цвет радостно улыбнулся соседям по столу. – Я хотел, чтобы был большой сад... и в нем много прекрасных цветов. И многое множество всяких птиц, какие только есть на свете, и зверей... И чтобы все ручные и ласковые. И чтобы мы с вами все там жили... в простоте, дружбе и веселости... Никто бы не ссорился... Детей чтобы был полон весь сад... и чтобы все мы очень хорошо пели... И труд был бы наслаждением... И там ручейки разные... рыба пускай по звонку приплывает...

– Словом – рай! – прервал его Световидов. А протодиакон, сидевший рядом, обнял Цвета, крепко притиснул к своей исполинской груди и одним сердечным поцелуем обмусолил его нос, губы, щеки и подбородок. И взревел ему в самое ухо:

– Ваня! Друг! Ангелоподобный!

Но в эту минуту появился хозяин трактира с третьим, и последним, напоминанием: «Во всем ресторане огни уже потушены. Пора расходиться. А то от полиции выйдут неприятности». Стали расходиться.

Цвет возвращался домой в самом чудесном настроении духа. С нежным чувством глядел он, как на небе среди клубистых, распушенных облаков, стремительно катился ребром серебряный круг луны, пролагая себе золотисто-оранжевый путь. И пел он на какой-то необычайно-прекрасный собственный мотив собственные же слова акафиста всемирной красоте: «Земли славное благоутробие и благоухание и небеси глубино торжественная, людие веселием играша воспевающе...» Взялся он к себе на чердак очень долго, балансируя между стеной и перилами. По привычке бесшумно отпер наружную дверь, аккуратно разделся и лег в постель, поставив возле себя на стуле зажженную свечу. Взял было утреннюю недочитанную газету. Но буквы сливались в мутные полосы, а полосы эти принимали вращательное движение. Наконец веки, отяжелев, сомкнулись, и сознание Цвета окунулось в бездонную темноту и в молчание.

III

– Извиняюсь за беспокойство, – сказал осторожно чей-то голос.

Цвет испуганно открыл глаза и быстро присел на кровати. Был уже полный день. Кенарь оглушительно заливался в своей клетке. В пыльном, золотом солнечном столбе, лившемся косо из окна, стоял, слегка согнувшись в полупоклоне и держа цилиндр на отлете, неизвестный господин в черном поношенном, старинного покроя, сюртуке. На руках у него были черные перчатки, на груди – огненно-красный галстук, под мышкой древний помятый, порыжевший портфель, а в ногах у него на полу лежал небольшой новый ручной саквояж желтой английской кожи. Странно знакомым показалось Цвету с первого взгляда узкое и длинное лицо посетителя: этот ровный пробор посередине черной, сидящей на висках головы, с полукруглыми расчесами вверх, в виде приподнятых концов бабочкиных крыльев или маленьких рожек, этот большой, тонкий, слегка крючковатый нос с нервными козлиными ноздрями, бледные, насмешливо изогнутые губы под наглыми воинственными усами, острая длинная французская борода. Но более всего напоминали какой-то давнишний, полузабытый образ – брови незнакомца, подымавшиеся от переноса круто вкось прямыми, темными, мрачными чертами. Глаза же у него были почти

бесцветны или, скорее, в слабой степени напоминали выцветшую на солнце бирюзу, что очень резко, холодно и неприятно противоречило всему энергичному, умному, смуглому лицу.

– Я стучал два раза, – продолжал любезно, слегка скрипучим голосом незнакомец. – Никто не отзывается. Тогда решил нажать ручку. Вижу, не заперто. Удивительная беспечность. Обокрасть вас – самое нехитрое дело. Знаете, есть такие специалисты-воры, которые только тем и занимаются, что ходят по квартирам «на доброе утро». Я бы, конечно, не осмелился тревожить вас так рано. – Он извлек из жилетного кармана древние часы, луковицей, с брелоком на волосяном шнуре, в виде Адамовой головы, и посмотрел на них. – Теперь три минуты одиннадцатого. И если бы не крайне важное и неотложное дело... Да нет, вы не волнуйтесь так, – заметил он, увидя на лице Цвета испуг и торопливость. – На службу вам сегодня, пожалуй, и вовсе не придется идти...

– Ах, это ужасно неприятно, – конфузливо сказал Цвет, – Вы меня застали неодетым, походите немного. Я только приведу себя в порядок и сию минуту буду к вашим услугам.

Он обул туфли, накинул на себя пальто и выбежал в кухню, где быстро умылся, оделся и заказал самовар. Через очень короткое время он вернулся к своему гостю освеженный, хотя с красными и тяжелыми от вчерашнего кутежа веками. Извинившись за беспорядок в комнате, он присел против незнакомца и сказал:

– Теперь я готов. Сейчас нам принесут чай. Чем обязан чести...

– Сначала позвольте рекомендоваться. – Посетитель протянул визитную карточку. – Я – ходатай по делам. Зовут меня Мефодий Исаевич Тоффель. «Странно. И фамилия как будто бы знакомая», – подумал Цвет. Он слегка наклонил голову и с недоумением в глазах пробормотал:

– Очень приятно... Но я...

– Один момент... Простите, что перебиваю вас. Вашего покойного батюшку звали, если не ошибаюсь, Степаном Николаевичем. Не так ли?

– Совершенно точно.

– Хорошо. Значит, старшего его братца, тоже ныне покойного, имя-отчество было Аполлон Николаевич? Верно?

– Верно. Но мне лично не приходилось ни разу в жизни видеть его. Я только изредка слышал о нем кое-что по семейным воспоминаниям родителей. Но это было уже очень давно... Так, какие-то мелочи... и мне очень совестно, что я, кажется, совсем забыл их.

– Это вовсе и не важно. Пара пустяков, – небрежно махнул рукой ходатай и тотчас же, раскрыв свой потертый портфель, вытащил из него с ловкостью фокусника и выкинул на стол одну за другой несколько бумаг разного формата. – Для нас самое главное в нашем деле то, что ваш почтенный дядюшка был при жизни большим оригиналом, то есть мизантропом, нелюдью и даже, говорят, алхимиком. Словом – что называется – чудачком.

– Да, я что-то слышал в этом роде. Но помню это смутно, точно сквозь сон. Наша семья вообще не поддерживала с ним никаких связей. Утеряли их. Впрочем, без всякой ссоры.

– Так. Теперь ближе к делу. Десять лет тому назад ваш дядюшка волею судьбы покинул земную юдоль. Для вас это событие, очевидно, не имело никакого существенного значения, кроме вполне естественного сознания горестной утраты. А между тем после Аполлона Николаевича осталось небольшое наследство, состоящее из нескольких сот десятин недвижимости в Черниговской губернии: земля, лесок и довольно значительная усадьба со старым барским домом. Лет восемь это имущество считалось бесхозным, почти вымороченным. А так как я специально занимаюсь розысками по таким, неведомо кому принадлежащим имуществам, то, узнав случайно про Червоное, я и пошел по обратным жизненным следам вашего покойного дядюшки. Положение мое было довольно тяжелое. Завещания нет, законные наследники не объявляются. Соседи по имени знакомства с Аполлоном Николаевичем не вели, видели его только издали и подозревали, что он был или масон, или изобретатель, или анархист – какое ему дело до завещания? Крестьяне же все убеждены, что он занимался чародейством и, пожалуй, даже продал душу дьяволу. Но путем разных намеков и умозаключений я стал медленно пробираться по этапам жизни вашего дядюшки и вот, наконец, в Витебске, в полусгоревшем архиве нотариуса, набрел на подлинное, хотя и очень старинное завещание, по которому земля и усадьба, с постройками и со всем живым и неживым инвентарем, должны перейти к старшему в роде. По наведенным справкам, этим старшим в роде являетесь вы, глубокоуважаемый Иван Степанович, с чем я и имею честь вас искренно поздравить.

Тоффель, сидя, поклонился. Цвет покраснел и протянул ему руку. Пожатие руки, обтянутой в черную перчатку, было твердо и сухо.

– И чтобы не быть голословным, – продолжал Тоффель, – позвольте предоставить вам все документы, ясно доказывающие ваши права. Вот завещание. Вот ввод во владение... Наследственные и иные пошлыны. Вот расписка в получении поземельных и прочих налогов, с прибавкой пеней за истекшие годы. Вот тра-та-та, тра-та, – забарабанил ходатай казенными словами и пестрыми дробными цифрами. Говоря таким образом, он с прежней привычной ловкостью быстро подсовывал Цвету одну за другой бумаги, четко написанные и набранные на машинке, отмеченные круглыми печатями, чернильными и сургучными, и украшенные мудреными завитками подписей и росчерков.

«Как его звать? – подумал Цвет и поглядел на карточку, потом на Тоффеля. – Удивительно знакомое имя. И где же я наконец видел эту странно-памятную, необычайную физиономию?»; И он сказал вслух с некоторой робостью:

– Но видите ли, почтенный Мефодий Исаевич. Все это так неожиданно... Я ничего не понимаю в подобных делах. И потом, ведь это так далеко – Черниговская губерния...

– Стародубский уезд, – подсказал Тоффель.

– Вот видите. Я положительно теряюсь и должен поневоле просить ваших указаний... Кроме того, ваши любезные хлопоты... Вы уж будьте добры сами назначить сумму вознаграждения.

Тоффель дружелюбно рассмеялся и слегка, очень вежливо, притронулся к коленке Цвета.

– Гонорар – второстепенный вопрос. Не обидим друг друга. Я наводил о вас справки. Простите, мы, деловые люди, не можем иначе. И повсюду я получил о вас сведения, как о самом порядочном, честном человеке, как о настоящем джентльмене,

К тому же весьма щедрого характера. За себя на этот счет я покоен. Ну, скажем, двадцать, пятнадцать процентов с казенной оценки? Если это вам покажется чрезмерным, я удовольствуюсь десятью.

– О нет, пожалуйста, пожалуйста. Пусть будет двадцать.

– Признателен, – поклонился Тоффель. – И теперь, раз уже вы сами сделали мне честь просить моего совета, позволяю себе усердно рекомендовать вам: немедленно же, как можно скорее, ехать в Черниговщину и осмотреть имение. Я даже буду настаивать, чтобы вы отправились сегодня же.

– Позвольте, но это уже совсем нелепо. Надо выпросить отпуск... Необходимо достать денег на дорогу... Собраться... И мало ли еще что?

– Пара пустяков, – самодовольно и ласково возразил ходатай. – Во-первых, вот вам ваш отпуск. Я его выхлопотал за вас еще сегодня утром через вашего экзекутора Луку Спиридоновича. К чести его надо сказать, что взял он с меня совсем немного и с готовностью побежал к председателю. Оба они рады вашему счастью, как своему собственному. Вы положительно баловень фортуны. Пожалуйста.

– Вы – волшебник, – прошептал изумленно Цвет, рассматривая свой месячный, по семейным надобностям, отпуск, подписанный председателем и скрепленный экзекутором. И даже почерк текста чуть-чуть походил на почерк самого Цвета, хотя Иван Степанович сейчас же подумал, что все каллиграфические рондо схожи одно с другим.

– И насчет денег не беспокойтесь. Мой долг – это уж так водится у нас, адвокатов, – ссудить вас заимообразно необходимой суммой, разумеется под самые умеренные проценты. Будьте добры пересчитать. В этой пачке ровно тысяча. Нет, нет, вы уж потрудитесь посплюнуть пальчики. Деньги счет любят. А вот и расписка, которую я заранее заготовил, чтобы не терять напрасно дорогого времени. Черкните только: «И. Цвет»; – и дело в шляпе.

Цвет был ошеломлен.

– Вы так любезны и предупредительны... что я... что я... право, я не нахожу слов.

– Суший вздор, – фамильярно, но учтиво отстранился ладонью Тоффель. – Пара пустяков. А вот теперь, когда формальности покончены, осмелюсь преподнести вам еще один сюрприз.

Из портфеля прежним чудесным способом появились два картонных обрешочка.

– Это билет первого класса до станции Горынище, а это плацкарта на нижнее место. Билеты взяты на сегодня, поезд отходит ровно в одиннадцать тридцать. Пароконный извозчик дожидается нас у подъезда. Вам, следовательно, остается только положить в карман паспорт и запис-

ную книжку, надеть шляпу, взять в руку тросточку и затем: «Andiam, andiam, mio caro...»⁴; – пропел очень фальшиво, козлиным голосом Тоффель. – А с вашего позволения, я пособлю вам уложиться!

– Ах, что вы, помилуйте... Ради бога! – смутился Цвет.

Лицо Тоффеля сморщилось шутливой, но весьма отвратительной гримасой.

– Экий вы шепетильный какой. Но в таком случае не откажите уж принять от меня небольшой дорожный подарочек – вот этот саквояж. Нет, нет, убедительно прошу не отказываться. Я нарочно выбирал эту вещицу для вашего путешествия. Вы меня обидите, не приняв ее. Подумайте, ведь я с вас заработаю немалый куртаж.

– Спасибо, – сказал Цвет. – Прелестная вещь. – Он чувствовал себя неловко, точно связанным, точно увлекаемым чужой волей. Минутами неясная тревога омрачала его простое сердце. «Какая изысканная заботливость со стороны этого чужого человека, – думал он, – и как поразительно скоро совершаются все события! Право – точно во сне. Или я и в самом деле сплю? Нет, если бы я спал, то не думал бы, что сплю. И лицо, лицо... Где же я его видел раньше?»;

– Но как все это необыкновенно, – сказал он из глубины шкапа, где перебирал свои туалетные принадлежности. – Если бы мне вчера кто-нибудь предсказал сегодняшнее утро, я бы ему в глаза рассмеялся.

Он медлил, но Тоффель с дружеской настойчивостью, одновременно почтительной и развязной, продолжал погонять его.

– Ах, молодой человек, молодой человек... Как мало в вас предприимчивости. Впрочем, и все мы, русские, таковы: с развальцей, да с прохладцей, да с оглядкой. А драгоценное время бежит, бежит, и никогда, ни одна промелькнувшая минута не вернется назад. Ну-с, живо, по-американски, в три приема. Ваши новые ботинки за дверь. Я попросил горничную их вычистить. Вас, может быть, удивляет, что я вас так тороплю? Но, во-первых, я и сам не имею ни секунды свободной. Вот провожу вас, и сейчас же мне надо скакать в уезд, по срочным делам. Волка ноги кормят. Ничего, ничего... Одевайтесь при мне без всякого стеснения. Я – мужчина. А во-вторых, сами посудите, что выйдет хорошего, если вы прокантитесь в городе несколько лишних дней? Ведь теперь уже всем вашим знакомым и множеству незнакомых известно через эскутера о свалившемся на вашу голову наследстве. О, мне хорошо известна человеческая натура. Начнут кланяться, взаймы, потребуют вспрыснуть получку, добрые мамы взрослых дочерей устроят на вас правильную облаву с загоном. Вы – человек слабый, мягкий, уступчивый – хороший товарищ. Еще завертитесь, чего доброго, и наделаете долгов. Я знаю такие примеры. А тут еще подвернется какое-нибудь этакое соблазнительное увлечение, вроде красотки из кондитерской, как та, – помните? – полная блондинка за прилавком у Дюмона, первая от окна, с сапфировыми глазками? Право, слушайте вы меня, старого воробья. Я худу не учу. Тем более что вы с первого взгляда внушили мне самую глубокую, можно сказать отеческую, симпатию. Вы только не обращайтесь на меня внимания, укладывайтесь, укладывайтесь! А я тем временем передам вам кое-какие нужные сведения. Простыней и подушек, пожалуйста, уж не берите с собой. Все дадут вам в спальном вагоне, а в усадьбе есть много прекрасного, тонкого голландского белья. И сорочек много не надо. Две, три перемены. Возьмите мягкие, *fantaisie*. Немного платков и носков. Прескверная у нас привычка путешествовать с целым караван-сараям. По этой примете всегда за границей узнают русских. Берите только то, что уместится в саквояж. Остальное лишнее. Едете всего на два, на три дня.

Ну так слушайте же. Имение, правду говоря, хоть и не заложено, но в страшном забросе. Триста с небольшим десятин. Из них удобной земли полтора, и ту запахали дружественные поселяне. Владение обставлено сотнями идиотских неудобств. Череспособица, рядом чиншевые наделы, до сих пор существует не только сервитутное право, но даже в силе какая-то, черт бы ее побрал, «улиточная запись». Нет, совсем серьезно уверяю вас, что есть и такие юридические курьезы! Мое мнение – землю продать. Возиться с ней – это, как говорят поляки, «более змраду, як потехи». Тут не только вы с вашей полной неопытностью, но даже первый выжига, кулак, практик – сядет в калошу... Вы выбираете галстуки? Советую вам этот, черный с белыми косыми полосками. Он солиднее... Остается усадьба. Она велика, но мрачна и на сыром месте. Фрукто-

⁴ Пойдем, пойдем, мой дорогой... (итал.)

вый сад стар, запущен и выродился без ухода. Инвентаря – никакого. Дом – сплошная рухлядь, гнилая труха. Деревянная, источенная червями двухэтажная постройка времен Александра Первого, с кривыми колоннами и однобоким бельведером. На него дунуть – рассыплется. Стало быть, и усадьбу побоку. Вы только осмотритесь там на месте, а я уж здесь, будьте покойны, приищу вам невинного покупателя. Вряд ли и вещи сколько-нибудь ценные найдутся в доме. Все – хлам. Осталась там небольшая библиотека, но она вас мало заинтересует. Все больше по оккультизму, теософии и черной магии... Ведь вы человек верующий? – Тоффель, не оборачиваясь, кивнул головой назад, на образа. И, должно быть, от этого движения судорога скрутила ему шею, потому что он болезненно сморщился. – И вам, такому свежему, милому, не след, да и будет скучно заниматься сумасбродной ерундой. Вы лучше эту пакость сожгите! А? Право, сожгите. Я говорю из чувства личной, горячей симпатии к вам. Обещаете сжечь? Да? Хорошо? Ну, дайте же, дайте мне слово, прелестный, добрый Иван Степанович.

– Даю, даю. Сделайте милость. Господи!.. Крр... – издал ходатай горлом странный трескучий звук.

– Что с вами? – заботливо спросил Цвет.

– Ничего, ничего, не беспокойтесь... Немного поперхнулся. Что-то попало в дыхательное. Ну, вы, кажется, готовы? Так едемте же. На вокзале у нас еще хватит времени слегка позавтракать и распить за здоровье нового помещика бутылочку. Поммери-сек. Нет, уж вы выходите первым. Я за вами. По-румынски. Вот так. Через час этот энергичный, всезнающий, все предвидящий делец услужливо подсаживал Цвета на ступеньки вагона первого класса. В последнюю минуту как-то само собой очутилась в его руках изящная, небольшая плетеная корзиночка. Подавая ее вверх, в руки Цвета, он сказал с приятной улыбкой:

– Не откажите принять. Это так... дорожная провизия... Немного икры, рябчики, телятина, масло, яйца и другая хурда-мурда. И парочка красного, мутон-ротшильд.

Не поминайте же лихом. Ждите от меня телеграммы... А если будет надобность, телеграфируйте мне сюда, в Бельвию. До свидания. Не хочу затруднять нелепым торчанием у вагона. Мои комплименты.

И, галантно поцеловав кончики обтянутых черной перчаткой пальцев, он скрылся в толпе.

IV

Дорога промелькнула необыкновенно быстро. Ни разу еще в своей жизни не путешествовал Цвет с такими широкими удобствами, и никогда не бежало так незаметно для него время. Попадались ему очень любезные спутники – вежливые, внимательные, разговорчивые без навязчивости. Сладко и глубоко спал Цвет две ночи под плавное укачивание пульмановских рессор, а днем любовался из окна на реки, поля, леса и деревни, проходящие мимо и назад, или основательно и с толком закусывал в светлом нарядном вагоне-ресторане, где на блестящих снежных скатертях раскачивали свои яркие головки цветы, а за столами сидели обычные дамы поездов-экспрессов: все, как на подбор, большие, пышнотелые, роскошно одетые, самоуверенные, с громким смехом и французскими словами, – женщины, пахнувшие крепкими, терпкими духами. Для него они были созданиями с другой планеты и возбуждали в нем любопытство, удивление и стеснительное сознание собственной неловкости.

Одно только беспокоило и как-то неприятно, пугающе раздражало Цвета в его праздничном путешествии. Стоило ему только хоть на мгновение возвратиться мыслью к конечной цели поездки, к этому далекому имени, свалившемуся на него точно с неба, как тотчас же перед ним вставал энергичный, лукавый и резкий лик этого удивительного ходатая по делам – Тоффеля, и появлялся он не в зрительной памяти, где-то там, внутри мозга, а показывался въявь, так сказать живьем. Он мелькал своим крючконосым, крутобровым профилем повсюду: то на платформе среди суетливой станционной толпы, то в буфете первого класса в виде шмыгливого вокзального лакея, то воплощался в затылке, спине и походке поездного контролера. «Просто какое-то наваждение, – думал тревожно Цвет. – Неужели так прочно запечатлелся в моей душе этот странный человек, что я, даже отделенный от него большим пространством, все-таки брежу им так сильно и так часто». К концу вторых суток Цвет сошел на станции Горынище и нанял за три рубля си-воусого дюжего хохла до Червоного. Когда Цвет по дороге объяснил, что ему надо не в деревню, а в усадьбу, возница обернулся и некоторое время рассматривал его с пристальным и бесцере-

монным любопытством.

– Так-таки до самого, до паньского фольварку? – спросил он наконец недоверчиво. – До того Цвита, що вмер?

– Да, в имение, в господский дом, – подтвердил Иван Степанович.

– Эге ж. – Старик чмокнул на лошадей губами. – А вы сами из каких будете? Цвет рассказал вкратце о себе. Упомянул и о наследстве и о родстве. Старик медленно покачал головой.

– Эх, не доброе дило... Не фалю.

– Почему не хвалите, дядя?

– А так... Не хочу...

И замолчал. Так они в безмолвии проехали около двенадцати верст до села Червоного, раскинувшегося своими белыми мазанками и кудрявой зеленью садов на высоком холме над светлой речонкой, свернули через плотину и подъехали к усадьбе, к чугунным сквозным воротам, распахнутым настежь и криво висевшим на красных кирпичных столбах. От них вела внутрь заросшая дорога, посредине густой аллеи из древних могучих тополей. Вдали серела постройка, белели колонны и алым отблеском дробилась в стеклах вечерняя заря. У ворот старик остановил лошадей и сказал решительно:

– Вылазьте, ну, панычу. Бильше не пойду.

– Как же это так не поедете? – удивился Цвет. – Осталось ведь немного. Вон и дом виден.

– Ни. Не пойду. А ни за пять корбованцев. Не хочу.

Цвет вспомнил слова Тоффеля о дурной славе, ходившей среди крестьян про старую усадьбу, и сказал с принужденной усмешкой:

– Боитесь, верно?

– Ни. Ни трошки не боюсь, а тилько так. Платите мини мои гроши, тай годи. Попросив возчика подождать немного, Цвет один пошел по темной, прохладной аллее к дому. Тоффель говорил правду. Постройка оказалась очень древней и почти развалившейся. Покривившиеся колонны, некогда обмазанные белой известкой, облупились и обнажили гнилое, трухлявое дерево. Кой-где были в окнах выбиты стекла. Трава росла местами на замшелой, позеленевшей крыше. Флюгер на башенке печально склонился набок. В саду, под коряво разросшимися деревьями, стояла сырая и холодная темнота. Крапива, лопухи и гигантские репейники буйно торчали на местах, где когда-то были клумбы. Все носило следы одичания и запустения. Цвет обошел вокруг дома. Все наружные двери – парадная, балконная, кухонная и задняя, ведшая на веранду из разноцветных стекол, – были заперты на ключ. С недоумением, скукой и растерянностью вернулся Цвет к экипажу.

– А где бы мне здесь, дяденька, ключи достать? – спросил он. – Всюду заперто.

– А чи я знаю? – равнодушно пожал плечами мужик. – Мабудь, у господина врядника, чи у станового, чи у соцького, а мабудь, у старосты альбо учителя. Теперички вси забули про цее бисово кубло. И хозяина нема ему. Вы мене, прошю, звините, а тильки люди недоброе балакают про вашего родича. Бачите – такее зробилось, що, кажуть, поступил он на службу до самого до чертяки... И загубил свою душу, а ни за собачий хвист. И вас, панычу, нехай боронит господь бог и святыи Мыкола.

Он едва заметным движением перекрестил пуговицу на свитке. Внезапно откуда-то сорвался ветер. Обвисшая половина ворот пошатнулась на своих ржавых петлях и протяжно закрипела.

«Точь-в-точь как голос Тоффеля», – подумал Цвет. И в тот же миг рассердился на себя за это назойливое воспоминание.

– А ну, седайте, панычу, скорийше и поидеме до села, – сказал хохол.

Опять пришлось переправляться через плотину и подыматься вверх в Червоное. После долгих розысков, наводивших суеверный ужас на простодушных поселян, Цвет отыскал наконец след ключей, которые, оказалось, хранились уже много лет у церковного сторожа. Сообщил ему об этом священник. У него Иван Степанович немного передохнул и даже выпил чашку чая, пока толстопоятая дивчина Ганка бегала за сторожем.

Батюшка говорил, поглаживая рукой пышную седеющую бороду и сверля Цвета острыми, маленькими, опухшими глазками:

– Как человек до известной степени интеллигентный я отнюдь не разделяю глупых народных примет и темных суеверий. Но как лицо духовное не могу не свидетельствовать о том, что в

творениях отцов церкви упоминается, и даже неоднократно, о всевозможных кознях и ухищрениях князя тьмы для уловления в свои сети слабых душ человеческих. И потому, во избежание всяких кривотолков и разных бабьих забубонов, позволяю себе предложить вам хоть на сию ночь мое гостеприимство. Постелят вам вот здесь, в гостиной, на диванчике. Не весьма роскошно и, пожалуй, узковато, но, извините, чем богаты... А дом успеете осмотреть завтра утром. Поглядите, какая темь на дворе.

Цвет обернулся к окнам. Они были черны. Ему хотелось принять предложение священника, потому что изморенное дорогой тело просило отдыха и сна, но какое-то властное и томительное любопытство неудержимо тянуло его назад, в старый заброшенный дом. Он поблагодарил и отказался. Пришел церковный сторож, древний маленький старичок, уже не седой, а какой-то зеленоватый, и так скрюченный ревматизмом, что казалось, он все время собирается стать на четвереньки. В руках он держал большой фонарь и связку огромных ржавых ключей. На прощание батюшка дал Цвету запасную свечу и пригласил его на завтрак к утреннему чаю.

– Если что понадобится, рад служить. По-соседски. Как-никак, а будем жить рядом. Но простите, что не провожаю лично. Народ у нас сплетник и дикарь, и даже многие склоняются к унии.

Ночь была темна и беззвездна, с легким теплым ветром. Светло-желтое, мутное пятно от фонаря причудливо раскачивалось на колеях, изборождавших дорогу. Цвет не видел своего провожатого, шедшего рядом, и с трудом разбирал его слабый, тонкий, шамкающий голос. Старик, по его словам, оказывался единственным бесстрашным человеком во всем Червоном, но Цвет чувствовал, что он привирает для собственной бодрости.

– Чего мне бояться. Я ничего не боюсь. Я – солдат. Еще за Николая, за Первого, севастопольский. И под турку ходил. Солдату бояться не полагается. Пятнадцать лет я сторожем при церкви и на кладбище. Пятнадцать лет моя такая должность. И скажу: все пустое, что бабы брешут. Никаких нет на свете ни оборотней, ни привидений, ни ходячих мертвяков. Мне и ночью доводится иной раз сходить на кладбище. В случае воры или шум какой и вообще. И хоть бы что. Которые умерли, они спят себе тихесенько на спинке, сложивши ручки, и ни мур-мур. А нечистая сила, так это она в прежние времена действовала, еще когда было припасное право, когда мужик у помещика был в припасе. Тогда, бывало, иной землячок, отчаявшись, и душу продавал нечистому. Это бывало. А теперь вся чертяка ушла на зализную дорогу да на пароходы, чтоб ей пусто было. Вот еще по электричеству работает. Старик, а за ним Цвет прошли через ворота, уныло поскрипывавшие голосом Тоффеля, вдоль черной аллеи, глухо шептавшей невидимыми вершинами, до самого дома. Долго им обоим пришлось повозиться с ключами. Покрытые древней ржавчиной, они с трудом влезали в замки и не хотели в них вращаться. Наконец, после долгих усилий, подалась кухонная дверь. Кажется, она не была даже заперта, а просто уступила сильному толчку. Старик ушел, отдав Ивану Степановичу свой фонарь. Цвет остался в пустом и незнакомом доме. Он не испытывал страха: ужас перед сверхъестественным, потусторонним был совершенно чужд его ясной и здоровой душе, – но от дороги у него сильно болела голова, все тело чувствовало себя разбитым, и где-то глубоко в сознании трепетало томительное любопытство и смутное предчувствие приближающегося необычайного события. С фонарем в руке обошел он все комнаты нижнего этажа, странно не узнавая самого себя в высоких старинных, бледно-зеленых зеркалах, где он сам себе казался кем-то чужим, движущимся в подводном царстве. Шаги его гулко отдавались в просторных пустынных покоях, и было такое ощущение, что кто-то может проснуться от этих звуков. Обои оборвались, отклеились и свисали большими колеблющимися лоскутами. Все покорибилось, сморщилось от времени и издавало тяжелые старческие вздохи, кряхтение, жалобные скрипы: и иссохшийся занозистый паркет, и резные раскоряченные стулья, и кресла красного дерева, и причудливые фигурные диваны, с выгнутыми, в виде раковин, спинками. Огромные шатающиеся хромоногие шкапы и комоды, картины и гравюры на стенах, покрытые слоями пыли и паутины, бросали косые, движущиеся тени на стены. И тень от самого Цвета то уродливо вырастала до самого потолка, то падала и металась по стенам и по полу. Тяжелые драпри на окнах и дверях слегка пошевеливали своими мрачными глубокими складками, когда мимо них проходил одинокий, затерянный в безлюдном доме человек.

По винтовой узенькой лестнице Цвет взобрался наверх, во второй этаж. Там все комнаты были завалены и заставлены всяким домашним скарбом: поломанной мебелью, кучами тканей,

сундуками, рогожами, корзинами, связками старых газет. Но две комнаты сохранили живую своеобразную физиономию. Одна из них раньше служила, вероятно, спальней. В ней до сих пор еще сохранились умывальник, туалетный стол и зеркальный гардеробный шкаф. Вдоль стены стоял прекрасный старинный турецкий диван, обитый оленьей кожей, – такой ширины и длины, что на нем могли бы улечься поперек шесть или семь человек. На полу лежал огромный, чудесных красных тонов, текинский ковер. Другая комната, несколько больших размеров, сразу удивила и очаровала Цвета.

Она одновременно походила и на редкостную любительскую библиотеку, и на кабинет чертежника, и на лабораторию алхимика, и на мастерскую кузнеца. Больше всего занимал места зияющий черной пастью горн с нависшим челом, сложенный из массивного прокопченного кирпича; около него, сбоку, на подставке, помещались раздувательные двойные меха. Один круглый, треногий стол был уставлен ретортами, колбами, пробками, тиглями, мензурками, термометрами, весами всяких родов и многими другими инструментами, смысл и назначение которых Цвет не в состоянии был постичь. Однако он заметил, что на многих из хрустальных флакончиков, наполненных порошками и жидкостями, приклеены были этикетки с рисунком мертвой головы или с латинской надписью «venena»⁵. Другой стол, ясеновый, большой, на козлах, похожий на обычные чертежные столы, был завален папирусными свитками, записными книжками, исчерченными и исписанными листами бумаги, циркулями, линейками, а также книгами всяких форматов. Впрочем, книги были повсюду: на стульях, на полу и главным образом на дубовых полках, прибитых вдоль стен, в несколько этажей, где они стояли и лежали в полнейшем беспорядке, все очень старинного, солидного вида, большинство *in folio*⁶, в толстых кожаных переплетах, на которых тускло поблескивало золотое тиснение.

Два предмета на ясеновом столе привлекли особенное внимание Цвета: небольшая, в фут длиною, черная палочка; один из концов ее обвивала несколько раз золотая змейка с рубиновыми глазами; а также шар величиною в крупное яблоко из литого мутного стекла или из полупрозрачного камня, похожего на нефрит, опал или на сардоникс. Палочка была тяжела, как свинцовая или налитая ртутью, и чрезвычайно холодна на ощупь. Шар же, когда его взял в руку Цвет, поразил его своей легкостью, хотя не было сомнения в том, что он состоял из сплошной массы. От него исходила странная, точно живая, теплота, и в глубине его, в самом центре, рдел странный, густой и, в зависимости от поворотов около фонаря, то бархатно-зеленый, то темно-фиолетовый крошечный огонек.

Поверхность его под пальцами давала ощущение, подобное тому, какое дают тальк, стеарин, мыло или слюда. Но чувствовалось, что он прочен, как стальной. Поставив фонарь на стол, Цвет опустился возле него в глубокое старинное, мягкой кожи кресло и, движимый каким-то необъяснимым, бессознательным любопытством, точно управляемый чьей-то чужой нежной, но могучей волей, потянулся за одной из лежавших на столе книг, переплетенной в ярко-красный сафьян, и раскрыл ее. На самом верху первой, обычно пустой страницы выцветшими рыжими чернилами, очевидно гусиным пером, четким старинным почерком с раздельными буквами в словах, с «н», похожим на «т», и «д» – на «п», тем характерным почерком конца восемнадцатого столетия, который так наивно схож с печатным курсивом того времени, было очаровательно-красиво выведено: «Сия книга замет, наблюдений и опытов начата Отставным Лейб-гвардии Поручиком князем Никитой Федоровичем Калязиным Апреля 11-го дня, 1786-го года в усадьбе Свистуны, Калязинской вотчины, Пензенской губернии». Несколько ниже, посередине страницы, круглым почерком николаевских времен со множеством завитков над большими буквами и с закорючками, на хвостах выступающих букв, вроде «р», «д», «у», «з» и тому подобное, стояло: «Сию книгу разыскал на ларьке у Сухаревой башни 24-го апреля 1848 года и того же числа приступил к ее продолжению дворянин Сергей Эрастович Гречухин. Москва, Сивцев-Вражек, свой дом».

И еще ниже – мелким, легким, грациозным, без малейших нажимов, своеобразным почерком умницы, скупца, фантазера и математика:

⁵ Яд (лат.).

⁶ Форматом в половину бумажного листа (лат.).

«По мере слабых сил буду продолжать этот великий труд, оставленный мне по завещанию, как неоцененный дар, моим учителем и другом. Надворный советник Аполлон Цвет. 1899 г. Апреля 3-го, ус. Червоное, Черниг. губ., Стародубского у.». С почтительным, тревожным и умильным чувством принялся Цвет бережно перелистывать одну за другой твердые, как картон, желтые, как слонобая кость, страницы.

Но содержание книги было выше тех средств, которыми Цвет располагал. На каждом шагу попадались в ней места, а порою и целые страницы, писанные по-французски и по-немецки, часто по-латыни, реже по-гречески, иногда же встречалась пестрая восточная вязь – не то арабская, не то еврейская. Из латинских слов Цвет еще кое-как, с трудом, напрягая усиленно память, понимал десятое слово (он когда-то в свое время дошел до четвертого класса классической гимназии), но целых изречений одолеть не мог. Русский текст двух первых владельцев книги был также чрезвычайно тяжел для уразумения. Он был написан тем старинным высокопарным, таинственным и туманным слогом, каким писали прежде розенкрейцеры, а потом масоны.

Сравнительно понятнее были русские строки, набросанные изумительно красивым, прихотливым, тонким почерком покойного Цвета. Но смысл их был или иносказателен, или содержал неинтересные, сухие и краткие заметки о погоде, об атмосферических явлениях, о некоторых открытиях в области химии, физики и астрономии, о кончинах никому не известных и ничем не замечательных людей. Зато многие места в дядином писании были, очевидно, зашифрованы, потому что представляли из себя, по первому взгляду, полную бессмыслицу. Однако Цвету после небольших попыток удалось найти ключ. Он был не особенно обычен, но и не чрезвычайно труден. Оказалось, надо было в каждом слове, вместо первой его буквы, подставлять букву, следующую за нею в порядке алфавита, вместо второй – третью, вместо третьей – четвертую и так далее. Таким образом, в этих секретных записях буква «а» значила местоимение «я», буква «к» – союз «и», «пессв» расшифровывались в «огонь», часто встречающийся знак «ехт» значил – «дух», «тнсжу» – читалось, как «слово», нелепое «грлбсп» означало «возьми». Но и раскрытие шифра не повлекло за собой ничего нового. Разгаданные фразы выходили запутанными, величественными и темными, подобно изречениям оракулов или духов на спиритических сеансах. Чтобы их одолеть, надо было быть алхимиком, астрономом, герметистом или теософом. Цвет же был всего-навсего скромным сиротским чиновником и лишь недурным разгадывателем невинных журнальных ребусов и шарад. Однако через несколько минут его способность к раскрытию замаскированных речей все-таки пригодилась ему. Вся книга была вперемежку с текстом испещрена множеством странных рецептов, сложных чертежей, математических и химических формул, рисунков, созвездий и знаков зодиака. Но чаще всего, почти на каждой странице, попадался чертеж двух равных треугольников, наложенных друг на друга так, что основания их противолежали друг другу параллельно, а вершины приходились – одна вверху, другая внизу, и вся фигура представляла из себя нечто вроде шестилучной звезды с двенадцатью точками пересечений. Чертеж этот так и назывался в дядюшкином шифре «звездой Соломона».

И всегда «звезда Соломона»; сопровождалась на полях или внизу столбцом из одних и тех же семи имен, написанных на разных языках: то по-латыни, то по-гречески, то по-французски и по-русски:

Асторет (иногда Астарот или Аштарет).

Асмодей.

Велиал (иногда Ваал, Бел, Вельзевул).

Дагон.

Люцифер.

Молох.

Хамман (иногда Амман и Гамман).

Видно было, что все три предшественника Цвета старались составить из букв, входящих в имена этих древних злых демонов, какую-то новую комбинацию, – может быть, слово, может быть, целую фразу, – и расположить ее по одной букве в точках пересечения «звезды Соломона»; или в образуемых ею треугольниках. Следы этих бесчисленных, но, вероятно, тщетных попыток Цвет находил повсюду. Три человека последовательно, один за другим, в течение целого столетия, трудились над разрешением какой-то таинственной задачи: один – в своей княжеской

вотчине, другой – в Москве, третий – в глуши Стародубского уезда. Одно диковинное обстоятельство не ускользнуло от внимания Цвета. Как фантастически ни перестраивали и ни склеивали буквы прежние владельцы книги, всегда и неизбежно в их работу входили два слога: Sa-tan.

Яснее всего о бесплодности этих попыток высказался Аполлон Цвет в своей последней заметке на двести тридцать шестой странице. Там стояли следующие зашифрованные слова, продиктованные отчаянием и усталостью: «Подумать только? Семнадцать букв. Из них надо выбрать тринадцать. Пять найдено: Sa-tan. Два раза «А». Итого четыре. Еще одиннадцать. Или восемь? Или буквы опять повторяются? По теории чисел возможны миллионы комбинаций, сочетаний и перемещений. Ключ к страшной формуле Гермеса Трисмегиста утерян. Кем? Великим Парацельсом? Или этим всесветным бродягой и авантюристом Калиостро? Все мы бредом ошущую, и только безумный случай может прийти на помощь счастливцу. Или воля мудрых пропала безвозвратно?»

Ниже этих строк, немного отступя, стояли еще три строки, исписанные очень неразборчиво, дрожащей рукой:

«Чувствую упадок сил. Заканчиваю свой труд. Все напрасно! Передаю следующему за мной. В ключе формула. В формуле – сила. В силе – власть.

А. Цвет.

У Ивана Степановича в кармане была записная книжка, а в ней всегда находился анилиновый карандаш. Цвет достал его, послунил и с решимостью вдохновения написал на первой странице следующее:

«26-го апреля 19** года сию книгу нашел в ус. Червоное и труд почтенных предшественников продолжен. Канц. Служ. И. Цвет. Червоное».

И когда он снова развернул книгу наудачу, на середине, она открылась как раз там, где лежала странная закладка: тонкая из желтоватой массы таблетка вершков четырех в квадрате с вырезанным на ней рисунком «звезды Соломона»; и множество крошечных сантиметровых квадратиков из того же матерьяла; на каждом из них была выгравирована и выведена черным лаком латинская буква. Цвет перевернул книгу, взявшись за оба корешка, и сильно потряс ее. Еще несколько квадратиков с легким стуком упали на стол. Цвет пересчитал: их было сорок четыре. «Странно, – подумал он, – Неужели мне суждено открыть то, что не давалось трем умным и образованным людям на протяжении целого века? Ну, что же... попробуем...»; В фонаре свеча догорала. Цвет зажег запасную, подержал ее тупой конец на огне и прилепил свечу прямо на стол, фонарь же задул. Теперь ему стало светлее, уютнее и точно теплее. Он придвинулся еще ближе к столу и склонился над таблеткой. Ветер перестал трепаться за окнами. В комнате стояла глубокая, равномерная тишина. И у Цвета было такое чувство, что он один во всем мире, сидит за своими костяшками в малом, тихом, освещенном пространстве, а жизнь – где-то далеко, в темноте, в прошедшем, в будущем. Громко тикали карманные часы.

Прежде всего он сложил из косточек и выровнял столбцом, как умел, имена этих злых и кровожадных богов. У него получилось ровно семь строк, по одному имени в каждой.

Astoret
Asmodeus
Dagon
Hamman
Lucifer
Moloh
Velial

И если он составлял их немного безграмотно или нескольких квадратиков ему не хватало, то, во всяком случае, все сорок четыре костяшки пошли у него в дело, и уже больше не было сомнения в том, что он правильно стоит на пути своих предшественников.

Потом он сложил по кучкам все одинаковые буквы. Кучек оказалось семнадцать. «Опять

верно, – подумал Цвет. – Но в формулу входит только тринадцать. Четыре лишних. И почему знать – не повторяется ли какая-нибудь буква два или три раза в «звезде Соломона»?

В звезде всего двенадцать точек, значит, тринадцатая, и, верно, самая важная, пойдет в середину. Если начать со слова Satan, то не поместить ли S в центре внутреннего шестиугольника? И правда, у дядюшки сказано несколько страниц назад: «Титул имени могущественного духа совмещает в себе мудрость змеи и блеск солнца». Конечно – S». И Цвет поставил эту букву в центре шестиугольника, а по сторонам расположил другие буквы – a, t, a, n. Начало вышло довольно удачным, но дальше дело не пошло, а темные указания покойного Аполлона Цвета не приносили никакой пользы. Насилуя свою память,

Цвет придумывал самые ужасные фразы и составлял их из костяшек: *Voco te, Satano!* *Advoco te, Satan! Veni hue, Satana!*⁷

Но он сам чувствовал инстинктом, что заблуждается.

И вдруг у него мелькнула в голове одна мысль, до того простая и даже пошлая, что она, наверно, никак не могла прийти в голову прежним, углубленным в высокую и тайную науку мудрецам. Пересмотреть квадратики на свет!

Через минуту его догадка дала блестящий результат. Он мог бы надменно торжествовать над бесплодными столетними поисками предков, если бы по натуре не был так скромн. Из всех сорока четырех квадратиков, которые он поочередно подносил к свече, тринадцать совершенно не пропускали света. Это были следующие буквы: a, a, e, f, g, i, m, o, o, r, s, t. И в них также входили буквы, составляющие страшное, мудрое и блестящее имя Satan. Оставалось только решить участь остальных восьми букв: e, g, i, m, o, o, r, f. И поэтому, спрятав лишние косточки в карман, Цвет терпеливо и внимательно принялся передвигать маленькие квадратики по тем пунктам, где пересекались линии красивой шестиугольной фигуры со змеевидным S в центре. Делал он это левой рукой, а правой рассеянно постукивал по таинственному легкому шару черной палочкой, которую машинально взял со стола.

Теперь он воочию убедился в бесконечном разнообразии расположения букв, слогов и слов. Он пробовал читать по линиям «звезды Соломона»; справа и слева, сверху и снизу, по часовой стрелке и обратно. У него получились необыкновенные фантастические слова вроде: афит, ониг, гано, офт, офир, мего, аргме, обхари, тасеф, нилоно и так далее. Но они ничего не значили ни на каком из языков. Тогда, продолжая постукивать палочкой по шару, Цвет стал пробовать выговорить все тринадцать букв в любом возможном для произношения порядке.

«Танорифогемас, Морфогенатаси, Расатогоминфе...»; Голова его отяжелела. Уныние и усталость все сильнее овладевали им. И вдруг... точно вдохновение подхватило Цвета, и его волнистые волосы выпрямились и холодным ежом встали на голове.

– Афро-Аместигон! – воскликнул он громко и ударил палочкой по шару. Жалкий тонкий писк раздался на столе. Цвет поднял глаза и сразу выпрямился от изумления и ужаса. Странный шар раздался до величины арбуза. Внутри его ходили, свиваясь, какие-то дымные, сизые, густые клубы, похожие на тучи во время грозы, и зловещим кровавым заревом освещал их изнутри невидимый огонь. А на шаре стояла на задних лапах огромная черная крыса. Глаза ее светились голубым фосфорическим блеском. Из раскрытой красной пасти выходил жалобный визг. И вся крысиная морда была поразительно похожа на чье-то очень знакомое лицо. «Мефодий Исаевич Тоффель! – мелькнуло быстро в памяти Цвета. – Мефистофель!»

Он замахнулся палкой и крикнул на весь дом:

– Кш! проклятый! Брысь! Афро-Аместигон! Он сам не знал, почему у него назвалось это фантастическое имя. Но крыса тотчас же исчезла, точно растаяла.

Вместо нее из темноты выдвинулась огромной величины козлиная голова, с дрожащей бородой, с выпученными фосфорическими глазами, с шевелящимися губами, мерзко и страшно похожими на человеческое лицо. Отвратительно и остро запахло в комнате козлиным потом.

– Мэ-э-э!... – угрожающе заблеял козел и наклонил рога.

– Ах, так? – крикнул в исступлении Цвет. – Афро-Аместигон!

Из всей силы он пустил тяжелой палкой в козлиную морду. Но не попал. Удар пришелся по огненному шару. Раздался страшный грохот, точно взорвался пороховой погреб. Ослепительное

⁷ Зову тебя, сатана! Призываю тебя, сатана! Приди сюда, сатана... (лат.)

пламя рванулось к потолку. Серный удушливый ураган дохнул на Цвета. И он потерял сознание.

V

Должно быть, от усталости и перенесенных волнений с ним приключился длительный обморок, перешедший потом, сам собою, в глубокий каменный сон. Проснулся он потому, что узенький солнечный луч, пробившийся длинной золотой спицей сквозь круглую молеедину в темно-вишневой занавеси окна, долго скользил по шее, по губам и по носу Цвета, пока, наконец, не уперся ему в глаз и защекотал своим жгучим прикосновением.

Цвет зажмурился, чихнул, открыл глаза и сразу почувствовал себя таким бодрым, свежим, легким и ловким, как будто бы все его тело потеряло вес, как будто кто-то внезапно снял с его груди и спины долго стеснявшую тяжесть, как будто ему вдруг стало девять лет, когда люди более склонны летать, чем передвигаться по земле. Он вовсе не удивился тому, что проснулся одетым и лежащим не в лаборатории, а в смежной спальном комнате, на широком замшевом диване, и что под головой у него была старинная атласная, вышитая шелковыми цветами подушка, неизвестно откуда взявшаяся. Но все, что произошло с ним вчера в кабинете полусумасшедшего алхимика, совершенно исчезло, выпало из его памяти, точно кто-то стер губкой все события этой странной и страшной ночи. Он помнил только, как пришел вечером в дом, остался один и пробовал от нечего делать читать какую-то древнюю рукописную старческую дребедень. Но устал смертельно и сам не знает, как дотащился до дивана...

Он быстро вскочил, подбежал к окну, отодвинул тяжелую занавеску, скользнувшую костяными кольцами по деревянному шесту, и распахнул форточку. С наслаждением почувствовал, что никогда еще его движения не были так радостно легки и так приятно послушны воле. Зелень, лазурь и золото прохладного весеннего утра радостно вторгнулись в душный, много лет непроветренный покой. «Ах, хорошо жить! – подумал Цвет, глубоко, с трепетом вдыхая воздух. – Только, вот стаканчик бы чаю... А как его достанешь?»;

Тотчас же сзади него скрипнула дверь. Он обернулся. В комнату входил вчерашний ветхий церковный сторож, с трудом неся перед собой маленький, пузатый, ярко начищенный самовар.

– Добрый день, паныч, – прошамкал он в свою зеленую бороду. – А вы так хороший кусок сна хватили. Дверь оставили незачинивши. То-то молодость. Я вот чайку вам скипятил. Подождите трошки, я зараз принесу.

Через минуту он вернулся с подносом, на котором стояла чайная посуда, лежал белый домашний хлеб, нарезанный щедро, толстыми кусками; был и мед в блюдечке, и сливки, и старый, съезженный временем лимон.

– Самовар я у батюшки попа занял, – деловито объяснял сторож. – А citronу достал у лавочника. Я знаю, что паны любят чай с citronой пить. Я ведь и вашему дядьке прислуживал. Вчера запомнил вам сказать. Дурная голова стала. Что давнoшнее, еще за Севастополь, хорошо помню, а что поближе – вовсе растерял. Кушайте на здоровьечко.

– Садитесь и вы, дедушка, – предложил Цвет. – Давайте стакан, я вам налью.

– Покорнейше благодарю, ваше благородие. Не откажусь. Если водочку изволите по утрам употреблять, это я тоже могу сбегануть. Близко. Не надо? Ну, как ваше желание.

Старик сосал беззубым ртом сахар, тянул чай с блюдечка и понемногу разговорился. Сбивался часто на николаевскую железную службу и на военные походы, но кое-что с трудом вспомнил и об Аполлоне Николаевиче. Покойный Цвет, по его словам, был пан добрый, никого не обижал, не был ни сутягой, ни гордецом, но жил большим нелюдимо. Хозяйство у него вела старая и презлющая одноокая женщина, он ее привез с собою из Питера в Червоное. А за дворней и за лошадьё ходил солдат – большой грубиян и пьяница. Никого из соседей у себя Цвет не принимал, но и сам ни к кому не ездил. А что он как будто бы занимался по черным книгам – все это бабы сплетни. В церкву, правда, не ходил, ну, да это, как сказать, – каждый может свою веру справлять сам по себе. Вот у нас есть на Червоном и в Зябловке такие, что тоже в церкву не ходят, а просто у себя по воскресеньям собираются в хате и читают в книгу. А живут ничего себе, хорошо... Не пьют, не курят, в карты не играют... Чисто вокруг себя ходят... Брешут, что будто бы насчет баб у них непорядок... Сначала Цвет с беззаботным, светлым равнодушием слушал болтовню старика. Но понемногу до его обоняния стал достигать и тревожить отдаленный, а потом все более заметный запах гари. Запах этот сделался наконец так силен, что даже сторож его

услышал.

– А уж не горит ли что у нас, часом? – спросил он, бережно ставя блюдо на стол.

– И то горит, – согласился Цвет. – Пойду посмотрю. Он вышел в кабинет, сопровождаемый старцем. На большом столе дымно и ярко пылала развернутая книга в красном сафьяновом переплете. Цвет быстро сообразил, что он вчера, должно быть, забыл потушить свечу и она, догорев, упала фитилем на страницу и передала огонь.

– А ну кидайте ее в печку, ваше благородие, – посоветовал храбрый старик. – Давайте я.

Цвет протянул было руку, чтобы помешать сторожу.

– Оставьте. Можно потушить. Но книга уже полетела в черный разверстый рот горна и запылала в нем весело и бурливо.

– От так! – крикнул с удовольствием сторож. – Туда ее, к чертовой матери.

– А и правда, – спокойно согласился Цвет и повернулся спиной к камину. И совсем в этот момент он не вспомнил тех часов, которые провел в минувшую ночь, склонившись над красной книгой. Но почему-то ему внезапно сделалось скучно...

С помощью сторожа он открыл кое-где в зале и гостиной забухшие, прогнившие ставни, и огромные комнаты при дневном свете показались во всем своем пустом, неприглядном и запущенном виде, говорившем о грязной, тоскливой разлагающейся старости. Всюду по углам темными, колеблющимися занавесками висела паутина, закоптелые, потрескавшиеся потолки были черны, мебель, изъеденная временем и крысами, кособокая и покоробленная, разверзала свои внутренности из волос, рогожи и пружин. Деревянные ветхие стены кое-где просвечивали сквозными дырами наружу. Пахло затхлостью, мышами, грибами, плесенью, погребом и смертью...

– Ну и хлам! – сказал Цвет, качая головой.

– И правда, – согласился сторож. – В нем если жить, то надо с опаской. Того гляди, развалится. И чинить нет расчета. Надо новый ставить.

По шатким, искрошившимся ступеням Цвет спустился в сад. Но там было еще грустнее, еще острее чувствовалось забвение, заброшенность, одичание места. Дорожки густо заросли травой, тухлявые заборы покосились, почернели и позеленели, перебитые стекла маленькой оранжереи отливали грязно-радужными полосами.

Чувство одиночества, усталости и тоски вдруг так сильно охватило Цвета, что он физически почувствовал его томление в горле и в груди. Для чего он тащился на край света? Кому нужна эта рухлядь? Крошечная комната в городе, на верху шестого этажа, под гробоподобной крышкой представилась ему во всей привлекательности милого привычного уюта. «Ах, хорошо бы поскорее домой, – подумал он. – Ни за что здесь не стану жить».

В эту минуту по дороге послышался колокольчик. Потом донеслись звуки колес. Какой-то экипаж остановился у ворот.

– Никак, почта из Козинец? – сказал сторож. – У нее такой звонок.

Цвет торопливо вышел на тополевую аллею. Навстречу ему приближался почтальон, высокий, длинный малый, молодой, веселый. Рыжие курчавые волосы буйно торчали у него из-под лихо сбитой набок фуражки. Голубые глаза бойко блестели на веснушчатом лице.

– Господин Цвет? Это вы? Вам телеграмма, – крикнул почтальон на ходу. – С приездом имею честь.

Цвет распечатал и развернул серый квадратный пакет. Телеграмма была от Тоффеля.

«Козинцы нарочным Червоное усадьба помещику Цвету.

Выезжайте немедленно нашел покупателя пока сорок тысяч постараюсь больше привет Тоффель».

Цвета самого несколько поразило то странное обстоятельство, что в первое мгновение он как будто не мог сообразить, что это за человек ему телеграфирует, и лишь с некоторым, небольшим усилием вспомнил личность своего ходатая. Но тому, что его мысль о продаже усадьбы так ловко совпала с появлением телеграммы, он совершенно не удивился и даже над этим не задумался.

– Надо, дедушка, мне ехать обратно, – сказал он деловито. – Как бы лошадь достать в селе?

– А вот не угодно ли со мной? – охотно предложил почтальон. – Мне все равно на станцию

ехать. Я и телеграмму вашу по пути захватил из Козинец. Кони у нас добрые. Дадите ямщику полтинник на водку – мигом доставит. И как раз к курьерскому.

– Мало погостили, – заметил древний церковный сторож, – А и то сказать, что у нас вам за интерес?.. Человек вы городской, молодой... Покорнейше благодарю, ваше благородие... Тяпну за ваше здоровье... Пожелаю вам от души всяких успехов в делах ваших. Дай вам...

– Ладно, ладно, – весело перебил Цвет. – Подождите, я только сбегая за чемоданом и – езда!

VI

Когда мы глядим на освещенный экран кинематографа и видим, что на нем жизненные события совершаются обыденным, нормальным, разве лишь чуть-чуть усиленным темпом, то это означает, что лента проходит мимо фокуса аппарата со скоростью около двадцати последовательных снимков в секунду. Если демонстратор будет вращать рукоятку несколько быстрее, то соразмерно с этим ускорятся все жесты и движения. При сорока снимках в секунду люди проносятся по комнате, не подымая и не сгибая ног, точно скользя с разбегу на коньках; извозчицья кляча мчится с резвостью первоклассного рысака и кажется стоногой; молодой человек, опоздавший на любовное свидание, мелькает через сцену с мгновенностью метеора. Если, наконец, демонстратору придет в голову блажной каприз еще удвоить скорость ленты, то на экране получится одна сплошная, серая, мутная, дрожащая и куда-то улетающая полоса.

Именно в таком бешеном темпе представилась бы глазам постороннего наблюдателя вся жизнь Цвета после его поездки в Червоное. Сотни, тысячи, миллионы самых пестрых событий вдруг хлынули водопадом в незаметное существование кроткого и безобидного человека, в это тихое прозябание божьей коровки. Рука невидимого оператора вдруг завертела его жизненную ленту с такой лихорадочной скоростью, что не только дни и ночи, обеды и ужины, комнатные и уличные встречи и прочая обыденщина, но даже события самые чрезвычайные, приключения неслыханно фантастические, всякие сказочные, небывалые чудеса – все слилось в один мутный, черт знает куда несущийся вихрь.

Изредка как будто бы рука незримого оператора уставала, и он, не прерывая вращения, передавал рукоятку в другую руку. Тогда сторонний зритель этого живого кинематографа мог бы в продолжение четырех-пяти секунд, разинув от удивления рот и вытаращив глаза, созерцать такие вещи, которые даже и не снились неисчерпаемому воображению прекрасной Шахразады, услаждавшей своими волшебными рассказами бессонные ночи царя Шахриора. И всего замечательнее было в этом житейском, неведь откуда сорвавшемся урагане то, что главный его герой, Иван Степанович Цвет, совсем не удивлялся тому, что с ним происходило. Но временами испытывал тоскливую покорность судьбе и бессилие перед неизбежным. Слегка поражало его – хотя лишь на неуловимые, короткие секунды – то обстоятельство, что сквозь яркий, радужный калейдоскоп его бесчисленных приключений очень часто и независимо от его воли мелькала, – точно просвечивающие строчки на обороте почтовой бумаги, точно водяные знаки на кредитном билете, точно отдаленный подсон узорчатого сна, – давнишняя знакомая обстановка его мансарды: желтоватенькие обои, симметрически украшенные зелеными венчиками с красными цветочками; японские ширмы, на которых красноногие аисты шагали в тростнике, а плешивый рыбак в синем кимоно сидел на камне с удочкой; окно с тюлевыми занавесками, подхваченными голубыми бантами. Эти предметы быстро показывались в общем сложном, громоздком и капризном движении и мгновенно таяли, исчезали, как дыхание на стекле, оставляя в душе мимолетный след недоумения, тревоги и странного стыда.

Началось все это кинематографическое волшебство на станции Горынище, куда около полудня приехал Цвет, сопровождаемый услужливым почтальоном. Этот случайный попутчик оказался милым малым, лет почти одинаковых с Иван Степановичем, но без его стеснительной скромности, – веселым, предприимчивым, здоровым, смешливым, игривым и легкомысленным, как годовалый щенок крупной породы. Должно быть, он простосердечно, без затей, с огромным молодым

аппетитом глотал все радости, которые ему дарила неприветливая жизнь в деревенской глуши: был мастер отхватить коленце с лихим перебором на гитаре, гоголем пройти соло в пятой фигуре кадрили на вечеринке у попа, начальника почтовой конторы или волостного писа-

ря, весело выпить, закусить и в хоре спеть верным вторым тенорком «Накинув плащ, с гитарой под полою», сорвать в темноте сеней или играя в горелки быстрый, трепетный поцелуйчик с лукавых, но робких девичьих уст, проиграть полтинник в козла или в двадцать одно пухлыми потемневшими картами и с гордостью носить с левого бока огромную, не вынимающуюся из ножен шашку, а с правого – десятифунтовый револьвер Смита-Вессона, казенного образца, заржавленный и без курка.

Этот молодчина совсем пленил и очаровал скромного Цвета. Поэтому, приехав в Горынище, они оба с удовольствием выпили водки в станционном буфете, закусили очень вкусной маринованной сомовиной и почувствовали друг к другу то мгновенное, беспричинное, но крепкое дружественное влечение, которое так понятно и прелестно в молодости.

Два пассажирских поезда почти одновременно подошли с разных сторон к станции. Надо было прощаться. Нежный сердцем Цвет затуманился. Крепко пожимая руку Василия Васильевича, он вдруг почувствовал непреодолимое желание подарить ему что-нибудь на память, но ничего не мог придумать, кроме тикавших у него в кармане старых дешевеньких томпаковых часов с вытертыми и позеленевшими от времени крышками. Однако он сообразил, что и этот дешевый предмет может оказаться кстати: по дороге веселый почтальон уморительно рассказывал о том, как на днях, показывая знакомым девицам замечательный фокус «таинственный факир, или яичница в шляпе», он вдребезги разбил свои анкерные стальные часы кухонным пестиком.

«Неважная штучка мои часы, – подумал Цвет, – а все-таки память. И брелочек при нем, сердоликовая печатка... можно отдать вырезать начальные буквы имени и фамилии или пронзенное сердце...»; Он сказал ласково:

– Вы прекрасный спутник. Если бы мне не ехать, мы с вами наверно, подружились бы. Не откажитесь же принять от меня на добрую память вот этот предмет... – И, опуская пальцы в жилетный карман, он добавил, чтобы затушевать незначительность дара легкой шуткой: – ...вот этот золотой фамильный хронометр с бриллиантовым брелком...

– Го-го-го! – добродушно захохотал почтальон. – Если не жалко, то что же, я, по совести, не откажусь.

И Цвет сам выпучил глаза от изумления, когда с трудом вытащил на свет божий огромный, старинный, прекрасный золотой хронометр, работы отличного английского мастера Нортон. Случайно притиснутая материей пружинка сообщилась с боем, и часы мелодично принялись отзванивать двенадцать. К часам был на тонкой золотой цепочке-ленточке прикреплен черный эмалевый перстенок с небольшим бриллиантом, засверкавшим на солнце, как чистейшая капля росы.

– Извините... такая дорогая вещь, – пролепетал смущенный почтальон. – Мне, право, известно.

Но удивление уже покинуло Цвета. «Вероятно, по рассеянности захватил дядины. Все равно, пустяки», подумал он небрежно и сказал с великолепным по своей простоте жестом:

– Возьмите, возьмите, друг мой. Я буду рад, если эта безделушка доставит вам удовольствие.

VII

Пришло время проститься. Рыжему почтальону надой было бежать за своей кожаной сумкой с корреспонденцией. Молодые люди еще раз крепко пожали друг другу руки, поглядели друг другу в глаза и почему-то внезапно поцеловались.

– Чудесный вы человечина, – сказал растроганный Цвет. – От души желаю вам стать как можно скорее почтмейстером, а там и жениться на красивой, богатой и любезной особе.

Почтальон махнул рукой с видом веселого отчаяния.

– Эх, где уж нам, дуракам, чай пить. Первое ваше пожелание, если и сбудется, то разве лет через пять. Да и то надо, чтобы слетел или умер кто-нибудь из начальников в округе, ну, а я зла никому не желаю. А второе, – увы мне, чадо мое! – так же для меня невероятно, как сделаться китайским богдыханом. Вам-то я, дорогой господин Цвет, конечно, признаюсь с полным доверием. Есть тут одна... в Старо дубе... звать Клавдушкой... Поразила она меня в самое сердце. На Рождестве я танцевал с ней и даже успел объясниться. Но – куда! Отец – лесопромышленник,

богатеющий человек. Одними деньгами дает за Клавдушкой приданого три тысячи, не считая того, что вещами. Что я ей за партия? Однако мое объяснение приняла благосклонно. Сказала: «Потерпите, может быть, и удастся повлиять на папашу. Подождите, сказала, я вас извещу». Но вот и апрель кончается... Понятное дело, забыла. Девичья память коротка. Эх, завей горе веревочкой. Однако пожелаю счастливого пути... Всего вам наилучшего... Бегу, бегу.

Иван Степанович вошел в вагон. Окно в купе было закрыто. Опуская его, Цвет заметил как раз напротив себя, в открытом окне стоявшего встречного поезда, в трех шагах расстояния, очаровательную женскую фигуру. Темный фон сзади нее мягко и рельефно, как на картинке, выделял нарядную весеннюю белую шляпку, с розовыми цветами, светло-серое шелковое пальто, розовое, цветущее, нежное, прелестное лицо и огромный букет свежей, едва распустившейся, только этим утром сорванной сирени, который женщина держала обеими руками.

«Как хороша! – подумал Цвет, не сводя с нее восторженных глаз. – Сколько нежности, чистоты, ума, доброты, изящества. Нигде в целом свете нет подобной ей! Есть много красавиц, но она – единственная, ни на кого не похожая, неповторяемая. Ах, она улыбается!»;

Правда. Она улыбалась, но только чуть-чуть, одними глазами, и в этой тонкой улыбке было и невинное кокетство, и ласка, и радость своему здоровью и весеннему дню, и молодое проказливое веселье. Она погрузила нос, губы и подбородок в гроздь цветов, время от времени, будто мимоходом, соединяла свои темные, живые глаза с восхищенными глазами Ивана Степановича.

Но вот поезд Цвета медленно поплыл вправо. Однако через секунду стало ясно, что это только мираж, столь обычный на железных дорогах: шел поезд красавицы, а его поезд еще не двигался. «Хоть бы один цветок мне!»; – мысленно воскликнул Цвет. И тотчас же прекрасная женщина с необыкновенной быстротой и с поразительной ловкостью бросила прямо в открытое окно Цвета букет. Он умудрился поймать его и еще поспел, высунувшись в окно, несколько раз картинно прижать его к губам. Но красавица, рассмеявшись так весело, что ее зубы засверкали в блеске весеннего полудня, наклонила голову в знак прощания и быстро скрылась в окне. А там ее вагон запестрел, помутнел, слился в линии других вагонов и исчез. Тронулся и вагон Цвета. В ту же секунду загремела отодвигаемая дверь. В купе ворвался все тот же почтальон, Василий Васильевич. Шапка у него слезла совсем на затылок, рыжие кудри горели пожаром, лицо было красно и сияло блаженством. В сильном возбуждении принялся он тискать руки Ивана Степановича.

– Дорогой мой... если бы вы знали... Что? Поезд идет? Э, наплевать на корреспондентов. Попили моего пота... Подождут один день... Провожу вас до первой станции... Такой день никогда не повторится... Если бы вы знали!.. Да нет, вы воистину маг, волшебник, чародей и прорицатель. Вы, точно как в старых сказках, какой-то чудесный добрый колдун...

– Милый Василий Васильевич, пожалуйста, выскажитесь толком. Ничего не понимаю.

– Да как же! Послушайте только! Прощаясь, вы мне говорили: желаю вам сделаться начальником почтового отделения. Так? Помните?

– Помню.

– И дальше. Желаю вам успеха у одной прекрасной барышни, которая, и так далее... Верно?

– Ну да.

– И вот, представьте себе... как по щучьему велению!.. Принимаю мешок, а он уж старый и тухлый и вдруг расползся. Целая гора писем вылезла наружу. Я их подбираю. И вдруг вижу сразу два, и оба мне. Поглядите, поглядите только.

Он совал в руки Цвета два конверта. Один – казенный, большой, серьга, другой – маленький, фиолетовый, с милыми каракулями. Цвет заметил деликатно:

– Может быть, в этих письмах что-нибудь такое... что мне неудобно знать?..

– Вам? Вам? Вам все дозволено! Вы – мой благодетель. Смотрите! Читайте!

Цвет прочитал. Первый пакет – был от округа. В нем разъездной почтальон Василий Васильевич Модестов действительно назначался исполняющим должность начальника почтово-телеграфного отделения в местечко Сабурово, в заместители тяжело заболевшего почтмейстера. А в фиолетовом письме, на зеленой бумаге, с двумя целующимися паленными голубыми голубками на первой странице, в левом верхнем углу, было старательно выведено полудетским, катящимся вниз почерком пять строк без обращения, продиктованных бесхитростной надеждой и наивным ободрением, а кстати, с тридцатью грамматическими ошибками.

– И прекрасно, – сказал ласково Цвет, возвращая письма. – Сердечно рад за вас.

– И я безмерно счастлив! – ликовав почтальон. – Эх, теперь бы на радостях дернуть какого-нибудь кагорцу. Угостил бы я охотно милого друга-приятеля на последнюю пятерку. Господин волшебник, как бы нам соорудить?

– Что же. И я бы не прочь, – отозвался Цвет. И в тот же миг в дверь постучались. Появился в синей куртке с золотыми пуговицами официант с карточкой в руке.

– Завтракать будете?

– Вот что, – уверенно ответил Цвет. – Завтракать мы, конечно, будем. А пока подайте-ка нам... – Он задумался, но всего лишь на секунду. – Подайте нам сюда бутылку шампанского и на закуску икры получше и маринованных грибов.

– Слушаю-с, – ответил почтительно, с едва лишь уловимым оттенком насмешки официант и скрылся.

– Я вам говорил, что вы кудесник, – обрадовался почтальон. – Если вы захотите сейчас музыку, то будет и музыка. Прикажите, пожалуйста. Ведь каждое ваше желание исполняется.

Цвет вдруг побледнел. Сердце его сжалось от какого-то томительного тайного страха.

И он произнес слабым, дрожащим голосом:

– Хорошо. Пусть будет музыка.

Сладкий гитарный ритурнель послышался в коридоре. Два горловых, сиплых, но очень приятных и верных голоса, мужской и женский, запели итальянскую песенку: «O sole mio...»⁸. Модестов выглянул из купе.

– Бродячие музыканты! – доложил он, – Ну, однако, вам и везет. Прямо волшебство.

Цвет не ответил ему. Он вдруг в каком-то озарении, с ужасом вспомнил весь нынешний день, с самого утра. Правду сказал почтальон – всякое его желание исполнялось почти мгновенно. Проснувшись, он захотел чаю – сторож принес чай. Он подумал – и то мимолетно, – что хорошо бы было развязаться с усадьбой, – получилась телеграмма от Тоффеля. Захотел ехать – Василий Васильевич предложил повозку и лошадей. Шутя сказал: «Дарю хронометр» – и вынул из кармана неизвестно чьи, дорогие, старинные золотые часы. Влюбившись мгновенно в красавицу из вагонного окна, захотел получить цветок из ее букета – и получил так мило и неожиданно весь букет, с воздушным поцелуем и обольстительной улыбкой в придачу. Случайно, из простой любезности, посулил Василию Васильевичу повышение по службе и желанную свадьбу, и судьба уже потворствует его капризу. И сейчас, в вагоне, два пустячных случая подряд... Что-то нехорошее заключено в этой послушной торопливости случая... И главное – самое главное и самое тяжелое – то, что все эти явления так неизбежно, столь легко и так просто зависят от какой-то новой стороны в душе самого Цвета, что в них даже нет ничего удивительного.

Цвет сразу заскучал, омрачнел и как бы ожесточел сердцем. Теплое шампанское с икрой показалось ему противным. А в вагоне-ресторане ему неожиданно надоел рыжий почтальон: показался вдруг чересчур размякшим, болтливым, приторным и фамильярным. В этот момент они ели рыбу. Василий Васильевич, пронзив ножом добрый кусок судачьего филея, уже подносил его к открытому рту, когда Цвет лениво подумал про себя: «А убрался бы ты куда-нибудь к черту». Модестов, быстро лязгнув зубами, закрыл рот, положил нож с рыбой на тарелку, позеленел в лице, покорно встал, сказал: «Извините, я на секунду»; – и вышел из вагона. И уже больше совсем не возвращался. Заснул ли он где-нибудь в служебном отделении или сорвался с поезда – этого Цвет никогда не узнал. Да, по правде сказать, никогда и не заинтересовался этим.

Вернувшись после завтрака к себе в вагон, он еще несколько раз пробовал проверить свою новую, исключительную, таинственную способность повелевать случаем. Однажды ему показалось, что поезд слишком медленно тащится на подъем. «А ну-ка, пошибче!»; – приказал Цвет. Вероятно, как раз в этот момент поезд уже преодолел гору, но вышло так, что, будто подчиняясь повелению, он сразу застучал колесами, засуетился и поддал ходу. «И еще! И еще! А ну-ка еще!»; – продолжал погонять его Цвет. Вскоре телеграфные столбы замелькали в окне со скоростью сначала трех, потом двух, потом полутора секунд; вагоны, как пьяные, зашатались с бока на бок и, казалось, стремились перескочить с разбега друг через друга, точно в чехарде; задрезжали стекла, завизжали стяжки, загрохотали буфера. В коридоре и в соседних купе послы-

⁸ О единственный мой...

шались тревожные голоса мужчин и крики женщин. Сам Цвет перепугался. «Нет, уж это слишком, – подумал он. – Так легко и голову сломать. Потише, пожалуйста».

«Слу-ша-ю-у-у!» – загудел в ответ ему длинно и успокоительно паровоз, и поезд, отдуваясь, как разбежавшийся великан, стал умерять ход. «Вот так, – похвалил Цвет, – это мне больше нравится».

Немного времени спустя проводник, пришедший убрать в купе, объяснил причину, по которой поезд показал такую бешеную прыть. У паровоза, перевалившего через подъем, что-то испортилось в воздушном тормозе и одновременно случилось какое-то несчастье не то с сифоном, не то с регулятором. (Цвет не понял хорошенько.) Кондукторы из-за ветра не услышали сигнала «тормозить». А тут начинался как раз крутой и длинный уклон. Поезд и покатился на всех парах вниз, развивая скорость до предельной, до ста двадцати верст, и был не в силах ее уменьшить до следующего подъема. Только там поездная прислуга спохватилась и затормозила... «Как все просто», – подумал Цвет... Но в этой мысли была печальная покорность. В другой раз поезд проезжал совсем близко мимо строящейся церкви. На куполе ее колокольни, около самого креста, копошился, делая какую-то работу, человек, казавшийся снизу черным, маленьким червяком. «А что, если упадет?» – мелькнуло в голове у Цвета, и он почувствовал противный холод под ложечкой. И тогда же он ясно увидел, что человек внезапно потерял опору и начинает беспомощно скользить вниз по выгнутому блестящему боку купола, судорожно цепляясь за гладкий металл. Еще момент – и он сорвется.

«Не надо, не надо! – громко закричал Цвет и в ужасе закрыл руками лицо. Но, тотчас же открыв их, вздохнул с радостным облегчением. Рабочий успел за что-то зацепиться, и теперь видно было, как он, лежа на куполе, держался обеими руками за веревку, идущую от основания креста».

Поезд промчался дальше, и церковь скрылась за поворотом. «Неужели я хотел видеть, как он убьется?» – спросил сам себя Цвет. И не мог ответить на этот жуткий вопрос. Нет, конечно, он не желал смерти или увечья этому незнакомому бедняку. Но где-то в самом низу души, на ужасной черной глубине, под слоями одновременных мыслей, чувств и желаний, ясных, полуясных и почти бессознательных, все-таки пронеслась какая-то тень, похожая на гнусное любопытство. И тогда же, впервые, Цвет со стыдом и страхом подумал о том, какое кровавое безумие охватило бы весь мир, если бы все человеческие желания обладали способностью мгновенно исполняться.

На одной из станций Цвет приказал ветру сдуть панаму с головы важного барина, прогуливавшегося с надменным видом индейского петуха на платформе, и потом с равнодушным вниманием следил, как этот толстяк козлом прыгал вслед за убегающей шляпой, между тем как полы его пиджака развевались и заворачивались вверх, обнаруживая жирный зад и подтяжки.

За обедом какой-то крупный железнодорожный чин с генеральскими погонами, человек желчный и властный, стал безобразно, на весь вагон, орать на прислуживавшего ему лакея за то, что тот подал ему солянку не из осетрины, а из севрюжины. Эта сцена произвела удручающее и тоскливое впечатление на всех. Особенно противно было то, что во время грубого выговора генерал не переставал есть, мешая крик с чавканьем.

«А, чтоб ты заткнулся!» – досадливо подумал Цвет. И мгновенно начальник откинулся на спинку стула с раскрытым ртом, из которого вырывались хриплые стоны. Лицо его посинело, и вылезшие глаза налились кровью. Казалось, он вот-вот задохнется. «Ах, нет, нет, пускай благополучно!» – торопливо велел Цвет. Только что обиженный лакей быстро, ловко и звучно шлепнул несчастного по шее. Он, как пьющая курица, вытянул шею вверх, глотнул, перевел дух и обернулся вокруг с изумленным, радостным видом. Кровь сразу отхлынула от его лица.

– Иди, и чтобы это в последний раз! – сказал он, еще чуть-чуть давясь, грозно, но великодушно... – А то...

«Опять и опять, – подумал без удивления Цвет. – И так это просто. Очевидно, я попал в какую-то нелепо длинную серию случаев, которые сходятся с моими желаниями. Я читал где-то, что в Петербурге однажды проходил мимо какой-то стройки дьякон. Упал сверху кирпич и разбил ему голову. На другой день мимо того же дома в тот же час проходил другой дьякон, и опять упал кирпич, и опять на голову. Я читал еще в смеси об одном счастливом игроке в рулетку, который семь раз подряд поставил на «О»; и семь раз выиграл. Но, при бесконечности времени и случаев, может выйти и та очередь, что другой игрок выиграет на ноль сто, тысячу раз кряду. Я

слыхал про людей, которые попадали в один день дважды на железнодорожные катастрофы и еще один на пароходное крушение. Есть счастливицы, никогда не знающие проигрыша в карты... Они говорят – полоса. Так и я попал в какую-то полосу».

У себя в купе, оставшись один, он попробовал сознательно экзаменовать эту полосу. Ему хотелось пить. Он сказал вполголоса: «Пусть сейчас, в апреле месяце, на столике очутится арбуз!»

Но арбуз не появился. Это даже немного обрадовало Цвета.

«Это хорошо, – решил он. – Значит, нет никакого чуда. Все объясняется просто. Попробуем дальше. Вот напротив меня на диване лежит букет сирени. Вверх из него торчит раздвоенная веточка. Пусть она отломится и по воздуху перенесется ко мне». Вагон сильно качнуло на повороте. Букет упал на пол. Когда Цвет поднял его, на полу осталась лежать одна ветка, но она была не двойная, а тройная. «Неудовлетворительно, – насмешливо сказал Цвет. – Три с минусом. Ну, еще один раз. Хочу, во-первых, чтобы сию минуту зажегся свет. А во-вторых, хочу во что бы то ни стало духов «Ландыш».

В ту же минуту вошел проводник со свечкой на длинном шесте. Он зажег газ в круглом стеклянном фонаре и потом сказал с неловкой, но добродушной улыбкой:

– Вот, барин, не угодно ли вам... Убирал утром вагон и нашел пузырек. Дамы какие-то оставили. Кажется, что вроде духов. Нам без надобности. Может, вам сгодятся?

– Дайте.

Цвет поглядел на зеленую с золотом этикетку хрустального флакона и прочел вслух, читая как по-латыни:

«Мугует, Пинауд, Парис». Осторожно вскрыл тонкую перепонку, обтягивавшую стеклянную пробку. Понюхал. Очень ясно и тонко запахло ландышем.

«Вот это случай – так случай, – снисходительно одобрил Цвет судьбу или что другое, неведомое. – Но – баста, довольно, не хочу больше, надоело. Теперь бы какую-нибудь книжку поглупее и спать, спать, спать. Спать без снов и всякой прочей ерунды. К черту колдовство. Еще с ума спятишь».

– А нет ли у вас, проводник, случайно какой-нибудь книжицы? – спросил он. Проводник помялся.

– Есть, да вы, пожалуй, читать не станете. Похождения знаменитого мазурика Рокамболя. А то я дам с удовольствием.

– Тогда тащите вашего мазурика и стелите постель. Он с удовольствием улегся в свежие простыни, но едва только пробежал глазами первые строки двенадцатой главы одиннадцатой части пятнадцатого тома этого замечательного романа, как сон мягко и сладко задурманил ему голову. Последней искрой сознания пронеслось в его памяти темное вагонное окно, и в нем под белой шляпкой розовое нежное лицо, темные, живые глаза и белизна зубов, сверкающих в лукавой и милой улыбке. «Хочу завтра ее видеть», – шепнул засыпающий Цвет.

VIII

Первое, что он увидел, проснувшись поздно утром, был сидевший против него на диване с газетой в руке Мефодий Исаевич Тоффель.

– Доброго утра, мой distinguished клиент, – приветствовал Цвета ходатай. – Как изволили почивать? Я нарочно не хотел вас будить. Уж очень сладко вы спали: «Где-то я его видел, – подумал Цвет. – И раньше, еще! до первого знакомства, и вот теперь, совсем, совсем недавно. И какая неприятная рука при пожатии, жесткая и сухая, точно копыто. И от него пахнет серой. И лицо ужасно нечеловеческое!»;

– Как вы попали в поезд, Мефодий Исаевич?

– Да специально выехал за три станции вам навстречу. Соскучился без вас, черт побери! И дел у меня к вам целая куча. Однако идите, умывайтесь скорее. Всего полчаса осталось. Я без вас чайком распоряжусь. Умываясь, Цвет долго не мог побороть в себе каких-то странных чувств: раздражения, досады и прежнего, знакомого, неясного предчувствия беды. «Что за вязкая предупредительность у этого загадочного человека, – размышлял он. – Вот сошлись линии наших жизней и не расходятся... Да что это? Неужели я его боюсь? – Цвет поглядел на себя в зеркало и сделал гордое лицо. – Ничуть не бывало. Но буду все-таки с ним любезным.

Как-никак, а ему я многим обязан. Поэтому не кисните, мой милый господин Цвет, – обратился он к своему изображению в зеркале. – Мир велик, жизнь прекрасна, умыванье освежает, а вы, если и не патентованный красавец, однако получше черта,

вы молоды и здоровы, и никому зла не желаете, и все будущее пред вами. Идите пить чай».

В коридоре, лицом к открытому окну, стояла стройная дама в светло-серой длинной шелковой кофточке и белой шляпе. Она обернулась к Цвету. Он остановился в радостном смущении. Перед ним была вчерашняя дама, бросившая ему в вагон цветы. Он видел, как алый здоровый румянец окрасил ее прекрасное лицо и как ветер подхватил и быстро завертел тонкую прядь волос над ее виском. Несколько секунд оба глядели друг на друга, не находя слов. Первая заговорила дама, и какой у нее был гибкий, теплый, совсем особенный голос, льющийся прямо в сердце!

– Я должна попросить у вас прощения... Вчера я позволила себе... такую необузданную... мальчишескую выходку...

«Смелее, Иван Степанович, – приказал себе Цвет. – Забудь всегдашнюю неуклюжесть, будь любезен, находчив, изыщен».

– О, прошу вас, только не извиняйтесь... Виноват во всем я. Я глядел на ваши цветы и думал: если бы мне хоть веточку! А вы были так щедры, что подарили целый букет.

– Представьте, и я думала, что вы этого хотите. У меня вышло как-то невольно...

– Позвольте от души поблагодарить вас... Весна, солнечный день, и первая сирень из ваших рук... Я ваш вечный должник.

– Воображаю, как вы испугались... Наверно, сочли меня за бежавшую из сумасшедшего дома.

– Ничуть. Это был такой милый, красивый и... царственный жест. Я сохранию букет навсегда, как память о мгновенной, но чудной встрече. Кстати, я все-таки не соображаю, каким образом вы попали в этот поезд? Ведь вы уезжали со встречным... Дама весело рассмеялась.

– Ах, я сделала невероятную глупость. Вообразите, я села в Горынищах совсем не в мой поезд. Как только прозвонил третий звонок, я спрашиваю какого-то старичка что был рядом: «Скоро ли мы проедем через Курск? А он говорит: «Вы, сударыня, собираетесь ехать в противоположную сторону, вот ваш поезд». Тогда я мигом схватила свой сак, выбежала на площадку и на ходу прыг... И села сюда... И вот утром вы... Если бы вы знали, как я сконфузилась, когда вас увидела.

– Но какая неосторожность... выскакивать на ходу Мало ли что могло случиться?

– Э! Я ловкая... и потом, что суждено, то суждено...

– А знаете ли, – серьезно сказал Цвет, – ведь я вчера вечером, ложась спать, думал, что утром непременно увижу вас. Не странно ли это?

– Этому позвольте не поверить... Во всяком случае наше мимолетное знакомство, хотя и смешное, но не из обычных...

– А потому, – раздался сбоку голос Тоффеля, – позвольте вас представить друг другу.

По лицу красавицы пробежала едва заметная гримаска неудовольствия.

– Ах, это вы, Мефодий Исаевич... Вот неожиданность. Тоффель церемонно назвал Цвета. Потом сказал:

– Mademoiselle Локтева, Варвара Николаевна...

– А это всезнающий и вездесущий monsieur Тоффель, – ответила она и крепко, тепло, по-мужски пожала руку Цвета.

– Идемте к нам чай пить, – предложил Тоффель, – у нас сейчас уберут. Варвара Николаевна от чаю отказалась, но зашла в купе. Когда садилась, поглядела на букет и сейчас ж встрети-лась глазами с Цветом. Ласковый и смешливый огонек блеснул в ее внимательном взгляде. И оба они, точно по взаимному безмолвному уговору, ни слова не проговорили о вчерашней оригинальной встрече.

Тоффель стал вязать крепче их знакомство с уверенностью и развязностью много видевшего, ловкого дельца. Он рассказал, что Варвара Николаевна единственная дочь известного мукомола, филантропа и покровителя искусств. Кончила год тому назад гимназию, но на высшие курсы не стремится, хотя это теперь так в моде. Живет по-американски, совершенно самостоятельно, выбирает по вкусу свои знакомства и принимает кого хочет, независимо от круга знакомых отца. Всегда здорова и весела, точно рыбка в воде или птичка на ветке. Отец ею не нахва-

лится как помощницей. На ногу себе никому наступить не позволит, но ангельская доброта и отзывчивость к человеческому горю. Прекрасная наездница, великолепно стреляет из пистолета, музыкантша, замечательная энженю-комик⁹ на любительских спектаклях и так далее и так далее.

Что касается Цвета, то это блестящий молодой человек, решивший променять узкую бюрократическую карьеру на сельскохозяйственную и земскую деятельность. Ездил в Черниговщину осматривать имения, доставшиеся по завещанию. Обладает выдающимся голосом, *tenor di grazia*¹⁰. Немного художник и поэт... Душа общества... Увлекается прикладной математикой, а также оккультными науками. Тоффелю кажется удивительным, как это двое таких интересных молодых людей, живя давно в одном и том же маленьком городе, ни разу не встретились.

Все это походило на какое-то навязчивое сватовство. Цвет кусал губы и ерзал на месте, когда Тоффель, говоря о нем, развязно переплетал истину с выдумкой, и боялся взглянуть на Локтеву. Но она сказала с дружелюбной простотой:

– Я очень рада нашему знакомству, Иван Степанович, и надеюсь вас видеть у себя... У вас есть записная книжка? Запишите: Озерная улица... Не знаете? Это на Окраине, в Каменной слободке, – дом Локтева, номер пятнадцатый, такая-то, по четвергам, около пяти. Загляните, когда будет время и желание. Мне будет приятно.

Цвет раскланялся. Он все-таки заметил, что Тоффеля она не пригласила, и подумал: «У нее, должно быть, как и у меня, не лежит сердце к этому человеку с пустыми глазами».

Приехали на вокзал. Тесное пожатие руки, нежный, светлый и добрый взгляд, и вот белая шляпка с розовыми цветами исчезла в толпе.

– Хороша? – спросил, прищуря один глаз, Тоффель. – Вот это так настоящая невеста... И собой красавица, и образованна, и мила, и богата...

– Будет! – оборвал его грубо, совсем неожиданной для себя, Иван Степанович. Тоффель покорно замолчал. Он нес саквояж, и Цвет видел это, но даже не побеспокоился сделать вид, что это его стесняет. Так почему-то это и должно было быть, но почему – Цвет и сам не знал, да и в голову ему не приходило об этом думать. На подъезде он сказал небрежно:

– Надо бы автомобиль.

– Сейчас, – услужливо поддакнул Тоффель. – Мотор! В Европейскую.

Дорогой Тоффель заговорил о делах. Пусть Цвет на него не сердится за то, что он без его разрешения продавал усадьбу. Подвернулось такое верное и блестящее дело на бирже, какие попадаются раз в столетие, и было бы стыдно от него отказаться. Тоффель рискнул всей вырученной суммой и в два дня удвоил ее. Впрочем, и риску здесь было один на десять тысяч. Затем он, Тоффель, нашел что чердачная комната теперь вовсе не к лицу человеку с таким солидным удельным весом, как Цвет. Поэтому он взял на себя смелость перевезти самые необходимые вещи своего дорогого клиента в самую лучшую гостиницу города. Это, конечно, только пока. Завтра же можно присмотреть уютную хорошую квартирку в четыре-пять комнат, изящно обставить ее, купить ковры, цветы, картины, всякие безделушки и создать очаровательное гнездышко. У Тоффеля на этот счет удивительно тонкий вкус и умение покупать дешево «настоящие»; вещи. Сегодня они вместе поедут к единственному в городе порядочному портному. Но если уж одеваться совсем хороший и с большим шиком, то для этого необходимо съездить в Англию. Только в Лондоне надо заказывать мужчинам белье и костюмы, галстуки же и шляпы – в Париже. Но это потом. Теперь надо заключить прочные и веские знакомства в высшем обществе. А там Петербург, Лондон, Париж, Биарриц, Ницца... Словом, мы завоюем весь мир!..

Он болтал, а Цвет слушал его с небрежным, снисходительно-рассеянным видом, изредка коротко соглашаясь с ним ленивым кивком головы. Так почему-то надо было, и это понималось одинаково и Цветом и Тоффелем.

Но час спустя Тоффель сильно удивил, озадачил и обеспокоил Ивана Степановича. Они кончали тонкий и дорогой завтрак в кабинете гостиничного ресторана. Тоффель велел подать

⁹ Комическая простушка — театральное амплуа (от фр. *ingénu comique*).

¹⁰ Лирический тенор (итал.)

кофе и ликеров и сказал лакею:

– Больше нам пока ничего не надо, Клементий. Если понадобится, я позвоню.

Когда тот ушел, Тоффель плотнее затворил за ним дверь и даже прикрыл дверные драпри. Потом он вернулся к столу, сел против Цвета коленями на стул, согнулся над столом, почти лег на него и подпер голову ладонями. Взгляд его, тяжело и неподвижно устремленный на Цвета, был необычайно странен. В нем была горячая воля, властное приказание, униженная просьба и скрытая зловещая угроза – все вместе. Несколько секунд никто не произнес ни слова. Тоффель часто дышал, раздувая широкие ноздри горбатого носа. Наконец он вымолвил хриплым и слабым голосом:

– А слово?.. Вы узнали слово?..

– Не понимаю, – тихо ответил Цвет и невольно подался телом назад под давящей силой, исходившей из глаз Тоффеля. – Какое слово?

Взгляд Тоффеля стал еще пристальнее, цепче и страстнее. Пот выступил у него на висках. От переноса вверх вспухли две расходящиеся жилы. В зрачках загорались густые темно-фиолетовые огни.

«Там... в усадьбе... книга... формулы... Красный переплет... Мефистофель...»; – забродило в голове у Цвета. Тоффель же продолжал настойчиво шептать:

– Заклинаю вас, назовите слово... Только слово, и я ваш слуга, ваш раб всю жизнь...

У Цвета похолодело лицо и высохли губы. Что-то, разбуженное волей Тоффеля, бесформенно и мутно колебалось в его памяти, подобно тому неуловимому следу, тому тонкому ощущению только что виденного сна, которые скользят в голове проснувшегося человека и не даются схватить себя, не хотят вылиться в понятные образы.

– Не знаю... не могу... не умею...

Тоффель как-то мягко, бесшумно свернулся со стула, опустился на пол и на четвереньках, по-собачьи, подполз к Цвету и, схватив его руки, стал покрывать их колючими поцелуями.

– Слово, слово, слово... – лепетал он. – Вспомните, вспомните слово!

Цвет зажмурил на секунду глаза. Потом пристально поглядел на Тоффеля.

– Оставьте, не надо этого, – сказал он резко... – Слышите ли – я не хочу!

Тоффель поднялся и спиной к Цвету, шатаясь, прошел до угла кабинета. Там он постоял неподвижно секунды с две. Когда же он обернулся, лицо его было искажено дьявольской гримасой смеха.

– К черту! – воскликнул он, щелкнув перед собою кругообразно пальцами. – К черту-с. Я пьян, как форте-пьян. Забудьте мой бред – и к черту! Прошу извинения. Но еще... только одна, самая пустячная просьба, которую вам ничего не стоит исполнить.

– Хорошо. Говорите, – согласился Цвет.

Тоффель сунул руку в карман и вытащил ее сжатой в кулак.

– Что у меня в руке?

Цвет с улыбкой ответил уверенно:

– Маленькая золотая монета.

– Что на ней изображено?

– Подождите... сейчас. Женская голова в профиль, повернута вправо от зрителя... Голая шея... Злое сухое лицо. Тонкие губы, выдающийся подбородок, острый нос. Крупные локоны, в них маленькая корона на самом верху прически...

– Гм... да, – произнес Тоффель угрюмо. – Угадали. Полуимпериял Анны Иоанновны, тысяча семьсот тридцать девятого года. Верно. Хотите, выпьем еще шампанского?

IX

Именно с этого же дня начались блестящие успехи Цвета в большом обществе. Полоса удачи, о которой он думал и которую пытал, едучи в вагоне, развертывалась перед ним, как многоцветный восточный ковер, и Цвет попираал ногами его роскошную ткань с привычным равнодушием владыки.

В короткое время Иван Степанович стал пышной сказкой города. Живая бегучая молва увеличила размеры его наследства до сотен тысяч десятин и до десятков миллионов рублей. За ним ходили, разинув рот, любопытные, его показывали приезжим, как восьмое чудо света, о его

эксцентричностях, о его щедрости и счастии чуть не ежедневно писали в газетах. Нечего и говорить о том, что вокруг него сразу, сама собой, образовалась шумная свита друзей, знакомых, прихлебателей, попрошайек, болтунов и увеселителей. И Цвет, вовсе не потеряв в душе присущих ему доброты и скромности, очень быстро научился тяжкому искусству владеть людьми. Ему иногда достаточно бывало медленно, вскользь, поглядеть в глаза зазнавшемуся наглецу или назойливому вымогателю и только слегка подумать: «Не хочу тебя больше видеть!» – как тот мгновенно отодвигался куда-то на задний план, бледнел, линял и навсегда, безвозвратно растворялся, исчезал в пространстве.

Один Тоффель упорно возвращался к нему, хотя Цвет очень нередко мысленным приказом прогонял его. Бывало это в те минуты, когда, внезапно обернувшись, Иван Степанович вдруг ловил на себе взгляд ходатая – жадный, умоляющий, гипнотизирующий. «Слово! Назови слово!»; – кричали жалкие и грозные, пустые глаза. Цвет внутренне произносил: «Уйди!»; – и Тоффель весь поникал и удалялся, позорно напоминая умную, нервную, старую собаку, которая после окрика приседает на все четыре лапы, горбит спину, прячет хвост под живот и ползет прочь, оглядываясь назад обиженным, виноватым глазом.

Но через день, через час он опять, как ни в чем не бывало, являлся перед Цветом с известием о колоссальной победе на бирже, с портфелем, битком набитым пачками свежих, только что отпечатанных хрустящих ассигнаций, с модным пикантным анекдотом, с предложением шикарного или лестного знакомства, с целым выбором новых развлечений.

Он как будто бы беспрестанно стерег Цвета, подобно няньке, ревливой жене или усердному сыщику. Если бы он мог, он, кажется, подслушивал бы: не пробредит ли Цвет что-нибудь во сне. Может быть, он даже и в самом деле подслушивал, хотя Цвет, прежде чем лечь в постель, всегда собственноручно запирает на ключ все двери в квартире.

Каждое желание Ивана Степановича исполнялось почти моментально, точно ему в самом деле послушно служили чьи-то невидимые, ловкие руки и неслышные, быстрые ноги. Но чудо здесь отсутствовало. Было только вечное, непрережающееся и совсем простое совпадение мыслей и событий.

Многие из наиболее фантастических капризов Цвета осуществлялись при помощи самых простых средств. Так, иногда, сидя один в своем роскошном кабинете на стуле, он говорил мысленно: «Хочу вместе со стулом подняться на воздух!»; И правда, стул слегка скрипел под ним, точно стараясь отодраться от пола, однако великий закон тяготения оставался ненарушимым. Но однажды утром Цвет загляделся в окно на летающих высоко в небе голубей и позавидовал их легким прекрасным движениям. «Ах, если бы человеку испытать что-нибудь подобное!»; – подумал он искренно и совершенно бесцельно. Когда же он отвернулся от окна, то его первый рассеянный взгляд упал на газету, где на первой странице крупным шрифтом стояло объявление о нынешнем авиационном дне. И в тот же вечер за сумасшедшую плату Цвет взгромоздился сзади пилота на тяжелый неуклюжий «фарман» № 4 и сделал два круга над полем, пережив в продолжение десяти минут одно из самых чистых, упоительных и гордых ощущений, какие только доступны человеку в его грузной земной жизни.

Несколько раз, глядя на стоящий перед ним стакан с водой, он настойчиво шептал: «Пусть вода закипит!»; Она оставалась прозрачной и холодной. Но каждый раз, по его желанию, очень скоро переставал дождь, шедший упорно с утра. Когда угодно, он по своему желанию мог услышать музыку или аромат цветов, неизвестно откуда доносившийся. Но однажды среди ночи в парке ему захотелось лунного освещения, и у него ничего не вышло, потому что в эту ночь месяц скрыл свою последнюю узенькую полосу.

Он никогда не мог заставить воспламениться самопроизвольно свечу или спичку. Но в один вечерний час, по его случайной прихоти, в городе мгновенно погасли все электрические лампы и остановились все трамваи, вследствие, как потом оказалось, какой-то путаницы в проводах.

Что же касается жизненных человеческих событий, то они слепо повиновались Цвету, и только его сердечная доброта и бессознательная скромность удерживали его на грани смешного, позорного и преступного. Впрочем, о его безумных удачах рассказывали с восторгом в городском «свете».

В один прелестный, сияющий весенний полдень он и Тоффель поехали на скачки. Они попали как раз к розыгрышу главного приза. Всезнающий Тоффель провел Цвета в членскую три-

буну и мигом перезнакомил его со всеми спортсменами и владельцами скаковых конюшен...

Когда по звонку лошадей одну за другой – их всех было одиннадцать – выводили на круг, Цвет стоял у самого барьера, рядом с высоким грузным бритым господином в широком пальто, который, с видом внешнего безучастия, курил сигару, но все время нервно ее покусывал. Цвет мельком слышал его фамилию, но не разобрал, как это всегда бывает при быстрых, случайных знакомствах. Этот человек, лениво скосив глаза сверху вниз на Цвета, спросил:

– На кого ставите?

– Сию минуту, – ответил вежливо Цвет, – я только соображу.

Сзади, в публике, называли лошадей по именам и взвешивали их шансы. Судьба первого и второго приза ни в ком не возбуждала сомнения. Первым должен был прийти сухой, с птичьим лицом англичанин в черном камзоле с белыми рукавами, вторым – негр, весь в красном, скаливший белые зубы и сверкавший огромными белками на зрителей. На них двоих и велась вся игра в тотализаторе. На третье место ждали еще двух лошадей, но ими мало интересовались.

Дойдя шагом до известной черты, жокеи повернули лошадей и поочередно, в порядке афишных номеров, сдержанным галопом проскакали перед публикой, показывая ей своих нервных, худых, высоких, породистых лошадей во всей красоте их форм и легкости движений. Сами жокеи сидели, слегка согнувшись, небрежно и красиво в седлах, на коротких стремянах, с остро согнутыми в коленях ногами. На их бритых остроносых лицах, иссушенных работой, темных от загара, резко обрисовывались под морщинистой кожей все выпуклости и впадины черепов. После всех других лошадей прошла со значительным промежутком и в большом беспорядке прелестная по формам, не особенно высокая, золотисто-рыжая кобыла под жокеем в голубом камзоле с белыми звездами. Она горячилась и не хотела слушаться всадника. Уши ее нервно двигались, обращаясь то к жокею, то вперед, шерсть уже теперь лоснилась потом, с удил падала пена, и в больших выпуклых, черных, без белка, глазах острыми огоньками блестел солнечный свет. С галопа она срывалась на рысь, танцевала на месте, прыгала боком и старалась резкими движениями красивой сухой головы вырвать поводья.

– А вот на эту... рыженькую, – сказал наивно Цвет. – Она придет первой. Сзади засмеялись. Кто-то заметил насмешливо, но вполголоса:

– Верно, как в государственном банке.

Сосед Ивана Степановича поднял кверху темные, черные брови, отставил от себя двумя пальцами на далекое расстояние сигару, слегка свистнул и протянул чрезвычайно густым хриплым басом:

– На Сатанеллу? Замеча-а-а... Смею вас уверить, что она придет никакой. Она и не в своей компании, и не в порядке, и не в руках. Кто на ней сидит? Казум-Оглы, татарская лопатка. Еще в прошлом году был конюшенным мальчиком... Мне все равно, но деньги бросаете на ветер.

Цвет одним пальцем поманил к себе Тоффеля.

– Поставьте на эту... на как ее... на рыженькую... Голубая рубашка со звездами.

– Сатанелла, номер одиннадцать.

– Да, да.

– Сколько прикажете?

– Все равно. Ну, там билетов... десять... пятнадцать... распорядитесь, как хотите.

– Слушаю, – поклонился Тоффель и побежал рысцой в кассу.

– Прекра-а-а... – пустил октавой грузный господин и совсем повернул к Цвету свое бритое лицо. У него был большущий горбатый, волосатый и красный нос, толстая нижняя губа отвисла вниз, обнажая крепкие, желтые прокуренные зубы. – Изуми-и-и... Но послушайте же, – переменил он голос на более естественный. – Мне не жаль ваших денег, но я вижу, что вы на скачках новичок.

– В первый раз.

– Вот видите... Ну, я понимаю игру на фукс, на слепое сумасшедшее счастье... Но надо, чтобы был хоть один шанс на миллион... А здесь аб-со-лютный нуль!.. На Сатанеллу так же нелепо ставить, как, например, на лошадь, которая совсем в этой скачке не участвует, которой даже нет во всей сегодняшней программе, которой и вообще не существует на белом свете... понимаете, которая еще не родилась.

– Однако она – вот она! – весело возразил Цвет. – И придет первым номером.

– Удиви-и-и... – прохрипел сосед. – Нас с вами познакомили? Не так ли? Билеты вы уже

взяли? Так? Я вас не только не втраплял в это гнусное предприятие, но даже удерживал? Верно? Ну, так позвольте вам сказать, что я имею несчастье быть владельцем этой самой водовозки. Поглядите-ка, нет, вы поглядите в программу. Видите: номер одиннадцатый – Сатанелла... владелец Осип Федорович Валдалаев. Это мы, – ткнул он себя в грудь большим пальцем, пухлым и волосатым. – И мы вам говорим, что она без места.

– Первой.

– Не пос-ти-гаю, – пожал плечами владелец. – Ну хотите, – я ставлю сейчас тысячу рублей против ваших ста, что она не займет ни одного платного места, то есть не будет ни первой, ни второй, ни третьей?

Цвет упрямо тряхнул головой.

– Не желаю. Тысячу против тысячи, что она возьмет первый приз. Я не нуждаюсь в снисхождении.

– Но и я не хочу выигрывать наверняка, – холодно возразил сосед. – А за то, что она не придет первой, я готов сию минуту поставить сто тысяч против полтинника. Алая краска обиды бросилась в нежное лицо Цвета.

– А я, – сказал он резко, – ставлю не фантастических сто тысяч, а реальных, живых пять против вашей одной. Ваша Сатанелла придет первой.

В это время лошади под жокеями живописной, волнующейся, пестрой группой вернулись назад, на прежнюю черту, откуда начали пробный галоп. Там они несколько минут крутились на месте, объезжая одна вокруг другой, стараясь выровняться в подобие линии и все разравниваясь. Уловив какой-то быстрый, подходящий миг, жокеи как один привстали на стременах, скорчились над лошадиными шеями и рванулись вперед. Но к старту лошади подскакали так разбросанно, что их не пустили, и некоторым из них, наиболее горячим, пришлось возвращаться назад с очень далекого расстояния. Сатанелла же проскакала понапрасну около четверти версты и пришла обратно вся мокрая.

– Не будем сердиться, – добродушно сказал Валдалаев. – Посмотрите сами, в каком виде кобыла. Никуда!.. Но в ее жилах текут капли крови Лафлеша и Гальтимора, и ее цена, если продавать, три тысячи. В эту сумму я и заключаю пари против ваших трех в том, что она не будет ни первой, ни второй.

– Первой, – уперся Цвет.

– Хорошо, – пожал плечами Валдалаев. – Но поставим также и промежуточное условие, которое нас примирит. Если она придет третьей или никакой, то выиграл я. Если первой, то вы. Ну, а если второй, то – ни вы и ни я, и тогда мы поставим пополам три тысячи в пользу Красного Креста. Идет?

Цвет ясно улыбнулся ему.

– Хорошо.

– И великоле-е-е...

Раз пять не удавалось пустить лошадей кучно. Всех путала горячившаяся, дыбившаяся Сатанелла, которая то пятилась задом, то наваливалась боком на соседок. Из двухрублевых трибун слышались уже негодующие голоса: «Долой Сатанеллу, снять ее! Кобыла совсем выдохлась!» Но в шестой раз лошади пошли сравнительно кучно, сжались перед стартом, и точно замялись секунду у столба, и вдруг пустились вперед с такой быстротой, что ветром обдало близстоящих зрителей. Белый, высоко поднятый в руке стартера флажок быстро опустился к земле. Подошел Тоффель с билетами.

– Такая была теснота у касс, что я едва добрался. Поздравляю вас, Иван Степанович, – за номер одиннадцатый ни в одной кассе ни одного билета. Чисто! Эта скачка была по своей неожиданности и нелепости единственной, какую только видели за всю свою жизнь поседлые на ипподроме знатоки и любители скакового спорта. Одного из двух общих фаворитов, негра Сципиона, лошадь сбросила на первом же повороте и при этом ударила ногой в голову. Несчастливого полуживым унесли на носилках. Вслед за тем упал вместе с лошастью какой-то жокей в малиновом камзоле с зеленой лентой через плечо. Он отделался благополучно и, ловко вскочив, успел поймать повод. Но лошадь с полминуты не давала ему сесть в седло, и он потерял, по крайней мере, сажень с двести. У третьего всадника лопнула подпруга... Двое столкнулись друг с другом так жестоко, что не могли продолжать скачку. У одного оказалась вывихнутой рука, а у другого сломалось ребро. Словом, почти всех лошадей и жокеев постигали какие-то

роковые и злые случайности. К концу второй минуты, после последнего поворота, когда зрители глазами, головами и телами судорожно тянулись налево, им представилась следующая картина. Впереди, по прямой, уверенно и спокойно скакал черный с белыми рукавами англичанин. Он шел без хлыста, изредка оборачиваясь назад, собираясь перевести лошадь на кентер. За ним, отставшая корпусов на сорок, с поразительной резвостью выскочила из-за поворота, точно расстилаясь по земле, Сатанелла. Казум-Оглы почти лежал у нее на вытянутой шее. Он работал левой рукой кругообразно поводками, а правой часто хлестал лошадь стеком. Еще дальше дико неся вороной жеребец с пустым седлом, ошалевший от стремян, которые били ему по бокам, и очень далеко за ним скакал малиновый с зеленой лентой жокей... Остальные лошади остались на той стороне круга.

Цвет никогда не был игроком и не чувствовал боязни проиграть: деньги давно уже стали для него чем-то вроде мусора. Но в это мгновение его, как внезапный приступ лихорадки, подхватил страшный азарт за Сатанеллу. Крепко стиснув зубы и сморщив все лицо, он крикнул мысленно: «Ты, ты должна быть первой!...»

Случилось что-то странное. С волшебной быстротой Сатанелла стала приближаться к англичанину. Через каких-нибудь пять секунд она вихрем промелькнула мимо него. Сейчас же, следом за ней, его обогнал и вороной жеребец. Лошадь англичанина совсем остановилась. Он быстро соскочил с нее и, нагнувшись, стал рассматривать ее правую переднюю ногу... Она была сломана ниже колена. Продрав кожу, наружу торчала белая окровавленная кость. Никто не аплодировал Сатанелле. В рублевых трибунах слышались свистки и гневные крики.

– Поздравляю, – льстиво сказал на ухо Цвету Тоффель...

– Ну вас к черту! – резко швырнул ему Иван Степанович.

Толстый, громадный Валдалаев уперся глазами Цвету в сапоги, а потом медленно поднял на него яростный и презрительный взгляд и прохрипел, доставая бумажник:

– Ваша удача от дьявола. Не завидую вам. Получите.

– Да мне, собственно... не надо... – залепетал Цвет. – Я ведь это просто... так... зачем мне?..

– Что-с? – рявкнул гигант, и сразу его большое лицо наполнилось темной кровью. – Н-не на-до? Эття чтэ тэ-кое? А за уши? Я Вал-да-лаев! – громом пронеслось по судейской беседке.

И, сунув деньги в дрожащую руку Цвета, который в эту секунду совсем забыл о своем страшном могуществе, владелец золото-рыжей Сатанеллы повернулся к нему трехэтажным, свисавшим, как курдюк, красным затылком и величественно удалился от него.

Мимо Цвета провели искалечившуюся лошадь. Под ее грудью было продето полотнище, которое с обеих сторон поддерживали на плечах конюхи. Она жалко ковыляла на трех здоровых ногах, неся сломанную ножку поднятой и безжизненно болтавшейся. Из глаз ее капали крупные слезы. Ручейки пота струились по коже.

– Э, черт! – тоскливо выругался Цвет. – Если бы знал, ни за что бы не поехал на эти подлые скачки. Как это так случилось? – спросил он кого-то, стоявшего у барьера.

– Уму непостижимо. Камушек какой-нибудь подвернулся или подкова расхлябла... Да, впрочем, и жокеи тоже... известные мазурики.

Примчался Тоффель. Он сиял и еще издали победоносно размахивал в воздухе толстой пачкой сторублевков.

– Наша взяла! – торжествовал он, подбегая к Цвету. – Понимаете: ни в ординарном, ни в двойном, ни в тройном, кроме ваших, ни одного-единого билета! Извольте: три тысячи пятьсот с мелочью. Это вам не жук начихал.

Цвет молчал. Тоффель поймал направление его взгляда.

– Сто? Лосадку залко? – спросил он, скривив насмешливо и плаксиво губы и шепелявя по-детски, – Э, бросьте, милейший мой. Судьба не знает жалости. Едем-те-ка в Монплеизр спрыснуть выигрыш.

– Тоффель! – с ненавистью воскликнул Цвет. Ему хотелось ударить по лицу этого вертлявого человека, показавшегося сейчас бесконечно противным. Но он сдержался и прибавил тихо: – Уйдите прочь.

Но про себя он подумал с горечью и тоской:

«Сколько еще несчастий причиню я всем вокруг себя. Что мне делать с собой? Кто научит меня?» Но о боге набожный Цвет почему-то в эту минуту не вспомнил. Когда он шел к выходу,

то даже с опущенными глазами чувствовал, что все глаза устремлены на него. Вверху, в ложе, кто-то захлопал в ладоши. «А вдруг это она, Варвара Николаевна», – подумал почему-то Цвет. Но ему так стыдно было за свой позорный выигрыш, что он не осмелился поднять голову. А сердце забилося, забилося.

Х

Все, что я здесь пишу, я пишу по устному, не особенно связному рассказу Цвета. Но я давно уже как будто слышу голос читателя, нетерпеливо спрашивающий: да что же это – явь или сон? И если сон, то когда он кончится?

Очень скоро. Мы идем быстрыми шагами к концу, и я постараюсь излагать дальнейшие события в самом укороченном темпе. За то, что все, приключившееся с нашим героем, произошло на самом деле, я не стану ручаться, хотя напоследок все-таки приберегаю один-два факта, которые как будто свидетельствуют, что не все в похождениях Цвета оказалось сном или праздным вымыслом. А впрочем, кто скажет нам, где граница между сном и бодрствованием? Да и намного ли разнится жизнь с открытыми глазами от жизни с закрытыми? Разве человек, одновременно слепой, глухой и немой и лишенный рук и ног, не живет? Разве во сне мы не смеемся, не любим, не испытываем радостей и ужасов, иногда гораздо более сильных, чем в рассеянной действительности? И что такое, если поглядим глубоко, вся жизнь человека и человечества, как не краткий, узорчатый и, вероятно, напрасный сон? Ибо – рождение наше случайно, зыбко наше бытие, и лишь вечный сон непреложен.

Цвет наделал целый ряд глупостей. Вечером после скачек, еще томясь стыдом и жалостью от своего выигрыша, он вдруг вспомнил грубый окрик Валдалаева, разозлился задним числом и, по совету возликовавшего Тоффеля, послал хриплому великану вызов на дуэль. Секунданты, драгунский безусый корнет и молодой польский поддельный графчик, привезли согласие Валдалаева и передали даже его подлинные слова. Он сказал сердито: «Я продырявлю этого Цвета так, что от него останется только запах».

– И он это может, – прибавил от себя, важно нахмурившись, корнет. – Он бывший ахтырец и знаменитый бретер.

– Тен-то може! – уверенно подтвердил граф.

А вспыхнувший от нового оскорбления Цвет подумал: «Ну, в таком случае я его убью».

На другой день утром они стрелялись за Караваевскими дачами, в рощице, на лужайке. Валдалаев выстрелил первый и промахнулся; пуля лишь слегка задела рукав рубашки Ивана Степановича. Цвет, впервые державший пистолет в руке, стал целиться. Гигант стоял перед ним в половину оборота, в двадцати шагах, нелепо огромный, красноносый, спокойный, с опущенными и растопыренными руками, со слегка наклоненной головой. Правое его ухо, пронизанное солнечным лучом, алело ярким пятном под круглой кастровой шляпой.

Остатки гнева, поутихшего за ночь, совсем испарились из души Цвета... «Я прострелю ему ухо», – решил Цвет и слегка надавил на собачку. Но ему стало нестерпимо жалко противника. «Нет, лучше попаду в шляпу». И сжал указательный палец. Резко хлопнул выстрел, и зазвенело в ушах Цвета, и пахнуло весело пороховым дымом. Котелок свалился с Валдалаева. Валдалаев поднял его, внимательно оглядел и прохрипел спокойно октавой:

– Превосхо-о-о-о...

И, подойдя с протянутой рукой к Цвету, сказал самым пленительным, душевным тоном:

– Извиняюсь перед вами... Я не то о вас подумал... Я думал, что вы... так себе... шляпа... А вы, оказывается, славный и смелый парень. Но, черт побери, сатанинская у вас удача! Исключи-и-и...

Вблизи от места поединка уютно засел в зелени загородный ресторанчик. Туда, по окончании формальностей поединка, направились дуэлянты, четверо свидетелей и доктор, чтобы заказать завтрак, о котором память должна была сохраниться на десятки лет. После соленых закусок Валдалаев и Цвет были на «ты». За первой дюжиной шампанского Валдалаев уступил Ивану Степановичу кобылу Сатанеллу в цене пяти тысяч рублей. Цвет только повернул слегка глаза на Тоффеля и перед ним мгновенно очутилась чековая книжка.

– Пишите, Иван Степанович, – сказал Тоффель с мрачным удовольствием. – Пишите.

А к полуночи, когда компания переменяла уже четвертое место кутежа, Цвет купил всю

конюшню Валдалаева, состоявшую из восьми лошадей.

– Но чтобы, – кричал он, стоя, шатаясь и расплескивая бокал, – чтобы не ломать ног лошадям, не бить их хлыстами. И желаю вообще детский сад для лошадей! Чтобы я их мог целовать в самый хруп!.. В мордочку! Безнаказанно! Урра!

– Поедем в купеческий клуб, – сказал где-то в пространстве Валдалаев, – там французские шулера. Там я проиграл сотню тысяч.

– Есть. Езда! – ответил с добродушной готовностью Цвет. – Но сперва вымойте меня сельтерской водой.

Это было сделано. Цвет почувствовал себя сразу трезвым и легким. По дороге Валдалаев, в лучшем городском клубе, где бывал сидя с ним рядом на извозчике и обнимая его, шептал ему тепло в ухо:

– Четыре француза. Господа: Поль, Бильден, Филиппар и Галер. Ты их – рразом... Пони-маешь?

– Разом! Понимаю!

– Твоя власть, милый Виноград, от дьявола. Верно?

– Д-да!

– Валяй!

– Я им пок-кажу-у!

– Покажи.

В лучшем городском клубе, где бывал сам губернатор, Цвет обыграл в эту ночь в баккара четырех профессиональных искуснейших шулеров. Он также открыл в рукаве у одного из них, у главного крупье monsieur Филиппара, машинку с готовыми восьмерками и девятками. Затем он обыграл дочиста на несколько сот тысяч всех членов собрания. Но, обыграв, вдруг признался, к громадному наслаждению Тоффеля, который покатывался от смеха:

– Господа. И французов и вас я обыграл наверняка. Французов так и следовало. А вы – простые, добродушные бараны. Поэтому потрудитесь взять все проигранные вами деньги обратно. Я обладаю двойным зрением. Я видел насквозь каждую карту. Хотите, я назову вам наперед любую по счету карту в колоде, стоя к вам спиной?

Его проверили. Загадывали двадцать седьмую и девятую, и тридцать шестую карту из колоды. Он на секунду прикрывал глаза, открывал их и сразу угадывал: туз пик, девятка бубен, двойка бубен. Все объяснили это явление телепатией и оккультизмом и охотно взяли свои ставки обратно, причем многие перессорились.

Один Валдалаев отказался от денег. Он застегнулся на все пуговицы, перекрестился и сказал своим рычащим голосом:

– Сногшиба-а-а... Однако я в этой странной хреновине не участник. Эти деньги – к чертовой их матери!..

И величественно ушел, не дотронувшись до кучи золота и бумажек. А Иван Степанович, глядя ему вслед, на его удаляющуюся широкую спину, вдруг побледнел и стал нервно тереть ладонями виски.

Утром явился к Цвету мистер Тритчель, англичанин-жокей, скакавший накануне на Леди Винтерсет, на той лошади, что сломала себе ногу, и предложил ему свои услуги. По его словам, валдалаевская конюшня была очень высоких качеств, но падала с каждым годом из-за характера прежнего владельца, который, по своей вспыльчивости, самоуверенности и нетерпимости, постоянно менял жокеев и доверял только посредственным и малоознающим тренерам. Цвет согласился. С этого времени его лошади стали забирать все первые призы.

Мало того, однажды, подстрекаемый внезапным и нелепым припадком честолубия, он вызвался сам, лично, участвовать в джентльменской скачке. Все доводы благоразумия были против этой дикой затеи, начиная с того обстоятельства, что Цвет еще ни разу в своей жизни не садился на лошадь. В пользу Ивана Степановича говорило лишь два слабых данных: его легкий вес – три пуда двадцать пять фунтов – и его непоколебимая решимость скакать.

Мистер Тритчель специально для этой цели приобрел за довольно дорогую цену добронравную, спокойную девятилетнюю кобылу, ростом в шесть с половиной вершков, по имени Mademoiselle Barbe. Он сам дал своему патрону несколько уроков верховой езды на маленьком конюшенном ипподроме. Цвет, галопирующий в крошечном английском седле на огромной гнедой лошади, напоминал ему фокстерьера, балансирующего на ребре обледенелой крыши. Ча-

сто Цвет оборачивался на Тритчеля, услышав с его стороны короткое носовое фырканье. Но каждый раз его глаза встречали сухое, костистое, горбоносое лицо кривоногого англичанина, исполненное серьезности и достоинства.

И вопреки логике и здравому смыслу, Цвет все-таки в джентльменской скачке пришел первым. Нет, вернее, не он пришел, а его принесла сильная и старательная лошадь, а он сидел на ней, вцепившись обеими руками в гриву, растеряв поводья и стремяна, потеряв картуз и хлыст. Публика встретила его у столба тысячеголосным ревом, хохотом, свистом, шиканьем и бурными аплодисментами. Одно время он пристрастился к биржевой игре, и в этой темной, сложной и рискованной области его не только не оставляло, но даже как бы рабски тащилось за ним безумное, постоянное счастье. В самый короткий срок он сделался оракулом местной биржи, чем-то вроде биржевого барометра. Маклеры, банкиры и спекулянты глядели ему в рот, взвешивая и оценивая каждое его слово. Он же действовал всегда наобум, исключительно под влиянием мгновенного каприза. Он покупал и продавал бумаги, судя по тому, нравились ему сегодня или не нравились их названия, не имея ни малейшего представления о том, какие предприятия эти бумаги обеспечивают. Он никогда не мог постигнуть глубокую сущность биржевых сделок «à la hausse»; и «à la baisse»;¹¹ Но когда он играл на повышение, то тотчас же где-то, на краю света, в неведомых ему степях, начинали бить мощные нефтяные фонтаны и в неслыханных сибирских горах вдруг обнаруживались жирные залежи золота. А если он ставил на понижение, то старинные предприятия сразу терпели громадные убытки от забастовок, от пожаров и наводнений, от колебаний заграничной биржи, от внезапной сильной конкуренции. Если бы его спросили, в чем состоит тайна его удивительного успеха, он только пожал бы плечами и ответил бы совершенно искренно: «Да, право, я и сам не знаю...» Но в том-то и заключалось скрытое несчастье и невидимая боль его жизни, что он знал и не мог никому сознаться.

Его широкий образ жизни скоро обратил на себя внимание, и о Цвете стали негласным образом наводить справки. Но придаться было не к чему: налицо оказывались и полученное наследство, и поразительные выигрыши на бирже. К тому же он чрезвычайно щедро разбрасывал деньги. На благотворительных вечерах, концертах, базарах, общественных подписках и лотереях под его именем значились наиболее крупные пожертвования. Никто охотнее его не давал денег на стипендии, поощрения и койки в лазаретах. Но он сам замечал с глубоким огорчением, что ни разу никому его щедрость не принесла ничего, кроме неудач, разорения, беспутства, болезней и смерти.

Он занимал небольшой старинный облицованный мрамором особняк в нагорной, самой аристократической и тихой части города, утопавшей в липовых аллеях и садах. По преданию, в этом доме когда-то останавливался Наполеон, и до сих пор в одной из комнат сохранилась кровать под огромным балдахином с занавесками серо-малинового бархата, затканного золотыми пчелами. Штат его служащих увеличивался с каждым днем. Во главе всех стоял мажордом, величественный седовласый бакенбардист, похожий на русского посла прежних времен в Париже или Лондоне. За ним следовали: камердинер, с наружностью первого любовника с императорской сцены; круглый, как шар, бритый старший повар, выпущенный из Москвы от Оливье; кучер для русской упряжи, поражавший всех до ужаса густотою черной бороды, румянцем щек, обширностью наваченного зада и звериным голосом; кучер для английской упряжи; ученый немец-садовник в очках, заведовавший оранжереею и зимним садом, и еще десятка два мелких прислужников. Весь город любовался Цветом, когда он в погожий полдень проезжал по Московской и Дворянской улицам, правя с высоты английского дог-карта¹² двумя парами прекрасно подобранных и выезженных лошадей, масти «изабелла», светло-песочного цвета, с начисто вымытыми серебро-белыми гривами и хвостами.

Всезнающий и всемогущий Тоффель приобрел откуда-то для Цвета по особо удачному случаю старинное серебро и древний французский фарфор с клеймами в виде золотых лилий. Он же скупил у разорившегося польского магната богатейший погреб вин, который, по редкости и тонкости сортов, считался четвертым в мире (как в этом, по крайней мере, уверял прежний вла-

¹¹ «На повышение»... «на понижение» (фр.).

¹² Двухколесного экипажа (от англ. «dog-cart»).

делец). Он же доставал из третьих рук такие ароматные и выдержанные сигары, какими сам архимиллионер Лазарь Израилевич не угощал местного генерал-губернатора – всесильного сатрапа и знаменитого лакомку. Наконец, это Тоффель организовал по вторникам в особняке Цвета интимные ужины и тщательно выбирал и фильтровал приглашенных, стараясь предотвратить вторжение улицы. Только остроумие, изобретательность в веселье, талант, изящество, красота, вкус к жизни и добродушная учтивость служили патентами для входа на эти вечера, и никогда не удавалось проникнуть туда чванному светскому снобизму, ленивому и пресыщенному любопытству, людям глупости и скуки, расчетливым искателям связей и знакомств.

Желанными гостями были артисты и артистки всех профессий, актеры, певцы, танцоры, музыканты, композиторы, художники, скульпторы, декораторы, поэты, клоуны, фокусники, имитаторы и особая порода светских дилетантов, неистощимых на выдумки. Все хорошенькие женщины города показывались с удовольствием и без стеснения на этих вечерах, где, по их словам, всегда бывало так мило и просто. Устраивались великолепные, шуточные китайские шествия с фонарями, драконами и носилками, воскрешались старинные пасторали с гавотами и менуэтами в костюмах XVIII столетия, разыгрывались водевили с пением и целые комические оперы на сюжет, придуманный тут же у Цвета в гостиной, а также ставились сообща нелепо-веселые пародии на модные пьесы и на современные события.

Ужинали на отдельных столиках, по двое и по четверо, кто как хотел. Мужчины служили своим дамам и самим себе. В их распоряжении был буфет, щедро снабженный винами и холодными изысканными закусками.

В городе ходили всякие злостные слухи об этих ужинах, на которые попасть было весьма трудно, но на самом деле, несмотря на безудержное веселье, на полное отсутствие натянутости, они носили приличный, изящный и целомудренный характер. Так Цвет хотел, так и было. И часто его спокойный, быстрый взгляд, направленный через всю столовую, останавливал в самом начале рискованную выходку, слишком громкий смех или резкий жест.

С сотнями людей сталкивала Цвета его многогранная жизнь, но ни с одним человеком он не сошелся за это время, ни к кому не прикоснулся близко душой. С тою же чудесной способностью «двойного зрения», с какою Цвет мог видеть рельеф императрицы и год чеканки на золотой монете, зажатой в кулаке Тоффеля, или угадать любую карту из колоды, – так же легко он читал в мыслях каждого человека. Цвету нужно было для этого, пристально и напряженно вглядевшись в него, вообразить внутри самого себя его жесты, движения, голос, сделать втайне свое лицо как бы его лицом, и тотчас же после какого-то мгновенного, почти необъяснимого душевного усилия, похожего на стремление перевоплотиться, – перед Цветом раскрывались все мысли другого человека, все его явные, потаенные и даже скрывающиеся от себя желания, все чувства и их оттенки. Это состояние бывало похоже на то, как будто бы Цвет проникал сквозь непроницаемый колпак в самую середину чрезвычайно сложного и тонкого механизма и мог наблюдать незаметную извне, запутанную работу всех его частей: пружин, колес, шестерней, валиков и рычагов. Нет, даже иначе: он сам как бы делался на минуту этим механизмом во всех его подробностях и в то же время оставался самым собою, Цветом, холодно наблюдающим мастером.

Такая способность углубляться по внешним признакам, по мельчайшим, едва уловимым изменениям лица в недра чужих душ, пожалуй, не имела в своей основе ничего таинственного. Ею обладают, в большей или меньшей степени, старые судебные следователи, талантливые уголовные сыщики, опытные гадалки, психиатры, художники-портретисты и прозорливые монастырские старцы. Разница была только в том, что у них она является результатом долголетнего и тяжелого житейского опыта, а Цвету она далась чрезвычайно легко.

И сделала его глубоко несчастным. Каждый день перед ним разверзались бездны человеческой душевной грязи, в которой копошились ложь, обман, предательство, продажность, ненависть, зависть, беспредельная жадность и трусость. Почтенные старцы, дедушки с видом патриархов, невинные барышни, цветущие юноши, безупречные многодетные матроны, добродушные толстые остряки, отцы города, политические деятели, филантропы и благотворительницы, передовые писатели, служители искусств и религий – все они в подвалах своих мыслей бывали тысячекратно ворами, насильниками, грабителями, клятвопреступниками, убийцами, извращенными прелюбодеями. Их полу сознанные, мгновенные, часто произвольные желания были похожи на свору кровожадных и похотливых зверей, запертых на замок, ключ от которого находится в неведомой и мудрой руке. И каждый день Цвет чувствовал, как в нем нарастает

презрение к человеку и отвращение к человечеству.

О, сколько раз тянулись к нему трепетные и послушные женские руки, а глаза – затуманенные, влажные – искали его глаз, и губы открывались для поцелуя. Но сквозь маску профессионального кокетства, под личиной любовного самообмана, Цвет прозревал или открытую жажду его золота, или сокровенное, инстинктивное, воспитанное сотнями поколений, рабское преклонение перед властью богатства. Он одаривал женщин с очаровательной улыбкой и с внутренней брезгливостью, оставаясь сам холодным и недоступным.

Была во всем свете лишь одна – ее имя начиналось с буквы «В», – одна-единственная, незаменимая, несравненная, прекраснейшая, чье розовое лицо пряталось в букете сирени и чьи темные глаза смеялись, ласкали и притягивали. Но перед ее далеким образом молчало всемогущество желаний. Цвет окружал ее безмолвным обожанием, тихой самоотверженной любовью, не смеющей ждать ответа. Ему доставляло страшное наслаждение вновь найти в записной книжке ее имя и прочесть его, но ни за что он не отважился бы пойти по тому адресу, который она сама продиктовала.

Чтение чужих мыслей было не единственным несчастьем Цвета. Его очень тяготило также постоянное совпадение его малейших желаний с их мгновенным исполнением. Цвет никому не хотел зла, но невольно причинял его на каждом шагу. Рассказывают об одном великом алхимике, который сообщил своему ученику точный рецепт жизненного эликсира, но предупредил его, чтобы он при его изготовлении никак не смел думать о белом медведе. И вот, каждый раз, как только ученик приступал к таинственным манипуляциям, первой его мыслью всегда бывала мысль о белом медведе. Так и Цвет, сидя, например, однажды в цирке и следя глазами за акробаткой, скользящей по проволоке, не мог не вспомнить о своем несчастном даре и крепко, всеми силами, внушал себе: «Только бы случайно не пожелать, чтобы она упала, только бы, только бы...» Он сжимал при этом кулаки и напрягал мускулы лица и шеи, но в воображении уже рисовалось падение... и вот с легким птичьим криком гибкая женская фигура в лиловом трико упала вниз, в сетку, сверкая золотыми блестками.

Один случай в этом роде так напугал Цвета, что он чуть не сошел с ума. Он возвращался домой с утреннего концерта пешком. Был хмурый и ветреный день, со странным, зловещим, багрово-медным освещением облаков, которые неслись низко и быстро, точно ватаги растрепанных дьяволов. Каким-то капризным путем мысли Цветам цепляясь одна за другую, пришли к чуду Иисуса Навина, который продлил день битвы, остановив солнце.

Из начатков космографии Цвет, конечно, знал, что иудейскому полководцу для его цели надо было остановить не солнце, а вращение земли вокруг ее оси и что эта остановка, повлекла бы за собою, в силу инерции, страшную катастрофу на земной поверхности, а может быть, и во всем мироздании. Цвет был в этот день весьма легкомысленно настроен. Сам того не зная, он на одну миллиардную долю секунды был близок к тому, чтобы сказать старой земле: «Остановись!» Он даже почти сказал это. Но внезапный ураган, ринувшийся на город, подхватил Цвета, протащил его сажени с три и швырнул на телеграфный столб, за который он в смертельном ужасе обвился руками и ногами. А мимо него понеслись в свирепом вихре пыли, в мрачной полутьме: зонтики, шляпы, газеты, древесные ветки, растерянные люди, обезумевшие лошади. Со зданий падали кирпичи от разрушенных труб, крыши оглушительно гремели своими железными листами, пронзительно выли телеграфные проволоки, хлопали окна и вывески, звенело бьющееся стекло.

Это прошел через город край того ужасающего циклона, который в Москве в 19** году разметал множество деревушек, опрокинул в городе водонапорные башни, повалил груженные вагоны и в одну минуту скосил начисто несколько десятин крепкого строевого леса. Ураган так же быстро, как поднялся, так неожиданно и утих. Цвет целый день тер на лбу громадную шишку и шептал, точно извиняясь перед всей вселенной: «Но ведь это же не я, честное слово, не я. Я не хотел этого, я не сказал этого...»

И еще было одно глубокое, печальное горе у Цвета. От него, так волшебным подчинявшего себе настоящее, уплыло куда-то в неизвестную тьму все прошлое. Не то чтобы он его забыл, но он не мог вспомнить. Сравнительно ясно представлялись вчерашние переживания, но позавчерашний день приходил на память урывками, а дальше сгущался плотный туман. Мелькали в нем бессвязно какие-то бледные образы, звучали знакомые голоса, но они мерещились лишь на секунды, чтобы исчезнуть бесследно, и Цвет не в силах был уловить, остановить их. Иногда по ве-

черам, оставаясь один в своем роскошном кабинете, Цвет подолгу сидел, вцепившись пальцами в волосы, и старался припомнить, что с ним было раньше. Клочками проносились перед ним: железная дорога, какой-то запущенный сад, необыкновенная лаборатория, книга в красном сафьяне, рыжий почтальон, взрыв огненного шара, древний церковный старик, козлиная морда, узор текинского ковра, девушка в вагонном окне... Но в этих видениях не было ни связи, ни смысла, ни яркости. Они не зацеплялись за сознание, они только раздражали память и угнетали волю.

От усилия вспомнить у Цвета так разбалчивалась голова, как будто кто-то ввинчивал длинный винт через весь его мозг, а душа его ущемлялась такой ноющей тоской, которая была еще больнее головной боли. Измученный Цвет быстро раздевался и приказывал себе: спать! – и тотчас же погружался в безмолвие и покой. Видел он всегда один и тот же сон: желтенькие обои с зелеными венчиками и розовыми цветочками, японскую или китайскую ширму, с аистами и рыболовом, клетку с канарейкой, кактус на окне и форменную фуражку с бархатным околышем и бирюзовыми кантами. И таким сиянием ранней молодости, прелестью невинных, но утраченных навсегда радостей, такой сладкой грустью были окружены эти незатейливые предметы, что, просыпаясь среди ночи, Цвет удивлялся, отчего у него влажная подушка. Но свой сон никогда он не мог припомнить.

XI

Но всему, даже горю, приходит конец. Однажды утром, подавая Цвету кофе, великолепный камердинер, с лицом театрального светского льва, сказал:

– Я вчера вечером перебирал ваш гардероб, барин, и в старом сером костюме, в кармане, нашел вот это... какие-то жетоны или игральные марки... не знаю...

Он осторожно поставил на стол круглый маленький поднос, на котором лежали аккуратной горкой штук тридцать квадратных сантиметровых пластинок из слоновой кости. На них были выгравированы и выведены эмалью различные латинские буквы. Цвет взял двумя пальцами одну костяшку и поднес ее к глазам, а поднос слегка отодвинул, сказав небрежно:

– Уберите куда-нибудь.

Слуга ушел. Цвет рассеянно прихлебывал кофе и время от времени взглядывал на костяной квадратик. Несомненно, он его видел где-то раньше... С ним даже было связано какое-то отдаленное, чрезвычайно важное и загадочное воспоминание. Так же змеисто изгибалось когда-то перед ним изящное старинное начертание этого стройного S... Слабый, еле мерцающий огонек проволочного фонаря тогда освещал его... В глубокой полночной тишине только и слышалось что торопливое тиканье часов, лежавших на столе, а гул, подобный морскому прибою, гудел в ушах Цвета... И тогда-то именно случилось... Но головная боль пронизала винтом его голову и затмила мозг. Положив машинально квадратик в карман, Цвет стал одеваться. Немного времени спустя к нему вошел его личный секретарь, ставленник Тоффеля, низенький и плотный южанин, вертлявый, в черепаховом пенсне, стриженный так низко, что голова его казалась белым шаром, с синими от бритья щеками, губами и подбородком. Он всем распоряжался, всеми понукал, был дерзок, высокомерен и шумлив и, в сущности, ничего не знал, не умел и не делал. Он хлопал Цвета по плечу, по животу и по спине и называл его «дорогой мой»; и только на одного Тоффеля глядел всегда такими же жадными, просящими, преданными глазами, какими Тоффель глядел на Цвета. Иван Степанович знал о нем очень немного, а именно, что этого молодого и глупого наглеца звали Борисом Марковичем, что он вел свое происхождение из Одессы и был по убеждению *сосьяль-демократ*, о чем докладывал на дню по сто раз. Цвет побаивался его и всегда ежился от его фамильярности.

– К вам домогается какой-то тип – Среброструн. Что он за тип, – я не могу понять. И как я его ни уговаривал, он таки не уходит. И непременно хочет, чтобы лично... Ну?

– Просите его, – сказал Цвет и скрипнул зубами. И вдруг от нестерпимого, сразу хлынувшего гнева вся комната стала красной в его глазах. – А вы... – прошептал он с ненавистью, – вы сейчас же, вот как стоите здесь, исчезните! И навсегда! Секретарь не двинулся с места, но начал быстро бледнеть, линять, обесцвечиваться, сделался прозрачным, потом от него остался только смутный контур, а через две секунды этот призрак на самом деле исчез в виде легкого пара, поднявшегося кверху и растаявшего в воздухе.

«Первая галлюцинация, — подумал Цвет тоскливо. — Началось. Допрыгался». И крикнул громко, отвечая на стук в дверях:

— Да кто там? Войдите же!

Он устало закрыл глаза, а когда открыл их, перед ним стоял невысокий толстый человек, весь лоснящийся: у него лоснилось полное румяное лицо, лоснились напояженные кудри и закрученные крендельками усы, сиял начисто выбритый подбородок, блестели шелковые отвороты длинного черного сюртука.

— Неужели не узнаете? Среброструнов. Регент. Нет. Иван Степанович не узнавал Среброструнова, регента, и в то же время каждый кусочек этого губительного красавца, каждое его движение, каждое колебание его голоса были бесконечно знакомы ему. Парализованная память молчала. Но по усвоенной привычке разговаривать ежедневно со множеством людей, которые его знали, но которых он совершенно не помнил, Цвет уверенно ответил, показывая на кресло:

— Как же, как же... Великолечно помню... регент Среброструнов... еще бы. Прошу садиться. Чем могу?.. Среброструнов был одновременно подавлен строгим комфортом стильного большого кабинета и снисходительной любезностью хозяина. Было ясно, что он хотел напомнить Цвету и по душам разговориться о чем-то далеко прошлом, милом, теплом и простом, и Цвет ждал этого. Но регент так и не решился. Срываясь и торопясь, с бегающими глазами, вертя напряженно пуговицу на своем рукаве, начал он обычную просительную канитель: простудился, начал гложуть, голос сдал... все это, конечно, временное и проходящее, но сами знаете, каковы люди... Конкуренция, завистники... Теперь доктора посылают на Кавказ, на целебные воды... Как поедешь?.. Вещи, какие были, заложены... Словом... Словом, Цвет написал ему чек на две тысячи. Но, прощаясь, он на мгновение задержал руку регента и спросил его робким, тихим, почти умоляющим голосом:

— Подождите... Мне изменила память... Подождите минуточку... Ах, черт... — Он усиленно потер лоб. — Никак не могу... Да где же наконец мы встречались?

— Помилуйте! Господин Цвет! Да как же это? Я у Знаменья регентовал. Неужели не помните? Вы же у меня в хоре изволили петь. Первым тенором. Вспоминаете? Чудесный был у вас голосок... Как это вы прелестно соло выводили «Благослови душе моя»; иеромонаха Феофана. Нет? Не вспоминаете?

Точно дальняя искорка среди ночной темноты, сверкнул в голове Цвета обрывок картины: клирос, запах ладана, живые огни тонких восковых свечей, ярко освещенные ноты, шорохи и звуки шевелящейся сзади толпы, тонкое певучее жужжание камертона... Но огонек сверкнул и погас, и опять ничего не осталось, кроме мрака, пустоты, головной боли и томной, раздражающей, обморочной тоски в сердце. Цвет закрыл лицо обеими руками и глухо простонал:

— Извините... Я не могу больше... Уйдите скорее...

Ему страшно и скучно было оставаться одному, и он весь этот день бесцельно мыкался по городу. Завтракал у Массью, обедал в Европейской. В промежутке между завтраком и обедом заехал на репетицию в опереточный театр и, сидя в ложе пустого темного зала, бессмысленно глядел на еле освещенную сцену, где толклись в обыкновенных домашних платьях актеры и актрисы и вяло, деревянными голосами, точно спросонья, что-то бормотали. Купил у Дюрана нитку жемчуга и завез ее Аннунциате Бенедетти, той хорошенькой цирковой артистке, которая однажды, по его, как он думал, вине, упала с проволоки. Сидел около часу в читальне клуба с газетой в руке, устремив взор в одно объявление, и все не мог понять, что это такое значит: «Маникюр и педикюр, мадам Пеляжи Хухрик, у себя и на дому». У него было такое тяжелое, беспокойное и угнетенное состояние ожидания, какое бывает у нервных людей перед грозой или, пожалуй, как у больных, приговоренных на сегодня к серьезной операции: «Хоть бы поскорее!»

Из Европейской гостиницы он вышел довольно поздно, когда уже на город тепло спускались розовые, зеленые, лиловые сумерки. Экипаж он отпустил еще раньше и шел, глубоко задумавшись, засунув руки в карманы, не отвечая на низкие поклоны знакомых, неведомых ему людей. Мысли его все теснились около двух утренних случаев. Несомненно, между ними была какая-то отдаленная, неуловимая связь, и в то же время они взаимно исключали друг друга, как явления противоположных миров. Сияющий и жалкий Среброструнов принадлежал к чему-то прошлому в жизни Цвета, такому понятному, простому и милому, но безвозвратному, недостижимому, прикасался к чему-то бесконечно близкому, но теперь забытому. А квадратики из слоно-

вой кости с латинскими литерами точно знаменовали переход к теперешнему существованию Цвета – фантастическому и скорбному. На перекрестке Иван Степанович остановился, бесцельно переворачивая правой рукой в кармане квадратную костяшку.

По Александровской улице сверху бежал трамвай, выбрасывая из-под колес трескучие снопы фиолетовых и зеленых искр. Описав кривую, он уже приближался к углу Бульварной. Какая-то пожилая дама, ведя за руку девочку лет шести, переходила через Александровскую улицу, и Цвет подумал: «Вот сейчас она обернется на трамвай, замнется на секунду и, опоздав, побежит через рельсы. Что за дикая привычка у всех женщин непременно дожидаться последнего момента и в самое неудобное мгновение броситься наперерез лошади или вагону. Как будто они нарочно испытывают судьбу или играют со смертью. И, вероятно, это происходит у них только от трусости». Так и вышло. Дама увидела быстро несущийся трамвай и растерянно заметалась то вперед, то назад. В самую последнюю долю секунды ребенок оказался мудрее взрослого своим звериным инстинктом. Девочка выдернула ручонку и отскочила назад. Пожилая дама, вздев руки вверх, обернулась и рванулась к ребенку. В этот момент трамвай налетел на нее и сшиб с ног.

Цвет в полной мере пережил и перечувствовал все, что было в эти секунды с дамой: то-ропливость, растерянность, беспомощность, ужас. Вместе с ней он – издали, внутренне – суе-тился, терялся, совался вперед и назад и, наконец, упал между рельс, оглушенный ударом. Был один самый последний, короткий, как зигзаг молнии, необычайный, нестерпимо яркий момент, когда Цвет сразу пробежал вторично всю свою прошлую жизнь, от крупных событий до мельчайших пустяков. Многие, к кому подходила вплотную смерть, – бывало ли это в воде, в огне, под землею или в воздухе, – говорят, что они переживали подобные же ощущения. Цвет увидел, точно в хрустальном волшебном зеркале, свое детство: медные каски пожарных и страшные ночные выезды команды, игру в бабки за конюшнями, ловлю рыбы при помощи завязанных штанишек на речке Кизахе и кулачные бои городских мальчишек с заречными турунтаями на льду Кинешемки, духовное училище и гимназию, и всю службу в Сиротском суде, и певческий хор у Знаменья, и свое мирное житие в мансарде на шестом этаже, и визит Тоффеля, и усадьбу в Червоном, и страшную ночь в кабинете дяди-алхимика, и обратную дорогу, и очаровательную Варвару Николаевну с букетом сирени, с розовым лицом и сладостным голосом, и всю последнюю жизнь, полную скуки, беспамятства, невольного зла и нелепой роскоши. Все это промелькнуло в одну тысячную долю секунды. Теряя сознание, он закричал диким голосом:

– Афро-Аместигон!

Очнулся он на извозчике, рядом с Тоффелем, который одной рукой обнимал его за спину и другой держал у его носа пузырек с нашатырным спиртом. Внимательным, серьезным и глубоким взглядом всматривался ходатай сбоку в лицо Цвета, и Цвет успел заметить, что у него глаза теперь были не пустые и не светлые, как раньше, а темно-карие, глубокие, и не жестко-холодные, а смягченные, почти ласковые. Приехав домой, Тоффель провел Ивана Степановича в кабинет, заботливо усадил его в кресло, опустил оконные занавески и зажег электричество. Потом он приказал лакею принести коньяку и, когда тот исполнил приказание, собственноручно запер за ним дверь.

– Выпейте-ка, дорогой мой патрон и клиент, – сказал он, наливая Цвету большую рюмку, – Выпейте, успокойтесь и поговорим. – Он слегка погладил его по колену.

– Ну-с, самое главное свершилось. Вы назвали слово. И, видите, ничего страшного не произошло.

Коньяк согрел и успокоил Цвета. Но в нем уже не было ни вражды к Тоффелю, ни презрения, ни прежнего с ним повелительного обращения. Он самым простым тоном, в котором слышалось кроткое любопытство, спросил:

– Вы – Мефистофель?

– О нет, – мягко улыбнулся Тоффель. – Вас смущает Меф. Ис... – начальные слоги моего имени, отчества и фамилия?... Нет, мой друг, куда мне до такой знатной особы. Мы – существа маленькие, служилые... так себе... серая команда.

– А мой секретарь?

– Ну, этот-то уж совсем мальчишка на побегушках. Ах, как вы его утром великолепно испарили. Я любовался. Но и то сказать, – нахал! Однако о деле, добрейший Иван Степанович... Ну, что же? Испытали могущество власти?

– Ах, к черту ее!

– Будет? Сыты?

– Свыше головы. Какая гадость!

– Я рад слышать это. Но не было ли у вас... Нет, не теперь, не теперь... Теперь вы во сне... А еще раньше, наяву, когда вы не были сказочным миллионером и кумиром золотой молодежи, а просто служили скромным канцелярским служителем в Сиротском суде... Не было ли у вас какого-нибудь затаенного, маленького, хоть самого ничтожного желаньишка?

Цвет прояснил и сказал твердо:

– Конечно же, было... Мне так хотелось получить первый чин коллежского регистратора и выйти на улицу в форменной фуражке...

– Исполнено, – сказал Тоффель серьезно.

– Да, но если это опять сопряжено с какими-нибудь чудесами в решетке?..

– Без всяких чудес. Так хотите?

– Очень.

– Через минуту это сбудется. Скажите еще раз слово. Цвет сказал с расстановкой:

– Афро-Аместигон.

– Вот и все, – кивнул головой Тоффель. – А теперь послушайте меня. Вы совершенно случайно овладели великой тайной, которой тьма лет, больше тридцати столетий. Ее когда-то извлек из недр невидимого мира духов сам царь Соломон. От него она перешла к финикиянам, к халдеям, потом к индийским мудрецам, потом попала опять в Египет, затем в Испанию, во Францию и, наконец, в Россию. Вместе с этой тайной вы получили ни с чем не сравнимую, поразительно громадную власть. Тысячи незримых существ служат вам, как преданные рабы, и в том числе я, принявший этот потертый внешний облик и этот глупый боевой псевдоним. И счастье ваше, что вы оказались человеком с такой доброй душой и с таким... не обижайтесь, мой милый... с таким... как бы это сказать вежливее... простоватым умом. Злодей на вашем месте залил бы весь земной шар кровью и осветил бы его заревом пожаров. Умный стремился бы сделать его земным раем, но сам погиб бы жестокой и мучительной смертью. Вы избежали того и другого, и я скажу вам по правде, что вы и без кабалистического слова – носитель несомненной, сверхъестественной удачи.

Но сколькими огромными человеческими соблазнами вы пренебрегли, мой милый Цвет! Вы могли бы объездить весь земной шар и увидеть его во всем его роскошном разнообразии, с его морями, горами, реками, водопадами от пламенного экватора до таинственной точки полюса. Вы увидели бы древнейшие памятники исторической старины, величайшие создания искусства, живую пеструю жизнь народов. Париж с его вкусом и весельем, себялюбивый и прочный комфорт Англии, бешеная жизнь Нью-Йорка с высоты сорокаэтажных зданий, бой быков в Мадриде, египетские пирамиды, римский карнавал, красота Константинополя и Венеции, земной рай на островах Полинезии, сказочные панорамы Индии, буддийские храмы и курильни Китая, цветущая и нежная Япония – все пронеслось бы перед вашими очарованными глазами... Вы не захотели этого... а теперь уже поздно... Вы точно забыли или не хотели знать, что в мире существует множество прекрасных женщин. Не только их красота, за которую лучшие люди отдают радостно свою жизнь, дожидаясь мановения вашей руки, но также и ум, изящество, талант и тот венец женского очарования, который достигается сотнями лет культуры. Но вы робко и безнадежно мечтали только об одной, не смея...

Цвет нахмурился.

– Оставим это... – сказал он тихо, но настойчиво.

Тоффель опустил глаза и почтительно наклонил голову.

– Слушаю, – произнес он покорно. – Но дальше, дальше... Вы никогда не подумали о власти, о громадном, подавляющем господстве над людской массой, а я мог и его вам доставить... Помните, мы с вами вместе были на трибуне во время проезда государя. Я тогда следил за вами, и я видел, как остро и напряженно вы впились глазами в его лицо и фигуру. И я знаю, что на несколько секунд вы проникли в его оболочку и были им самим.

– Да, да, – прошептал Цвет. – Вы угадали.

– Я видел ваше лицо и видел, как на нем отражались попеременно выражения величия, приветливости, скуки, смертельной боязни, брезгливости, усталости и, наконец, жалости. Нет, вы не властолюбивы. Но вы и не любопытны. Отчего вы ни разу не захотели, не попытались заглянуть в ту великую книгу, где хранятся сокровенные тайны мироздания. Она открылась бы

перед вами. Вы постигли бы бесконечность времени и неизмеримость пространства, ощутили бы четвертое измерение, испытали бы смерть и воскресение, узнали бы страшные, чудесные свойства материи, скрытые от человеческого пытливого ума еще на сотни тысяч лет, – а их великое множество, и в числе их таинственный радий – лишь первый слог азбуки. Вы отвернулись от знания, прошли мимо него, как прошли мимо власти, женщины, богатства, мимо ненасытимой жажды впечатлений. И во всем этом равнодушии – ваше великое счастье, мой милый друг.

– Но у нас, – продолжал Тоффель, – осталось очень мало времени. Склонны ли вы слушаться меня? Если вы еще колеблетесь, то подымите вашу опущенную голову и всмотритесь в меня.

Иван Степанович взглянул и нежно улыбнулся. Перед ним сидел чистенький, благодушный, весь серебряный старичок с приятными, добрыми глазами мягко-табачного цвета.

– Я повинуюсь, – сказал Цвет.

– И хорошо делаете. Начертите сейчас же на бумаге «звезду Соломона». Нет, не надо ни линейки, ни транспортира, ни старания. Берите на глаз шестьдесят градусов в каждом углу. Время страшно бежит, а срок у нас короткий... Ну вот, хоть так... Теперь проставьте буквы. В середине знак Сатаны. Его озмеет печать Соломона. Их пересекают скрещенные рога Астарота.

– Не диктуйте, я знаю, я помню, – перебил Цвет и без ошибок, скоро и точно заполнил формулу.

– Верно, – сказал Тоффель. Потом он заговорил веско, тоном приказа и немного торжественно. В его пристальных рыжих глазах, в самых зрачках, зажглись знакомые Цвету фиолетовые огни.

– Теперь слушайте меня. Сейчас вы сожжете эту бумажку, произнеся то слово, которое, черт побери, я не смею выговорить. И тогда вы будете свободны. Вы вынырнете благополучно из водоворота, куда так странно зашвырнула вас жизнь. Но раньше скажите, нет ли у вас, на самом дне душевного сундука, нет ли у вас сожаления о том великолепии, которое вас окружает? Не хотите ли унести с собою в скучную, будничную жизнь что-нибудь веселое, пряное, дорогое?

– Нет.

– Значит, только кокарду?

– Только.

– Тогда позвольте мне принести вам свою сердечную признательность. – Тоффель встал и совсем без иронии, низко, по-старомодному, поклонился Цвету. – Вы весь – прелесть. Своим щедрым отказом вы ставите меня в положение должника, но такого вечного должника, который даже в бесконечности не сможет уплатить вам. Вашим одним словом – «только» – вы освобождаете меня от плена, в котором находился больше тридцати веков. Уверяю вас, что за время нашего непродолжительного, полутораминутного знакомства вы мне чрезвычайно понравились. Добрый вы, смешной и чистый человек. И пусть вас хранит тот, кого никто не называет. Вы готовы? Не боитесь?

– Немного трушу, но... говорите.

Тоффель воспламенил карманную зажигалку и протянул ее Цвету.

– Когда загорится, скажите формулу.

– Однако подождите, – остановил его Цвет. – А это... новое заклинание... Не повлечет ли оно за собою какого-нибудь нового для меня горя? Не превратит ли оно меня в какое-нибудь животное или, может быть, вдруг опять лишит меня дара памяти или слова? Я не боюсь, но хочу знать наверно.

– Нет, – твердо ответил Тоффель. – Клянусь печатью. Ни вреда, ни боли, ни разочарования.

«Звезда Соломона»; вспыхнула. «Афро-Аместигон», – прошептал Цвет. И догорающий клочок бумаги еще не успел догореть, как перед глазами Цвета стало происходить то явление, которое он раньше видел неоднократно в кинематографе, во время сквозной смены картин.

Все в кабинете начало так же обесцвечиваться, бледнеть в водянистом, мелькающем дрожании, утончаться, исчезать – все: портьеры у дверей, ковры, оконные занавески, мебель, обои. И в то же время сквозь них, издали, приближаясь и яснея, выступали венчики – зеленые с розовым, японские ширмы, знакомое окно с тюлевыми занавесками, и все с каждым миготом утверждалось в привычной милой простоте. Кто-то стучал равномерно, громко и настойчиво за стеною. Точно работал мотор.

И Цвет увидел себя, но на этот раз уже совсем взаправду, в своей давно знакомой комна-

те-гробе. В дверь давно уже кто-то стучался.

Цвет босиком отворил дверь. В комнату вошли его сослуживцы: Бутилович, Сашка Рококо, Жуков и Влас Пустынник. Они были пьяны сумбурным утренним хмелем, и это они все вместе ритмически барабанили в дверь. Они вошли, шатаясь, безобразные, лохматые, опухшие, и запели ужасным хором дурацкие, сочиненные сообща на улице куплеты:

Коллежский регистратор,
Чуть-чуть не император.
Слава, слава.

С кокардою фуражка,
Портфель, а в нем бумажка.
Слава, слава.

Жалованье получает,
Бумаги пербелиает.
Слава, слава.

Листовку пьет запоем,
Страдает геморроем.
Слава, слава.

И о числе двадцатом
Поет он благим матом.
Слава, слава!..

А Володька Жуков махал, проходясь вприпляску, номером «Правительственного вестника», в котором было четко напечатано о том, что канц. служ. Цвет Иван производится в коллежские регистраторы.

Бутилович же сказал голосом, подобным рыканию перепившегося и осипшего от рева тигра:

– Ergo¹³, с тебя литки. Выпивон и закусон. А за нами следом вся гоп-компания с отцом протодиаконом Картагеновым во главе.

– Исполнено, – ответил с радостью Цвет. – Ну, как это вы эту песню сочинили? Давайте-ка...

ХII

Рассказ окончен. Поставлена точка. Надо бы было распрощаться с героем. Но автор не считает себя вправе умолчать о нескольких незначительных мелочах, которые и наяву как будто бы свидетельствовали о некоторой правдоподобности странного сна, виденного Цветом.

Одеваясь, чтобы идти с товарищами в «Белые лебеди», Иван Степанович с удивлением нашел на своем письменном столике несколько веточек цветущей сирени, воткнутых в дешевую фарфоровую вазочку. Цветы были ранние, искусственно выгнанные, почти без запаха или, вернее, с тем слабым запахом бензина, которым пахнет всегда оранжерейная сирень. Этот сюрприз объяснился скоро и просто. Вчера племянница хозяйки, Лидочка, была дружкой на богатой свадьбе и принесла в подарок тетке из своего букета несколько кистей сирени, а та, в виде тонкой любезности, поставила цветы на стол уважаемому жильцу. Тут же, рядом с вазочкой, лежал цветочный блокнот, раскрытый посередине. Обе страницы были сплошь исчерчены все одним и тем же рисунком – шестиугольной «звездой Соломона». Чертежи были сделаны кое-как – небрежно, некрасиво, неряшливо, точно их рисовали с закрытыми глазами, или впотьмах, или спьяну. Как Цвет ни ломал себе голову, он не мог вспомнить, кто и когда исчертил его книжку. Сам он этого

¹³ И все. Следовательно (лат.).

не делал – это он знал твердо. «Может быть, кто из товарищей баловался на службе?»; – подумал он.

Несколько страннее оказался случай в «Белых лебедях», где Иван Степанович волей-неволей должен был вспрыснуть свой первый чин и великолепную фуражку с зеркалом на зеленом бархатном околыше. Опустив нечаянно пальцы левой руки в жилетный карман, Цвет нащупал в нем какой-то маленький твердый предмет.

Вытащив его наружу, он увидел квадратную пластинку из слоновой кости. На ней была красиво вырезана латинская литера 8, обведенная снаружи, по краям, тонкими серебряными линиями и закрашенная внутри блестящей черной эмалью. Цвет узнал эту вещицу. Именно такие сантиметровые пластинки с буквами видел он прошлую ночью во сне. Но каким образом она попала ему в карман, Цвет не мог этого представить.

Регент Среброструнов, сияющий, лоснящийся, курчавый и прекрасный, как елочный купидон, увидев квадратик в руке у Цвета, заинтересовался им и выпросил себе эту пустячную, изящную вещицу. «Точно нарочно для меня, – сказал он. – Первая буква моей фамилии». Цвет охотно отдал ее и сам видел, как регент положил ее в портмоне. Но когда Среброструнов через три минуты хотел опять на нее посмотреть, то в кармане ее уже не оказалось. Не нашлось ее и на полу.

Среди этих поисков Среброструнов вдруг откинулся на спинку стула, хлопнул себя ладонью по лбу и уставился вытаращенными глазами на Цвета.

– Отроче Иоанне! – воскликнул он. – А ведь я тебя нынче во сне видел! Будто бы ты сидел в самом шикарном кабинете, точно какой-нибудь министр или фон-барон, и, выражаясь репортерским языком, «утопал в вольтеровском кресле», а я будто бы тебя просил одолжить мне сто тысяч на устройство певческой капеллы... Скажи на милость – какая ерундистика привидится? А?

Цвет сконфузился, улыбнулся робко, опустил глаза и промямлил:

– Да... бывает...

Но самое глубокое и потрясающее воспоминание о диковинном сне ожидало Цвета через несколько дней, именно первого мая. Может быть, случайно, а может быть, отчасти и под влиянием своего сна, Цвет пошел в этот день на скачки. Он и раньше бывал изредка на ипподроме, но без увлечения спортом и без интереса к игре, так себе, просто ради компании. Так и теперь он равнодушно следил глазами за скачущими лошадьми, за жокеями в раздувающихся шелковых разноцветных рубашках, за пестрым оживлением нарядной толпы, переполнявшей трибуны. Во время одной скачки он вдруг почувствовал настоятельную потребность обернуться назад и, обернувшись, увидел в ложе, прямо против себя, Варвару Николаевну. Не было никакого сомнения, что это была она, та самая, которую он не мог забыть со времени своего сна и лицо которой он всегда вспоминал, оставаясь наедине, особенно по вечерам, ложась спать. Она, слегка пригнувшись к барьеру ложи, глядела на него сверху, не отрываясь, пристальными, изумленными глазами, слегка полуоткрыв рот, заметно бледнея от волнения. Цвет не выдержал ее взгляда, отвернулся, и сердце у него заколотилось сильно и с болью.

В антракте к нему подошел молодой бритый красивый офицер-морьяк и слегка притронулся к его локтю. Цвет поднял голову.

– Извините, – сказал офицер, – Вас просит на минуту зайти дама вот из той ложи. Мне поручено передать вам.

– Слушаю, – сказал Цвет.

Ноги его, как каменные, ступали по деревянным ступеням лестницы. Ему казалось, что вся публика ипподрома следит за ним. Путаясь в проходах, он с трудом нашел ложу и, войдя, неловко поклонился.

Это была она. Только она одна могла быть такой прекрасной, чистой и ясной, вся в волшебном сиянии незабытого сна. С удивительной четкостью были обрисованы все мельчайшие линии ее тонких век, ресниц и бровей, и темные ее глаза сияли оживлением, любопытством и страхом. Она показала Цвету на стул против себя и сказала, слегка краснея от замешательства:

– Извините, я вас побеспокоила. Но что-то невообразимо знакомое мне показалось в вашем лице.

– Ваше имя Варвара Николаевна? – спросил робко Цвет.

– Нет. Мое имя Анна. А вас зовут не Леонидом?

– Нет. Иваном.

– Но я вас видела, видела... Не на железной ли дороге? На станции?

– Да. Там стояли рядом два поезда. Окно в окно...

– Да. И на мне было серое пальто, вышитое вот здесь на воротнике и вдоль отворотов шелками...

– Это верно, – радостно согласился Цвет. – И белая кофточка, и белая шляпа с розовыми цветами.

– Как странно, как странно, – произнесла она медленно, не сводя с Цвета ласковых, вопрошающих глаз.

– И – помните – у меня в руках был букет сирени?

– Да, я это хорошо помню. Когда ваш поезд тронулся, вы бросили мне его в раскрытое окно.

– Да, да, да! – воскликнула она с восторгом. – А наутро...

– Наутро мы опять встретились. Вы нечаянно сели не в тот поезд и уже на ходу пересели в мой... И мы познакомились. Вы позволили мне навестить вас у себя. Я помню ваш адрес: Озерная улица, дом пятнадцать... собственный Локтева...

Она тихонько покачала головой.

– Это не то, не то. Я вас приглашала быть у нас в Москве. Я не здешняя, только вчера приехала и завтра уеду. Я впервые в этом городе... Как все это необыкновенно... С вами был еще один господин, со страшным лицом, похожий на Мефистофеля... Погодите, его фамилия...

– Тоффель!

– Нет, нет. Не то... Что-то звучное... вроде Эрио или Онтарио... не вспомню... И потом мы простились на вокзале.

– Да, – сказал шепотом Цвет, наклоняясь к ней. – Я до сих пор помню пожатие вашей руки.

Она продолжала глядеть на него внимательно, слегка наклонив голову, но в ее потухающих глазах все глубже виделись печаль и разочарование.

– Но вы не тот... – сказала она наконец с невыразимым сожалением. – Это был сон... Необыкновенный, таинственный сон... чудесный... непостижимый...

– Сон, – ответил, как эхо, Цвет.

Она закрыла узкой прелестной ладонью глаза и несколько секунд сидела неподвижно. Потом сразу, точно очнувшись, выпрямилась и протянула Цвету руку.

– Прощайте, – сказала она спокойно. – Больше не увидимся. Извините за беспокойство. – И прибавила невыразимым тоном искренней печали: – А как жаль!..

И в самом деле, Цвет больше никогда не встретил этой прекрасной женщины. Но то, что они оба, не знавшие до того никогда друг друга, в одну и ту же ночь в одни и те же секунды, видели друг друга во сне и что их сны так удивительно сошлись, – это для Цвета навсегда осталось одинаково несомненным, как и непонятным. Но это – только мелочь в бесконечно разнообразных и глубоко загадочных формах сна, жизни и смерти человека...

Сашка и Яшка

Про прошлое

I

Ника – известная непоседа. Ника – егоза и стрекоза. Ника скачет, как коза брынская. Все ей надо знать, во все сунуть свой розовый нос, особенно куда не надо. В одну минуту она задает двадцать пять вопросов и сама их разрешает с непостижимой быстротой.

Нике нет еще и десяти лет, а она уже дважды летала на аэроплане и потому на подруг смотрит с высоты шестисот метров.

– И даже совсем, ни капельки не страшно, – говорит она, – а только ужасно приятно. Точно катишься на бесшумном автомобиле по асфальту. А внизу все: дома, лошади, паровозы, деревья – как игрушки для самых маленьких детей. Ника из семьи военных летчиков Прокофьевых. Ее отец – известный инструктор; его специальность – тяжелые боевые аппараты. С огромного «фармана» № 30 он сбрасывал бомбы на немцев.

Брат Жоржик знаменит на всех аэродромах как виртуоз по высшему фигурному пилотажу: ему нет равного в изяществе и законченности петель, скольжении и штопоров. Все системы летательных машин он попробовал на личном опыте. Другой брат, Александр (Ника его зовет просто и непочтительно – Сашкой), – военно-морской летчик. Он перегнал отца по службе и, в шутку, подтягивает его. За ним числятся несколько сбитых германских машин. Он старший лейтенант, рукоятка его кортика украшена георгиевским темляком, а за последние подвиги при обороне Эзеля он непременно получит и Георгиевский офицерский крест. Ника по праву гордится своими тремя авиаторами. Даже плюшевая потертая Никина обезьянка Яшка совершила множество полетов в самой боевой обстановке, укрепленная на гаргроте Сашкиного аэроплана.

Ника щурит блестящие голубые глаза, встряхивает по-мальчишески головой и отбрасывает рукой лезущие на нос короткие волосы.

– Вот вы мне вчера про собак, про гусей и про кошек... Хотите, я вам расскажу про Сашку и про Яшку? Только уговор: если что-нибудь ошибусь, не сердиться.

– Пожалуйста, Ника, пожалуйста.

Рассказ ее прекрасен. Он жив, ярок, меток и весь в движении. Но, к сожалению, его мог бы запечатлеть только граммофон, приставленный приемником к самому рту Ники, хотя и этот способ мне кажется неудобным, потому что Ника во время рассказа вертится во все стороны. От торопливости у нее вскакивают на губах и лопаются пузыри. Она выпускает одновременно множество слов, которые несутся из ее рта стремительно и без всякого порядка, так что порою кажется, будто шестнадцатое по счету слово доходит до вас раньше четвертого. Если ее поправить в какой-нибудь технической ошибке, она – ничего, не обижается. Она охотно распишется в незнании, примет на бегу поправку и уже быстро скользит дальше, как на коньках.

По этой причине я предлагаю ее рассказ в изложении, проверенном и подкрепленном сторонними справками, давая самой Нике место лишь в известных, необходимых случаях.

II

В середине осени отряд Эзельских боевых гидропланов получил телефонное сообщение о том, что в бухте Лео замечены три германские подводки. Известие это пришло к раннему вечеру, когда уже начинало слегка темнеть. В этот момент находился в полной готовности один только аппарат, именно мичмана Прокофьева, Никиного Сашки, и потому мичман, не теряя ни секунды на праздные размышления, лишние слова, взобрался на свое место в гидроплане, посадил рядом с собою отважного механика Блинова с двумя полупудовыми бомбами и, быстро поднявшись кверху, полетел в хорошо знакомом направлении. Они безошибочно и очень скоро долетели до бухты Лео, обшарили ее самым тщательным образом, но никакого следа субмарин не оказалось. Пришлось попусту возвращаться назад, к великому неудовольствию Блинова, у которого бомба чесалась в руках.

Гидроплан приблизился к своей стоянке. Уже открылся Церельский маяк. Огонь сигнального костра, нарочно разведенного на берегу, увеличивался с каждой секундой. Около него стали заметны маленькие, черные, копошащиеся фигуры людей.

Мичман Прокофьев управлял аппаратом одною рукою, а другую выставил за борт гондолы и нажимал пальцем кнопку электрического фонаря, давая знать о своем возвращении. С необычайной ловкостью удалось ему, остро снизив гидроплан, спуститься на воду. Блинов даже заметил, что «так хорошо, пожалуй, и днем не сядем». И вдруг случилась катастрофа. Одна из бомб взорвалась. Судить о причине этого взрыва можно только предположительно. Вероятнее всего следующее: еще не достигнув бухты Лео, Блинов, охваченный нетерпением, начал вывинчивать в одной из бомб предохранитель и, вывинтив, держал эту бомбу в руках, готовый бросить ее по первому знаку, между тем как другая бомба лежала между его ступнями на дне гондолы. Когда, после напрасных поисков, гидроплан возвращался домой, механик вспомнил о предохранителе и стал его водворять на прежнее место, зажав бомбу коленями. Бомба имела грушевидную форму. Очевидно, она как-нибудь скользнула и упала на другую бомбу. Замечательно, что эта вторая бомба не взорвалась от детонации. Гидроплан был весь исковеркан. Блинова разорвало буквально на куски. Мичман спасся каким-то чудом.

III

Прокофьев рассказывал потом, что в этот момент он не слышал взрыва и не видел пламенного столба. Он только почувствовал, что какая-то дьявольская сила выхватила его из сиденья, взметнула на воздухе и швырнула в море. Ему удалось выбраться на поверхность с большим трудом. Долго мичман не мог отдышаться и все отплевывал горькую воду, наполнившую ему рот, горло и нос. Инстинктивно он ухватился за какой-то плававший обломок разрушенного крыла... Он вынырнул спиной к костру и не сразу сообразил это. Всего лишь за пять минут назад перед его глазами горели знакомые огни, все приближаясь и вырастая, – теперь же ничего не было, кроме черного, зловещего, вздыбленного моря, плеска мрачных волн и полного одиночества. И он крикнул к темному беззвездному небу:

– Господи! Как ужасно!

Потом он несколько раз зывал в пустое безбрежное пространство:

– Помогите! Помогите!

Но силы покидали его, голос хрипнул и слабел. Он не мог себе представить, что произошло с аппаратом. Не наскочили ли они на камень? И куда девался Блинов? И где же, наконец, огни маяка и костра?

Потом его поразило то, что он совсем не чувствует правой ногой свою левую ногу, как ни старается к ней прикоснуться. Но вскоре он случайно нащупал ее рукою. Она всплыла вся изуродованная, переломанная и болталась почти на поверхности, вслед за движением тела, колеблемого волнами. И в ту секунду он услышал торопливое пыхтение подходящего катера. Это был миг яркого сознания и глубокой радости. Вслед за ним наступил упадок и сонное оцепенение. Прокофьев почти не сознавал, что с ним было дальше: как его вытаскивали из воды в катер, как довели до берега, как делали первую перевязку и как везли восемьдесят верст до Аренсбурга в автомобиле, доверху набитом сеном. Смутно он помнил, что где-то какой-то врач, при свете лампы, обстригал ему ножницами обнаженные, торчавшие наружу из разорванного мяса косточки отрезанных на ноге пальцев и спрашивал: «Не больно ли?» А он отвечал, стиснув зубы: «Нет, не больно, но кончайте, кончайте скорее...»

Из Аренсбурга его отправили на пароходе в Ревель, а оттуда дали знать по телеграфу отцу, в Петербург.

– Папа сидел на диване, а мама сидела тут же рядом, – рассказывает Ника. – Вдруг принесли телеграмму. Папа распечатал, прочитал и схватился за затылок. Протянул ее маме: «Вот, прочти. Нога сломана в двух местах. Оторвана ступня... Надо ехать в Ревель».

Они поехали втроем.

Из игрушек Нике позволили взять с собою только одну, самую любимую, с которой ей расстаться было уж никак невозможно: обезьянку, мохнатую, плюшевую, с премилой выразительной мордочкой.

– Может быть, она немного развлечет Сашу, – сказала Ника, укутывая обезьянку одеяльцем.

IV

Мичману Прокофьеву было, пожалуй, не до развлечений. Длинный и неудобный путь, большая потеря крови, мучительные перевязки, бессонница – все это истомило и обессилило его.

– Был он такой худой, худой и бледный, бледный, как мертвец, – тонким жалобным голоском говорит Ника, – а губы были белые-пребелые.

Глядя на него, отец не мог удержать слез. Заплакал и сам мичман, прошептав еле слышно:

– Неужели мне больше не летать?..

Подумать только: он жалел не о своей молодой, полной всяческих прелестей и великих надежд, прекрасной жизни, не о грозившем ему ужасе непоправимого калечества... Нет, точно каменная плита, угнетала его одна лишь мысль о том, что судьба отняла у него не выразимую словами радость смелых взлетов вверх, сквозь облака, в чистую лазурь, к сияющему солнцу, когда победный рокот мотора сливается с гордым биением сердца.

Да, в этих слезах вылилась настоящая свободная душа человека-птицы! Но, как ни странно, плюшевая обезьянка Яшка в самом деле развлекла Прокофьева и вызвала на его бледные губы улыбку, когда он, усадив ее к себе на грудь, погладил нежную шерстку и уморительную мор-

дочку. В нем, разбитом, обескровленном, хранился скрытый глубоко внутри большой запас крепкой, цепкой, неистощимой энергии жизни.

– Когда мы собрались уходить, Сашка пристал ко мне: «Оставь, пожалуйста, Никишка, обезьянку у меня ночевать. Ну, что тебе стоит?» Мне, конечно, было жалко, но он так просил, что я не могла отказать и оставила. А на другой день опять выпросил. А потом еще и еще. Такой попрошайка. Говорит: «Если бы ты знала, Ника, какой Яшка милый. По ночам мне не спится, все болит, а он сидит со мною рядышком и утешает меня, уговаривает потерпеть. Оставь мне его еще на денек». Так Яшка к нему и совсем привык, и остался у него навсегда, и домой не хотел после ехать. Ходил с Сашкой на перевязки и даже на операции.

Мичману отняли ногу немного пониже колена. Доктор не ручался за исход операции – больной был чересчур слаб. Но стойкая, живучая натура вынесла. После операции, сделанной в Кронштадте, Прокофьев перевезли в Петербург, в лазарет адмирала Григоровича, где он стал с каждым днем быстро и заметно поправляться. Там, совсем для него неожиданно, в палату к нему привезли и положили приятного соседа – родного брата Жоржика. Так же, как и месяц назад, получил отец летчика телеграмму с гатчинского аэродрома;

«Подпоручик Георгий Прокофьев упал; перелом обеих ног».

И теперь уже пришлось отцу, матери и Нике ехать зараз к двум больным.

– Жоржик был скучный, все нянчил свою закутанную ногу, – говорит Ника. – А Сашка ничего – точно это и не ему ногу отрезали. Смеялся и пел под гитару веселые стишки. Свои собственные, на мотив «Маргариты».

А Прокофьев о ноге не тужит,

С деревяшкой родине послужит...

А между кроватями, очень важно, сидел на стуле Яшка. Преважный. Меня он и не узнал даже. У него тоже одна нога была забинтована. Так, за компанию с Сашкой и Жоржиком.

V

Мичману Прокофьеву сделали искусственную ногу. В долгие дни, пока он к ней приучался, все его мысли и разговоры (а вероятно, и сны и молитвы) были сплошь полны тревожным вопросом: сможет ли он послужить родине с деревяшкой или не сможет? Оказалось, смог.

Надо только представить себе его буйную радость, когда ранним свежим июньским утром он отделился от земли и свободно поплыл ввысь, и аэроплан, как и прежде, с чуткой готовностью был послушен тонким движениям его пальцев, а рыже-бурый Яшка, прикрепленный к гаргроту на носу лодки, надменно глядел в небо, растопырив руки и ноги и вызывающе завернув голову вбок и назад. «Знай наших!»

С той поры Никин Сашка и храбрая обезьяна Яшка стали неразлучны. Надо сказать, что у большинства летунов есть свои талисманы, фетиши и амулеты. Французские авиаторы, например, носят на цепочке серебряные или золотые жетончики с изображением пророка Елисея. Другие хранят у себя на груди ладанку, в которую зашит псалом девяностый «Живый в помощи вышнего». У капитана Казакова, сбившего шестнадцать немецких аппаратов, всегда был укреплен на носу гондолы образ Николая-чудотворца. Иные не расстаются в полетах с фетишами, вроде плюшевых мишек, мопсов и слонов. Мичман Прокофьев вдвойне дорожил Яшкой: и как амулетом, и как памятью о козе-егозе-стрекозе, о быстроногой, востроглазой, розовоносой Нике. Он, как и все летающие воины, бросал бомбы, производил разведки, вступал в воздушный бой с немецкими аэропланами, и Яшка на своем месте взирал в лицо смерти с наглым, вызывающим высокомерием.

Так-то они вдвоем раз и приняли участие в воздушном бое, который длился около двух часов. Один из четырех сбитых вражеских аэропланов был снижен Прокофьевым вместе с лейтенантом Дитериксом и остался спорным. Но слава победы над другим досталась ему целиком. После долгих воздушных хитростей Прокофьев зашел в хвост мощному немецкому «альбатросу» и, приблизившись к нему на жутко близкое расстояние, стал буквально поливать его из пулемета. Мичман ясно видел (и никогда этого зрелища потом не забыл), как германский летчик судорожно возился над своим пулеметом, но пулемет, что называется, «заело», и он ничем не мог заставить его вновь работать. Мотор немца начал заикаться перебоями, аппарат накренился и стал снижаться. Вспыхнул огонь. Прокофьев видел, как немец сначала с отчаянием схватился

за голову, а потом повернул к русскому летчику искаженное яростью, багровое лицо, бешено затряс над головою огромными кулаками и выкрикнул, страшно выкатив глаза, злобное ругательство. И вместе с пылающим аэропланом полетел, кувыркаясь, вниз, с высоты двух тысяч метров, и упал в море.

VI

Вернувшись на стоянку, Никин Сашка, легко раненный в руку, пересчитал пробоины в своем аппарате. Их оказалось, шрапнельных и пулеметных, около тридцати. На его счастье, ни одна пуля и ни один осколок не угодили в более жизненные места летающей лодки.

Прокофьев за этот бой получил чин лейтенанта и золотое оружие. А Ника говорит с гордостью:

– Мой Сашка и мой Яшка, оба получили по «Георгию». У Сашки белый крест на кортике, а у Яшки георгиевская медаль на груди. Так и в приказе было напечатано.

– Полно, Ника. Неужели в приказе?

– Ну, я не знаю, наверное. Но, во всяком случае, оба имеют по «Георгию». Впрочем, поглядите сами...

Она лезет в самую свою сокровенную шкатулочку и достает оттуда раскрашенную фотографию. Действительно, с карточки смотрит открытое, худощавое лицо двадцатидвухлетнего лейтенанта Прокофьева, у которого рука в косынке. И тут же развалился плюшевый, потрепанный боями, немного удивленный, но не потерявший высокомерия, растарашенный Яшка. У него рука забинтована, а на груди в самом деле красуется огромная картонная золоченая медаль на полосатой ленточке.

– Правда твоя, Ника, правда. Прости. Когда у Сашки нога была в повязке, была и у Яшки нога забинтована. А также и руки. И когда Сашку поливали пулеметным огнем, поливали и Яшку. И если у Сашки теперь золотое оружие, как же и Яшке не щеголять с черно-оранжевой ленточкой?

Вот Никин рассказ и окончен. Остается прибавить, что одноногий лейтенант Прокофьев успел сбить еще два германских аэроплана в Моонзундском наступлении. Он был свидетелем того, как немцы бомбардировали Церельские укрепления четырнадцатидюймовыми снарядами. Когда от своего начальства он получил приказание улететь с отрядом истребителей в Ревель, то церельские артиллеристы взмолились:

– Оставайтесь, пожалуйста, лейтенант. Он без вас совсем нас заключает.

Прокофьев ответил:

– Я прежде всего солдат и слепо повинуюсь приказанию. Снеситесь по радио.

Они снеслись и получили такой ответ: «Лейтенант может остаться, но это зависит только от его желания».

Он остался, и оставался до тех пор, пока ангары и жилые двухэтажные постройки на аэродроме не превратились в жалкие кучи мусора под действием чудовищных немецких семидесятипудовых снарядов. Тогда лишь он приказал своему отряду сняться и лететь в Ревель, а сам улетел последним, попав в перекрестный огонь, в котором был контужен.

Германцы хорошо его знали. Их пленники-летчики с почтением произносили его имя и называли имена аппаратов, которые он снизил. Конечно, они слыхали и о Яшке. Да, впрочем, у каждого из них был свой фетиш.

Все это я вспомнил, рассматривая на днях давнишние фотографии. Десять – двенадцать лет прошло от того времени, а кажется – сто или двести. Кажется, никогда этого и не было: ни славной армии, ни чудесных солдат, ни офицеров-героев, ни милой, беспечной, уютной, доброй русской жизни... Был сон... Листки старого альбома дрожат в моей руке, когда я их переворачиваю...

Пегие лошади

Апокриф

Николай-угодник был родом грек из Мир Ликийских. Но грешная, добрая, немудреная Русь так освоила его прекрасный и кроткий образ, что стал извека Никола милостивый ее любимым святителем и ходатаем. Придав его душевному лицу свои собственные уютные черты, она сложила о нем множество легенд, чудесных в их наивном простосердечии. Вот – одна.

Ходил, ходил однажды батюшка Николай-угодник по всей русской земле, по городам, по деревням, сквозь леса дремучие, через болота непролазные, путями окольными, дорожками просельными, в дождь и снег, в холод и зной... Всегда у нас ему много дела: умягчить сердце жестокого правителя, обличить судью несправедливого, построжить жадного не в меру торговца, выволить из сырой тюрьмы невинно заключенного, испросить помилование приговоренному к напрасной смерти, подать помощь утопающему, ободрить отчаянного, утешить вдову, пристроить сироту к добрым людям...

Народ наш – темный народ, слабый, неученый. Весь он грехом оброс, как старый придорожный камень грязью и мхом. Куда ему обратиться в тяжелой беде, в болезни, в прискорбный покаянный час, когда глаза сквозь стены видят? К господу – далеко и страшно. Заступницу небесную можно ли тревожить мужицкой коростой? Другие святители и преподобные – каждый по своей части. Некогда им. А Никола – он свой, небрезгливый, простой, скоропоспешный и для всех доступный. Недаром к нему не только православные прибегают с просьбишками, но и всякие другие народы: и мордва, и зыряне, и вотяки, и черемисы-идолопоклонники. Даже татары – и те его чтут. Воры и конокрады – на что уж люди отпеты, а и те осмеливаются ему досаждать краткой молитвой.

Так-то вот ходил и ходил угодник Николай по древней широкой Руси... Только вдруг является к нему небесный вестник.

– Забрался ты, святитель, в такую трущобину, что сыскать тебя мудрено, и все свои церковные дела ты запустил. А между тем беда идет неминуемая. Восстал на православие злой Арий-Великанище. Книги святоотческие наземь мечет. Хулит святые таинства. Похваляется громко, что в неделю православия стану-де я, Арий-Великанище, посреди Никитского собора и при всем народе истинную веру навеки ниспровергну... Поспеш же, батюшка Никола, на выручку. На тебя одного надежда.

– Поеду, – молвил святитель.

– Да не медли, родной. Времени совсем чуть-чуть осталось, а путь, сам знаешь, какой долгий.

– Сегодня же поеду. Сейчас. Улетай с миром...

Был у святителя один знакомый стоешник, по имени Василий, человек жизни благочестивой, но по своему делу первый знаток: такого другого протяжного ямщика было не найти. К нему и зашел во двор угодник.

– Облекайся, Василий. Пой коней. Едем. Не спросил Василий – далеко ли. Знал, что если дело поблизости, то Никола милостивый пешком бы пошел, потому что очень жалел лошадей. Говорит:

– Слушаю, отец. Посиди в избе. Мигом заложу... В эту зиму снега лежали страх какие глубоченные, а дороги были еле проезжены. Запряг Василий трех лошадей гусем: впереди – лошаденка махонькая, ледащенькая, от старости вся белая, в гречке, но хитрющая и в дороге удивительно памятливая; за ней – ворона, доброезжая, однако с ленцой – кнут ей вроде овса был надобен, а в оглоблях – доморослая гнедая кобыла, смиренная и старательная, кличкой Машка.

Навалил Василий в сани с отводами ворох соломы, покрыл веретьем, подтыкал с боков и посадил святителя. А сам уселся на облучке, по-ямщицьи: одна нога в санях, а другая снаружи, чтобы, значит, на раскатах отпихиваться. Шесть вожжей у него веревочных в руках да два кнута: один – покороче, за валенок засунут, а другой, предлинный, кнутовище на руку вздето, конец далеко за санями бежит, снег вавилонами чертит.

Неказистая троечка у Василия, а другая с ней никакая не сравнится. На двух передовых лошадях хомуты с бубенцами – бубенцы в лад подобраны, – а под дугой у коренника валдайский колоколец качается, малинового звона. Такая музыка, что за пять верст слышно: честные люди едут. Со стороны поглядеть – точно вразвалку лошади бегут, а ни одному знаменитому рысаку за ними впротяжную не угнаться – духу не хватит. Белая лошаденка шею опустила, след разнюхивает, к снегу приглядывается; где дорога свертку дает, ей и вожжей не надо – сама путь верный учует.

Иной раз задремлет Василий на облучке, но и сквозь дрему одним ухом слушает. Только услышит, что разладились бубенчики с колокольчиком, мигом встрепетается. Если какая лошадь лукавит, постромок не тянет, на других работу валит, он ее сейчас же кнутом опамятует, а какая не в меру усердствует – ту вожжей попридержит, – и опять все в порядке. Бегут лошадки ровно и мерно, как заведенные, только уши назад торчком поставили. И звенят, звенят на дальнем снежном пути бубенчики.

Встречались им порою разбойники. Вылезут из-под моста молодчики придорожные, станут поперек пути заставой:

– Стой, держи коней, ямщик. Кого везешь? Боярина богатого, купца тороватого или попа пузатого?.. Говори: смерти или живота?

А Василий им:

– Разуйте глаза-то, олухи окаянные. Али не видите, кто сидит? Поглядят разбойнички и в землю повалятся.

– Прости нас, негодяев, святитель божий. Эка мы, дураки, опростоволосились! Прости, сделай милость.

– Бог простит, – скажет Никола милостивый. – А вы бы, братцы, меньше народа кровянили... Страшный ответ вам придется давать на том свете.

– Ой, грешны, батюшка, свыше головы грешны... А ты все же, милостивец, не забывай и нас, злодеев, в своих молитвах... Мир тебе путем-дорогой.

– И вам мир на стану, разбойнички.

Так вот Василий и вез святителя много дней и ночей. Кормить останавливался у знакомых стоешников: везде у него были дружки и кумовья. Проехали уже Саратовскую губернию, проехали колонистов, подались на хохлов, а за хохлами пошли чужие земли.

А тем временем выходит Арий-Великанище из своего высокого терема, припадает ухом к сырой земле. Слушал долго, поднялся чернее тучи, слуг своих верных кличет:

– Уж вы, слуги мои, слуги верные. Учюял я издали, что Никола-чудотворец к нам из России поспешает. А везет его кесемской ямщик Василий. Приедет Николай раньше недели православия – все мы – и вы и я – пропадем пропадом, как тараканы. Делайте, слуги мои, все, что хотите и умеете, а чтобы непременно вы мне святителя на день, на два в дороге задержали. Иначе – всем вам головы отрублю и ни одного не помилую... А кто изловчится и приказ мой исполнит, того осыплю золотом и камнями самоцветными и отдам за него замуж дочь мою единственную, красавицу Ерессию. Побежали слуги – как на крыльях полетели.

Едет Василий с угодником чужими странами. Народ все пошел диковинный, несуразный, неприветливый. По-русски совсем не хотят говорить. Сами лохматые, черные, а рыла у них скобленные, и глаза исподлобья, как у волка... Остался путникам всего один переезд. Завтра к обедне будут в Никитском соборе. Остановились на ночлег в селе у какого-то тамошнего стоешника, на выезде. Суровый мужик попался, вовсе неразговорчивый и грубый.

Спросили овса для коней. «Нет овса, весь вышел». – «Ничего, Василий, – говорит Никола, – возьми-ка пустой мешок из-под сиденья да потряси над яслями». Сделал по его приказу Василий, и из мешка полилось золотым потоком тяжелое пшеничное зерно: полны кормушки насыпал.

Спросил поесть. Мужик знаками показывает: «Нет, мол, у меня для вас ничего», – «Ну что же, – говорит святитель, – на нет и суда нет. Хлеб у тебя, Василий, есть?»

– «Есть, батюшка, малая краюха, только черствый хлеб-от». – «Ничего. Мы его в воду крошим и тюри похлебаем».

Поужинали, помолились и легли. Угодник на лавке. Василий на полу. Заснул Никола тихо, как ребенок. А Василию не спится. Все у него как-то на сердце беспокойно... Среди ночи встал лошадей поглядеть. Пошел в конюшню, а оттуда бегом прибежал. Лица на нем нет, весь трясется. Перепугался. Стал будить святителя.

– Отец Николай, встань-ко на минутку, пойди со мною в конюшню, погляди, какая беда над нами стряслась...

Пошли. Отворили конюшню. А уже на дворе развиднать стало. Смотрит святитель и диву дается. Лежат лошади на земле, все как есть на части порублены: где ноги, где головы, где шеи, где тулова... Взревел Василий. Лошадки уж больно хороши были.

Говорит ему святитель ласково:

– Ничего, ничего, Василий, не ропщи, не убивайся. Этому горю пособить еще можно. Возьми-ка да составь поскорее лошадей, как они живыми были, часть к части.

Послушался Василий. Приставил головы к шеем, а шеи и ноги к туловам. Ждет – что будет.

Сотворил тогда Николай-чудотворец краткую молитву, и вдруг мигом вскочили все три лошади на ноги, здоровые, крепкие, как ни в чем не бывало, гривами трясут, играют, на овес весело гогочут. Бухнулся Василий в ноги святителю. Еще до зари выехали. Стало дорогою светать. Вдалеке уже крест на Никитской колокольне поблескивает. Только видит Николай-угодник, что Василий на облучке то налево, то направо нагнется, все как будто бы что-то на лошадях разглядывает.

– Ты что это там, Василий?

– Да вот, святой отец, все гляжу... Лошади-то мои как будто в разные масти пошли. То были ровных цветов, а теперь стали пегие, точно телята. Никак, я в темноте да впопыхах все их суставы перепутал?... Неладно это вышло, однако...

А святитель сказал:

– Не заботься и не суетись. Пусть так и будет. А ты, милый, трогай, трогай... Не опоздать бы.

И правда, чуть-чуть не опоздали. Служба в Никитском соборе уже к самой середине подходила. Вышел Арий на амвон. Огромный, как гора, в парчовой одежде, в алмазах, в двурогой золотой шапке на голове. Стал перед народом и начал «Верую» навыворот читать.

«Не верую ни в отца, ни в сына, ни в духа святого...» И так все дальше, по порядку. И только что хотел заключить: «Не аминь», – как отворилась дверь с паперти и поспешными шагами входит Николай-угодник...

Только что из саней выскочил, едва армяк дорожный успел скинуть, солома кой-где пристала к волосам, к бородке седенькой и к старенькой рясе... Приблизился святитель быстро к амвону. Нет, не ударил он Ария-Великана по щеке – это все неправда, – даже не замахнулся, а только поглядел на него гневно. Зашатался Великанище и упал бы, если бы слуги под руки не подхватили. Слов он своих пагубных окончить не успел и только промолвил:

– Выведите меня на чистый воздух. Душно здесь, и под ложечкой у меня плохо.

Вывели его из храма в соборный садик, а тут ему беда приключилась. Присел он около дерева, и треснула его утроба, и вывалились его все внутренности на землю. И помер без покаяния.

А у Василия-ямщика с той поры повелись да повелись пегие лошади. И всем давно стало известно, что у лошадей этой масти – самый долгий дух в беге, а ноги у них точно железные.

Теперь зима. Ночь. Выходили мы на дорогу, смотрели – не видать ли на снегу змеистой борозды от Васильева длинного кнута, слушали – не слышать ли бубенцов с колокольчиками? Нет. Не видать. Не слышать. Чу! Не слышно ли?

Гусеница

Не особенно давно, весною прошлого года, один мой приятель показывал мне довольно диковинную вещицу – фотографический альбом для руководства филеров по политической службе. Это была небольшого формата, но довольно толстенькая книжка, которая разворачивалась и складывалась, как гармония, с карточками на обеих сторонах – словом, нечто вроде карманного альбома видов какого-нибудь города или морского побережья. Попала она к нему очень кружным путем в те дни Февральской революции, когда громились и сжигались полицейские участки. Кажется, он перекупил ее у какого-то уличного маклака. Мы рассматривали этот альбом вместе с пожилым агрономом, специалистом по виноградарству и по филуксере. Помню, меня очень заинтересовала разница в выражении лиц снятых мужчин и женщин, и я обратил на это обстоятельство внимание своего соседа: «Поглядите, какая странность: у всех мужчин лица искажены либо страданием, либо смертельной усталостью, либо нестерпимым презрением. Очевидно, фотографировали их в охранке сейчас же после погони или борьбы. Иные, без сомнения, в момент съемки находили в себе мужество сделать умышленную гримасу, чтобы нарушить фотографическое сходство. Но вот женщины: Вера Фигнер и Засулич, обе в молодости, Екатерина Константиновна Брешковская, Коноплянникова, Спиридонова, Маня Школьник, Нина и Наташа – севастопольские героини, и еще и еще. Посмотрите, как спокойны и просты их

лица и что за прекрасное выражение в этих ясных, таких *человеческих* глазах. Чувствуешь, но не расскажешь словами. Тут и нежная доброта, тут чистота мысли, и светлая печаль, и какая-то счастливая обреченность, и великая любовь, и непоколебимая твердость решения... и – взгляните – какая мягкая, какая естественная женственность! Вот я точно вижу, что идет по улице такая женщина, чтобы убить какого-нибудь усмирителя. В сумочке у нее восьмизарядный браунинг, а мысль о неизбежности собственной смерти так уже перемолота в душе, что стала совсем привычным, второстепенным, будничным вопросом. А около лавчонки ревет пресопливый, прегрязный мальчишка, бутуз лет пяти, – потерял копейку. И вот она зашла, купила ему пару маковников, утерла замурзанную мордашку, одернула рубашонку и пошла дальше, на суровое, не женское дело, на смертный путь, на Голгофу».

Агроном закрутил винтом острие маленькой жесткой седоватой бородки и ответил задумчиво:

– Да, это так. Я в партии, собственно, не был, но много мне приходилось видеть этих славных девушек и чудесных женщин. Некоторые из них есть и в этом альбомчике. И вы верно сказали: я всегда чувствовал, что из них лучится какая-то внутренняя, неиссякаемая святая теплота. Я замечал, что бесчестный человек, лжец или трус, не выдерживал и на секунду их прозрачного и тихого взгляда. И то непередаваемое выражение любви и доброты, о котором вы говорите, я видел не только у революционеров, но также и у настоящих сестер милосердия на передовых позициях, под огнем. Оно бывает у всех русских женщин, когда ими овладевает высокая идея, и овладевает не так, как мужскую душою, частично, а поглощает целиком, без остатка, до последней мысли, до тончайшего изгиба сердца... Да, да, да... Я такое именно выражение увидел как-то в лице одной женщины, совсем обыденной, земной, тусклой женщины, когда уважение к героизму и живое, деятельное сострадание подняли, всего на минуту, ее душу к небесам. Хотите, расскажу? Это коротко.

Так вот: время действия – осень 1905 года, место – южный берег Крыма, небольшой рабочий поселок, недалеко от Севастополя. Теперь там большой приморский и виноградный курорт, а тогда это дело только еще начиналось, но все-таки было в поселке пять кофеен, гостиница, завод рыбных консервов, летний театришко, вроде сарая, трое докторов, больница, аптека, фотография, два училища, почтовое отделение, библиотека... вот, кажется, и все.

К осени все виноградные больные разъехались на север. Остались в местечке только коренные жители, греки-рыболовы, да мы – случайная малая кучка интеллигентов. Давно, еще летом, все перезнакомились и уже успели порядком надоесть друг другу, но все-таки сходились, распивали чай, шумно, безрезультатно и грубовато спорили, пережевывали вслух, как новость, содержание передовиц из либеральных газет – словом, делали все, что полагается русским передовым человеком, томящимся в собственном соусе. Исключение составлял зазимовавший в поселке писатель... Да, впрочем, какой он был писатель. По целым суткам пропадал с рыбаками в море, а вернутся они с уловом белуги – налопаются белого вина, как лошади, и ходят гурьбой, обнявшись, по набережной и орут самыми недопустимыми голосами дурацкую песню в унисон:

Ах, зачем нас забрали в солдаты,
Посылают нас на Дальний Восток?
Неужели мы в том виноваты,
Что вышли ростом на лишний вершок.

Собирались мы чаще всего у Бориса Мурузова, приват-доцента, зоолога. Был он болен чахоткой и, кажется, сам это знал и потому весь был пропитан едкой и нетерпеливой злобой. Но из нас он считался самым левым и даже, кажется, сидел когда-то на Шпалерной, и этот революционный стаж вместе с его язвительной авторитетностью во мнениях делал его как бы главою нашего случайного кружка. Все мы значились лишь в сочувствующих и негодующих, а он все-таки до известной степени мог сойти за деятеля с прошлым.

Особняком держалась его жена, Ирина Платоновна. Была она такая распрорусская женщина, бывшая институтка, но совсем простецкая баба, добрая, толстая, немного распустиха, все поселковые новости раньше всех знала. Газет никогда не читала и от наших мировых вопросов зевала самым неприкрытым образом. Муж был несправедлив к ней, срывал часто на ней свою внутреннюю тоскливую злобу, грубо осаживал при посторонних, высмеивал беспощадно... Надо

сказать правду, нехорошо это у него выходило. И все из пустяков. Скучала очень Ирина Платоновна на юге, изнывала вся, особенно когда задувал на неделю ветер монтано; места себе, бывало, не найдет, мечется по комнатам, как белый медведь в клетке. Все о севере тосковала. Раз она как-то и скажи: «А у нас, говорит, в Зарайске, крыжовник теперь поспел, большущий такой да мохнатый. Его хорошо в сиропе из вишневых листьев варить». А Борис усмехнулся, криво, одной щекой, и съехидничал: «Ты не женщина, а гусеница. Ты пяденица крыжовниковая – *abraxas grossulariata*. Вот ты кто». Зло это было сказано, что и говорить, но как-то прилипло к ней это словечко. Так заочно и звали ее Гусеницей. Конечно, в добром смысле. Кто-нибудь в разговоре вдруг скажет: «А как наша добрая Гусеница поживает?» И правда, была она самого ангельского характера. Вспоминаю я ее живо: всегда в широком капоте, с открытой жирной, белой шеей, а перед платья непременно стеарином закапан. И всегда она, с утра до вечера, теряла и искала свои ключи. «Ах, куда я мои ключи девала? Господа, не видал ли кто, куда я ключи положила?»

Но замечательно вкусно кормила. Такой кефали, жаренной на шкаре с помидорами, я нигде не ел.

Так-с. А тут пошли большие события. Началась всероссийская забастовка. Прекратились почта и телеграф, стали железные дороги. Вскоре конституцию объявили: куценькую, правда, лживенькую, но и то какие упования были! Да и все это время... я про теперешнюю революцию ничего не скажу... дело веселое. Но тогда, тогда!.. Сколько радости было, надежд и светлого опьянения какого-то... И сколько любви! Ах, тогда многие люди проявляли свою душу в таком масштабе, который превосходил все отпущенные человеку размеры!

Вдруг вспыхнуло восстание в черноморском флоте. Шмидтовские дни... Потом расстрел «Очакова». Канонада и до нас доносилась, даром что мы в тридцати верстах жили. По морю гулко звук идет, а дни стояли безветренные. А на другой день после «Очакова» Борис спешно послал за мной и за другими. Мы собрались к нему. Сам Муру зов был злой, взлохмаченный, нахмуренный, то молчит, то по комнате быстро ходит. А на диване сидит незнакомая девушка, вернее сказать, девочка, тоненькая, хрупкая, с детским милым личиком, но в глазах, в душе этих больших серых глаз, – именно та глубокая человеческая красота, и ласка, и чистота, все, о чем вы вот сейчас говорили по поводу альбома. Борис на нее рукой ткнул: «Это товарищ Тоня. Она вот все расскажет. А это мои приятели, люди порядочные, на них можно положиться».

Она нам и рассказала все, что в Севастополе произошло на этих днях и вчера. О том, как матросы заняли караулы в городе, как Шмидт поднял флаг на «Очакове», как он объезжал корабли с адмиральского борта, как с ним от страшного переутомления случился припадок и как Чухнин приказал обстрелять крейсер «Очаков». Говорила она сжато, деловито, сухо и каждое словечко отчеканивала, как строгая учительница, объясняющая детям задачу, но глаза блестели, точно звезды. Многие матросы, по ее словам, сгорели заживо, другие пробовали спастись вплавь на своих тюфяках и на кругах, но этих у берега расстреливали солдаты из пулеметов или прикалывали штыками. Иные потонули, не смогли долго держаться – вода была чересчур холодна. Но часть матросов все-таки спаслась на другой берег, и теперь десятеро из них здесь, неподалеку, спрятались в балке, в кустарнике. Надо во что бы то ни стало достать им денег и вольную одежду. Паспорта уже есть. А главное, дать им несколько часов передохнуть в безопасности после тех ужасов, которые они пережили за эту ночь. «И затем скройте их на несколько дней, расseyте где-нибудь по окрестным имениям и виноградникам. Думайте, думайте! Шевелите головами, товарищи. Помните, что каждому из этих самоотверженных людей грозит наверняка смертная казнь, если они попадутся в руки жандармов. Я все оставляю на вас, Борис, а сама сейчас же еду дальше. Мне сегодня дела выше головы».

И уехала. Ах, какая умница она была, какая прелесть, какая отреченная от себя, какая повелительная. Другая ее партийная кличка была «Конфетка». Я бы ее назвал революционной Жанной д'Арк.

Она уехала. И тут Борис Мурузов вдруг скис и смяк, царство ему небесное, и довольно противно это у него вышло. Говорил о том, что он давно уже потерял с партией связь, что партия, собственно, не имела права взваливать на него ответственных поручений, что он вовсе не уверен в полномочиях товарища Тони, которую видел в первый раз, и пошел, и пошел. Но как на него великолепно прикрикнула Ирина Платоновна!..

– Трус, не прячься за угол, – твою тень видно! Люди всю ночь в студеной воде дрогли, не спали, не ели, каждую секунду смерть перед глазами видели, а ты про полномочия! У них петля

на шею накинута, а ты разводы разводишь. Не можешь — не надо, тебя никто не осудит, ты человек больной. Но молчи, ради бога, молчи и не стыди ты меня!

Ну и принялась же она за дело. Кипяток! В какой-нибудь час обегала всех интеллигентов и выжала, выкрутила из них все, что только возможно по части денег, обуви и одежды. Некоторые упирались: «Да я и так сколько передавал на эти сборы и подписки. Да я человек семейный и не имею права рисковать жизнью жены и детей». Старая песня. Но она вцеплялась в них, как такса в ухо кабана. «А вольнодумствовать любите? А кукиш в кармане кажете? А тиранов проклинаете в тряпочку? А «Вставай, подымайся» напеваете шепотком? Ну вот вам, поднялся народ, встал. Чего еще хотите? Так и помогайте ему. От вас жизни никто не требует, а только старых брюк и немного денег из бабушкина чулка». Потом она удивительно ловко распорядилась доставкой одежды матросам, залегшим в кустистой балке. Переодетые, они входили в поселок по одному, а мы сидели и стояли на перекрестках, как маяки, и незаметным кивком головы указывали, куда поворачивать. Трех она направила в больницу, тогда, по счастью, пустовавшую, двух к фотографу, а пятерых на время приютила у себя. Рассмотрел я их хорошо. Все крепкий народ, крижистый, но очень уже они были изнурены: глаза ввалились, взгляд тяжелый, неподвижный, рты полуоткрыты и губы запеклись. И видно было, что все они мыслью, воображением еще там, в огне, в ночном море, близко-близко от смерти.

Они сидели за непокрытым столом, а мы жались вокруг, растерянные, неумелые, какие-то деревянные, неестественные и точно виноватые. Разговор никак не выходил, и было нам всем очень нудно. Да тут еще Борис с одним теоретиком марксизма начали словесный диспут на тему — кто кого главнее, эсдэки или эсеры, и кому из них человечество обязано Черноморским восстанием, — глупый спор, вязкий, ребяческий, а в той обстановке и вовсе нелепый. А матросы сидят, и молчат, и дышат с трудом, как загнанные волки. Но тут, спасибо, выручил вот этот самый, что называл себя писателем. Явился, черт его знает откуда, весь в рыбьей чешуе, но с водкой, с колбасой, с таранью и с жареной камбалой. И грубый какой! «Нечего, говорит, вам здесь петрушку валять. Ну-ка, ребяташки, тяпнем после трудов праведных». Кто-то было захотел возмутиться: «Позорно в дни таких великих событий думать о пьянстве». Но если бы вы только видели, как они накнулись на еду и с каким наслаждением пили водку. И Ирина Платоновна, когда вернулась, очень благодарила писателя за находчивость. Все они, я заметил, дрожали от холода и от переутомления. А на одного белобрысого паренька мне прямо жутко было смотреть. Он был такой узколобый, с мутными глупыми глазами, с огромным расстоянием между носом и ртом. Чувствовалось в его лице что-то напряженное до последней степени, какая-то обморочная бледность души. Казалось, вот-вот вскочит он из-за стола, выбежит на улицу и заорет: «Вяжите, берите меня, братцы, только не рубите мне буйную головушку!» Но выпил водки, поел и отошел. И лицо людское стало.

А Ирина Платоновна заехала только на секундочку, посидела, поглядела и опять заторопилась по делам. Наняла единственного в поселке пароконного извозчика и объездила на нем соседние хутора, где интеллигенты занимались виноградом и фруктами. Я уж не знаю, как она там молила, просила и требовала, но добилась обещаний взять где двух, где трех, где четырех поденных пришлых рабочих на плантаж и на перекопку яблонь. Все ей удавалось в этот день. Да, вероятно, это так всегда и бывает: когда человека обуяла и точно электричеством его переполнила великая, самоотверженная мысль, то его невольно слушаются и люди, и животные, и собития. Не правда ли?

Самое трудное было вывести матросов ночью из поселка, который весь, как бутылка к горлышку, сужался к шоссе. В самом переезде всегда по ночам торчал городской Федор, человек подозрительный и, по слухам, служивший в тайной политической полиции, а через тридцать шагов, справа от шоссе, находился дом пристава Цемко. Но опять помог писатель. Он сказал: «Я разрешу все самым простым способом. Я заволоку Федора в низок к македонцу, спрошу побольше вина и усажу его с Колей Констанди играть в домино. Верьте мне, что до конца смены он не оторвется. А сам пойду к приставу и буду всю ночь слушать его вранье, как он был на Кавказе джигитом. Он, дурак, думает, что я все это в газетах опишу. И то, что я обещаю, верно, как в прописи».

Ирина Платоновна и я проводили свою партию, четырех матросов, довольно далеко, верст за восемь. Мы остановились тогда, когда в рассвете можно было разглядеть крыши хутора «Василь-дере» и слышать лай тамошних собак. Заря всходила над степью. Было холодно. Трава

обындевела и торчала белой жесткой щетиной.

Ирина Платоновна одного за другим, молча, перекрестила всех четырех. И они молчали, обнажая стриженные головы. Я сбоку глядел на нее. Как помолодело и похорошело ее лицо, освещенное розовым мягким светом, сколько в нем было того интимно прекрасного, глубоко человеческого, за что единственно можно и должно любить человека и нельзя не любить. А главное, все, что она сделала, ей ровно ничего не стоило. Это истекало из несложной и радостной потребности ее теплой русской души. Вот вам и пяденица крыжовничная!

И, замечательно, никто не проболтался об этом дне и об этой ночи. Хитрые, проницательные греки, зоркие рыболовы, правда, что-то знали, о чем-то догадывались, но не лезли ни с расспросами, ни с намеками. Да ведь матрос рыбаку – брат. Одно море их просолило.

Позднее стали показываться в поселке жандармы. Один даже переоделся матросом и, подсев на набережной к Юре Капитанаки, завел с ним тонкий, ухищренный разговор. Он-де матрос с «Очакова», тонул при расстреле, спасся чудом и вот теперь разыскивает дорогих товарищей... Но тот с презрительным спокойствием поглядел ему в глаза, потом постепенно перевел взгляд на грудь, на живот и на сапоги. И сказал после долгой паузы:

– Дурак. Штаны надел навыпуск, а нашпорники забыл.

Последние рыцари

Подобно тому, как прирожденный всадник связан неразрывно телом и духом со своей породистой лошадью, идущей на ирландский банкет, – был связан капитан князь Тулубеев со своим эскадроном, своим полком и со всей славной русской кавалерией. Репутация его, как прекрасного всадника и как человека чести, была уже прочно установлена. Еще будучи «зверем» в петербургской кавалерийской школе, он вызвал на дуэль одного из товарищей, остзейского барона, позволившего себе неосторожно сказать, что татарские князья годны только на то, чтобы служить в ресторанах и заниматься шурумбуромом. Дуэль состоялась. Противник Тулубеева был легко ранен в ногу, а сам Тулубеев был в наказание разжалован в солдаты, в пехотный полк.

За два года такой опалы Тулубеев, от нечего делать, отлично подготовился к экзамену для поступления в Академию генерального штаба и, после помилования, безукоризненно выдержал его. У него хватило терпения блестяще окончить оба академических курса, ибо по натуре своей был он человеком, не любившим больше всего недоделанных дел, но, получивши почетный диплом, он тотчас же запросился назад, в свой возлюбленный Липецкий драгунский полк. Напрасно милый генерал Леер, тогдашний начальник академии, всеми силами старался убедить Тулубеева не оставлять работы и службы в генеральном штабе, обещав ему высокую карьеру. Тулубеев сердечно благодарил добрейшего генерала, но отвечал постоянно:

– Кланяюсь вам земно, ваше превосходительство, и всегда буду помнить вашу науку, но что же я могу поделать с собою, если меня, как в родной дом, тянет в мой Липецкий драгунский полк с его амарантовым ментиком и коричневыми чикчирами. Вот запоют господа офицеры «Журавля» и как дойдут до нашего полка:

Кто в атаке злы, как гунны?

Это – липецки драгуны,

– так сердце и затрепещет. Кажется, если бы умел, то заплакал бы.

Явившись в полк, Тулубеев первым долгом доложил начальству о том, что он отнюдь не намерен пользоваться той привилегией молодых академиков, которая давала им право на внеочередное получение следующего чина, в ущерб всем обер-офицерам. Такие великодушные отказы бывали необыкновенной диковинностью в армии (если они вообще когда-нибудь бывали), и господа офицеры с удвоенным удовольствием оценили великодушную справедливость Тулубеева, не позволившего себе сесть на спины товарищей, и почтили его в собрании разлитым банкетом, на котором он не без юмора говорил об академии и о причинах своего ухода из нее.

– Что за черт! – говорил он. – Молодые люди тренируют себя, чтобы быть водителями планетарных армий, и ни один не умеет сесть на лошадь. Сидят на ней, как живая собака на заборе, при каждом удобном случае хватаются за луку и закапывают редьку в землю. Я их стыдил: «Как, мол, полководцу не уметь обращаться с лошадью?» А они цинично возражают: «В буду-

щих войнах не останется места ни бутафорским эффектам, ни поэзии, ни роскошным батальным картинам, ни блистательному героизму легендарных белых генералов на белых конях, ни головокружительным военным карьерам, переворачивающим целые государства вверх ногами. Тайна победы будет принадлежать изобретателям – химикам, физикам и биологам, а выигрывать войну будут полководцы с холодным расчетом и железными нервами и с той деловой спокойной жестокостью, которая не пощадит женщин и детей и не оставит побежденному даже глаз, чтобы оплакивать свое горе». И дальше говорили эти доморощенные Аттилы: «Ну-ка, подумайте хорошенько и скажите по совести: какую роль вы отведете самой отважной кавалерии в такой войне, когда эскадрилья бомбоносов способна будет в течение одной ночи разрушить в прах такой город, как Берлин или Лондон; когда разведка и командование обеспечены будут беспроволочным телеграфом; когда дивизии и корпуса будут перебрасываться на сотни верст с бешеной скоростью в колоссальных автомобилях; когда победители перестанут брать в плен сдавшихся; когда безмерные неприятельские зоны будут сплошь заражены чумой, холерой, столбняком, сапом и другими заразительными болезнями, бактерии которых годами, в ожидании войны, возвращали и расплачивали искусные бактериологи враждебного государства. Куда же при таких сверхчеловеческих условиях вы денете самую прекрасную, самую безумно отважную кавалерию?»

Дальше говорил корнет Тулубеев:

– Эти кабинетные колонновожатые, будущие русские Мольтке, любили щегольнуть фразой, говорящей о беспредельной суровости власти и о безграничности кровавых военных мер, способствующих достижению успеха. Чаще всего они цитировали замечательное изречение великого французского генерала Бюжо: «Страшно подумать о том, на что можно отважиться на войне». Оттого-то в их современную науку побеждать входили страшные железные формулы и термины: «бросить в огонь дивизию», «заткнуть дефиле корпусом», «вялое наступление такой-то армии оживить своими же пулеметами» и так далее. Очень много говорили о психологии масс, но совсем забывали психологию русского солдата, его несравненные боевые качества, его признательность за хорошее обращение, его чуткую способность к инициативе, его изумительное терпение, его милость к побежденным.

Тулубеев нередко в разговорах с академиками заводил речь о кавалерийских рейдах, об этом сухопутном корсарстве, которое требует максимальной быстроты передвижения, неустанной отваги, железного здоровья, волчьей наблюдательности и братской связи между начальниками и подчиненными. Но вопросом о рейдах кавалерийских частей никто в академии не интересовался – ни профессора, ни слушатели. В библиотеке была книга генерала Сухомлинова «Рейд Стюарта», и Тулубеев добросовестно принудил себя прочитать ее до конца и только на последней строчке убедился в том, что даже нарочно, даже назло невозможно было бы написать на такую живую и увлекательную тему такую жалкую, бледную, скучную, ничтожную книжонку. Генерал Леер, начальник академии, человек образованный, умный, обаятельный, довел до сведения Тулубеева, что лучше всего изучать рейд Стюарта можно по знаменитой книге «Война Севера с Югом», напечатанной в Америке. «Книга эта, – говорил с почтением Леер, – одна из самых крупных по размеру книг во всем мире, и в продаже ее нет, но, заручившись вескими рекомендациями, а следовательно, и доверием в Вашингтоне, можно, пожалуй, получить разрешение прочитать ее в библиотеке Белого дома». Тулубеев поблагодарил сердечно добродушного генерала, решил про себя при первых же больших деньгах поехать в Америку. Но деньги как-то сами не приходили, рассчитывать на долгий служебный отпуск после двухлетней академии было невозможно. Бравый драгун вздохнул с облегчением и вернулся навсегда назад, в свой родной и славный Липецкий драгунский полк, и зажил в нем прежней жизнью, спокойной, привычной и милой.

С прежним увлечением и с прежней точностью нес он свою службу, которая для настоящего кавалериста никогда не бывает ни скучной, ни тяжелой; но мысли о партизанской войне, о молниеносных налетах на тыл противника и об уничтожении его путей сообщения никогда не оставляли его. Состоя в обер-офицерском чине, он как бы по рукам и по ногам был связан догмами и уставами, железной традицией и непререкаемой волей прямого начальства. Но, получивши, наконец, в свое командование эскадрон, он сразу почувствовал себя легким и свободным. Принимая эскадрон, он громко и отчетливо сказал выстроенным солдатам:

– Когда Господь Бог создал весь мир и нашел его зело добрым, то вдруг почувствовал, что

чего-то в его творении не хватает. Подумал, подумал, потом взял в свои ладони воздух, велел ему сжаться и вдунул в него свое могучее дыхание. Так произошла лошадь, и потому всадник должен относиться к ней с любовью и уважением, беречь ее, холить и ласкать и разговаривать с нею, как с родным человеком. Так же почитай и всадника. Всадника можно убить заслушание, но бить его нельзя даже в шутку и никогда нельзя гадко говорить о его матери. Я сказал.

Этой немножко странной речи Тулубеев никогда больше не повторял, но она глубоко проникла в сердца. Из эскадрона быстро выветрились даже невинные подзатыльники. А затем Тулубеев немедленно принялся за постепенную тренировку своих всадников-друзей к воображаемому рейду. Он незаметно втягивал лошадей в неумолимые дальние пробеги, учил солдат тому, как надо ориентироваться по компасу, по солнцу, по мху на деревьях, по ветру. Вскоре все его всадники уже умели делать маршрутные съемки и вычерчивать ясные, отчетливые кроки.

Все эти уроки не переступали за границы устава о кавалерийской службе, но Тулубеев самовольно расширял казенные мерки. Он учил своих всадников переплывать с лошадьми через неглубокие реки, накидывать аркан на лошадь или на всадника, крепить морские узлы, подражать крику птиц для условных сигналов и т. п.

Тулубеев задолго предвидел дьявольскую войну с Германией и предчувствовал ее неслыханные, невообразимые планетарные размеры. Военная суровая дисциплина не терпит зловещих пророчеств, особенно исходящих из уст военнослужащих. Тулубеев после горькой японской войны не сомневался в близости другой, страшной и неизбежной войны, но молчал и лишь усердно обучал молодых унтер-офицеров немецкому языку и германской психологии.

Сараевское убийство пришлось как раз в тот день, когда Тулубеев в чине полковника принимал под свое начальство славный Липецкий драгунский полк.

Ему было тогда тридцать шесть лет – для природного кавалериста возраст зрелости и полного расцвета. Он был строен и мужественно красив. Жениться он никогда не собирался, твердо убежденный в том, что люди стремительных профессий – моряки, летчики и всадники – не должны обзаводиться семейным грузом. А жену и детей ему заменял полк, с которым он связался телом и душой. И родной полк отвечал ему благодарной взаимностью, читая в его глазах приказание и упрек, негодование и ласку; и когда его блистающие глаза говорили: «Ну, дети! Теперь идем на верную смерть!» – глаза офицеров и солдат весело отвечали: «Рады стараться!»

Театр войны сразу же перенесся в Россию. Тулубееву с дивизией пришлось перебраться на запад. Там он впервые услышал о неудачах ренненкамповского рейда. Он знал Ренненкампа лично, знал его безумную решимость, его пламенную храбрость, его гордое презрение к смерти, его тевтонское упорство.

Тулубеев понял причину, по которой сорвался рейд Ренненкампа. Его не поддержали вовремя и его полет затормозили те же штабные карьеристы, от которых он сам, Тулубеев, ушел в молодости. Но у Тулубеева неожиданно нашелся отважный друг, мощный покровитель и единомышленник в лице генерала Л., командовавшего знаменитой окраинной армией.

Это был тот самый Л., который однажды изумил весь военный Петербург своей независимостью и самостоятельностью. Он начал службу в одном из блестящих гвардейских полков, где вскоре обратил на себя внимание начальства отличным знанием военной науки, распорядительностью, находчивостью, представительностью и замечательным умением обращаться с солдатами. В тридцать два года он был уже в чине полковника и носил флигель-адъютантские эполеты. Но эта счастливая и завидная карьера внезапно оборвалась благодаря нелепому и глупому случаю. К роте полковника Л. был причислен младшим офицером один из юных князей, уже успевший прославиться в Питере кутежами, долгами, скандалами, дерзостью и красотой. Этот неудачный отпрыск великого дома уже не раз выслушивал от Л. сухие, корректные замечания и спокойные предупреждения, но всегда отвечал на них презрительными гримасами и шутовскими улыбками. Но однажды полковника взорвало. Князенок в это несчастное утро опоздал на строевой плац на целых три минуты. Он выходил из своей коляски тогда, когда вся рота уже стояла выровненной, как по ниточке, с ружьями у ноги. На устах молодого князя играла беззаботная, проказливая улыбка. Л. вспыхнул от гнева и во всю мочь своего здорового голоса скомандовал роте:

– Смирно, господа офицеры!

Это была уничижительная военная ирония. Так командуют только при появлении старшего начальника. Князю следовало бы тотчас же приложить руку к козырьку и громко сказать: «Ви-

новат, господин полковник». Но он явился на ротное учение прямо с оглушительного кутежа, затянувшегося до утра, и в голове у него еще бродил дурашливый непокорный хмель. Он нагло подбоченился и хриплым, петушиным голосом скомандовал:

– Вольно!

У Л. запрыгала нижняя губа и лицо побледнело.

– Долой с плаца, – приказал он громко. – Немедленно идите домой и ложитесь!

– С кем прикажете, господин полковник? – вдруг, как в бреду, спросил князь, теряя рассудок.

У Л. глаза налились кровью.

– Господин адъютант, – приказал он. – Немедленно сопроводите его высочество к командиру полка и доложите его превосходительству о зазорном, позорном и непотребном поведении его высочества во время исполнения служебных обязанностей и в присутствии всей роты.

Этот скандал не дошел до ушей посторонней публики. Офицеры дали слово хранить о нем вечное молчание и сдержали его; солдаты же в офицерские дела никогда не вмешивались. Молодой князенок оказался, в сущности, совестливым и добрым малым: он принес сердечное извинение полковнику Л. Он был переведен в другой полк и чем-то наказан высочайшими родителями. Полковнику Л. досталось крепче. Как-никак, а он все-таки грубо и неделикатно оборвал отпрыска императорской фамилии. Его отчислили от гвардии, лишили флигель-адъютантства и перевели с тем же чином в окраинную армию.

Японская война опять выдвинула его вперед и наверх. Он был в этой несчастной войне одним из тех, крайне немногих генералов, которые сохранили в сердцах и душах своих великие воинские доблести и заветы, начертанные когда-то Петром Великим, Суворовым и Скобелевым, вместе с наукою побеждать. И именно генералу Л. принадлежало горькое и злое изречение о неудачах японской войны. «Не было никакой желтой опасности, – сказал он, – а была всего лишь одна – красная опасность: едва обыкновенный человек надевал красные генеральские лампасы, как немедленно же глупел, терял память, соображение, умение обращаться с человеческой речью и обращался в надменного истукана».

Когда началась великая война, и началась при дурных ауспичиях, генерал Л. был вызван со своей окраинной армией на северо-западный фронт театра военных действий.

Удивительна была необыкновенная быстрота, с которой совершилась мобилизация в окраинных губерниях; но еще более поразила старых знатоков военного дела и молодых генштабистов прямо чудесная скорость в переброске окраинной армии через пространство во всю длину России.

Тулубеев сам наблюдал в царстве Польском, как разгружались из железнодорожных вагонов первые эшелоны окраинских полков. Еще не дожидаясь окончательной остановки поезда, солдаты, как груши из мешка, валились на перрон и мгновенно выстраивались с примкнутыми штыками, с заряженными ружьями. И что за люди! Молодец к молодцу. Рослые, здоровые, веселые, ловкие, самоуверенные, белозубые...

Пехотные солдаты-михрютки, глядя на них не без зависти, добродушно спрашивали:

– Откуда вы, такие сытые да ядреные?

И те, по-северному окая, весело отвечали:

– Да мы уж, однако, такого изделия генерала Л. Мы... А ну-ка, андола¹⁴, показывай, где тут у вас дорога к немцам. Вот мы с генералом Л. пропишем им ужотко кузькину мать!

И потом Тулубееву много раз приходилось слышать из солдатских уст имя этого генерала, произносимое с непоколебимой верой и с корявым, суровым обожанием. Несут на носилках еле живого, исковерканного разрывом бомбы солдата, и он коснеющим языком, слабым шепотом едва выговаривает: «Отца-то нашего, генерала Л., поберегите...»

Свидетельствуют в госпитале поправляющихся солдат, чтобы отобрать тех, которые еще годятся быть снова посланными на театр военных действий. Как и всегда в этих случаях, порядочное число солдат невольно старается избежать вторичной отправки в окопы и на колючую проволоку, под пулеметный огонь, и потому охает, жалуется, симулирует болезнь, немочь, сла-

¹⁴ дружки. (Прим. автора.)

босилие. Приходит очередь низенького, коренастого, скуластого солдата, глаза которого играют лукавой насмешкой.

– Снимай рубаху, – приказывает старший врач, готовый выслушать, выстукать и помять солдата.

– А на кой ляд? Эх, господин дохтур, брось ты эту хреновину. Я по своей собственной воле пойду немца догрызать. Я – генерала Л.!

Тулубеева крайне интересовало, и удивляло, и поражало то обаяние генерала Л., которое как бы обволакивало всю его армию. Он пробовал расспрашивать об этом окраинных солдат и офицеров, но получал сведения, недостаточно ясные и вовсе не поэтические.

– Строг наш генерал, дюже строг, – говорили солдаты, – но только без оранья глупого, без злобы и без злопамятности. Взгреет виноватого до белого каления и баста, квиты, гуляй на здоровье, Сенька. Но и справедлив же, вроде царя Соломона. За своего солдата, даже за самого лядашенького, любому голову оторвет. А главное – прост очень. Когда говорит с солдатами, так, ей-богу, говорит по-русски. Все до последнего словца понятно, до самой малой чуточочки. И не мелочен: никогда не обидится, если его на «ты» солдат назовет: «Ты, мол, не беспокойся, ваше превосходительство, – все честь честью будет сделано».

Вскоре Тулубееву пришлось лично познакомиться с генералом Л. При вступлении новой армии на театр военных действий началась перетасовка корпусов. Тот корпус, где служил Тулубеев, а следовательно, и славный Липецкий драгунский полк поступили в командование генерала Л.

Тот день, когда Тулубеев вместе со своим полком представлялся новому командующему армией, был для него самым серьезным и счастливым в его жизни. Широкогрудые, медведеватые солдаты окраинной армии недаром говорили о генерале Л., что он на сажень сквозь землю видит. Молодой кавалерийский полковник и суровый генерал от инфантерии, командующий армией, которого истинные патриоты и настоящие воины мечтали увидеть в роли главнокомандующего, с первых минут знакомства почувствовали симпатию и доверие друг к другу. «Этот Тулубеев молодец, умница и не ведает страха, – подумал Л., оглядывая проницательным взором с ног до головы полковника, – и у Липецкого полка прекрасная репутация. Им можно при надобности поручить самое рискованное, самое отчаянное дело, и они всегда сумеют вывернуться благополучно и задачу исполнить». А полковник мысленно сказал себе: «Вот он, тот начальник, которого искала душа моя».

Потом генерал закурил папиросу, предложил курить и Тулубееву и спросил:

– Есть в ваших жилах татарская кровь?

– Точно так, ваше превосходительство. Мы давнишние татарские князья, родом из Касимова. Мой дед первый перешел из магометанства в христианство и женился на русской.

Л. покачал головой:

– Отличный народ татары; все они честны, верны слову, опрятны, смелы, прекрасные, прирожденные всадники и первоклассные воины. А до чего проста магометанская вера. Как она удобна, практична, не обременительна и как возвышает человека. Эх, дал маху великий князь Владимир, Красное Солнышко, когда изо всех религий не остановился на магометанской! Сделай он так – и мы бы теперь... Впрочем, бросим это. Нет на свете худших занятий, чем быкать и перекобыльствовать. Не хотите ли еще папиросу?

А о мечте Тулубеева, о большом рейде поднял однажды разговор с Тулубеевым командующий армией генерал Л.

Однажды в ставку генерала Л. были собраны некоторые начальники отдельных частей. В том числе был и полковник Тулубеев. Но внезапно заседание было прервано шумом, грохотом и людским галдением, раздавшимся со двора. Все офицеры вышли из комнаты.

Оказалось, что окраинские казаки привели пленных венгерцев, а отнятое у них оружие привезли на тачанках. Изумительно было то, что вся казачья покатывалась от хохота. Смеялись и все солдаты, наполнявшие двор. Пленные тоже улыбались сконфуженно и смущенно. И странно было смотреть на то, как эти ярко расцвеченные воины, все, как один, неуклюже держались за животы.

– Что это там за водевиль? – нахмурясь, спросил сердитый генерал.

Вышел из толпы казачий урядник и стал неловко переминаться с ноги на ногу.

– А, это ты, Копылов? – узнал генерал Л. – Ну, телись, телись, в чем дело?

– Так что, ваше высокопревосходительство, ты приказал на Зеленой горке пикеты расставить, то мы и сделали оцепление с надлежащим тылом. Однако заметили на рассвете, что немцы на нашу сторону на брюхах ползут. Тут мы его потихоньку окружили и разом на него надели. Человек восемь положили на месте, а другие, однако, побросали ружья и руки вверх подняли. Просят, значит, пощады. Ну, я, конечно, сказал им на знаках, что, мол, идите за передовыми, а мы будем вас охранять сзади и с боков. Пошли. Идем. А только начало меня сомнение брать. Немцев-то, думаю, человек до тридцати будет, а нас всего четырнадцать. Да тут еще слышу: пленники-то наши начали между собою говорить: «Дыр, дыр, дыр, быр, быр, быр». Очевидно, собираются, мои голубчики, разом стрелкача дать. Ну, это уж, думаю, свинство будет. Забрал все их ружья на проезжавшую тачанку, а станичникам сказал: «Ну-ка, ребята, сейчас же отрежьте все пуговицы, какие есть у немцев на штанах. Все, какие есть на штанах и на подштанниках». Ну, станичники мигом это оборудовали, и тут уж немцы сразу бежать отдумали. Да и как побежишь, когда обеими руками надо портки изо всех сил поддерживать? Вот они, все немцы, в полной сохранности. По дороге встретили мы нашего сотника. Он говорит: «Идите с пленными до командующего, пусть на ваше изобретение полюбуется». Так что простите, пожалуйста, ваше превосходительство, что я немцев огорчил и обесславил.

Но генерал Л. и не думал гневаться. Наоборот, он взял Копылова за затылок, притянул к себе и поцеловал в лоб.

– Спасибо, станичник, – сказал он. – Благодарю тебя за смекалку и находчивость. Представлю тебя к чину хорунжего и к ордену Святой Анны. Подождем большого боя – нацеплю тебе на грудь Георгия.

В этот день генерал Л. пригласил Тулубеева к вечернему чаю. Уже стало смеркаться, и отдаленная канонада затихала. Л., долго молчавший до этой поры, вдруг медленно, точно с укоризной, покачал головой и сказал:

– Вот видели мы с вами нынче казака Копылова. Хорош? Не правда ли?

– На что лучше, ваше высокопревосходительство.

– Да вы оставьте этот хвостатый титул хоть на время простой дружеской беседы. Помилуйте, целых одиннадцать слогов! Стоя уснешь, пока их выговоришь. Есть у меня имя, данное мне при святом крещении, да еще отчество в память моего батюшки, человека совсем незнатного, но честного, правдивого и к тому же разумного патриота. Вот по ним меня и зовите. А о Копылове я потому говорил, что очень много о нем нынче думал, и не о нем одном, а обо всей русской армии и обо всем православном русском народе. Копылов, он и ловок, и догадлив, и находчив. Но ведь он – казак, а все казаки по природе – урванцы и ухорезы, к тому же прочные вольные собственники и прирожденные наездники. Но долгий опыт и внимательное наблюдение привели меня к твердому убеждению в том, что из корявой и гунявой массы мужиков-хлеборобов можно вырастить и воспитать армию, какой никогда не было и никогда не будет в мире. И это придет! Однако не скоро... Ни я, ни вы, ни наши правнуки до этого торжества России не доживем. Теперь же – что поделаешь? – будем заштопывать дыры, наделанные правящим классом и подхалимством теоретиков.

А теперь несколько слов о вашем, так страстно мечтаемом рейде. Да, мысль соблазнительная, героическая и при удаче дающая великолепные результаты. Вы думаете, я не бредил рейдом? Да еще как! С самого начала войны я настаивал на том, чтобы перенести ее в Германию, сделав, таким образом, наше положение из оборонительного наступательным и взяв, таким образом, инициативу боев в свои руки, как это делали великие русские победители в прошедшие века. В драке побеждает тот, кто первый оглушил противника сильным ударом. Это – закон. Я уже готовился броситься в отчаянный рейд со всей моей окраинной армией. У меня была нехватка в кавалерийском составе, но я посадил бы верхом на крестьянских лошадей моих непобедимых пехотинцев. Аллах акбар, как говорят мусульманские воины. Пускай бы все мы погибли до единого, но до той поры мы навели бы ужас на всю Германию своей дьявольской дерзостью и беспощадностью. А вести о наших победах стали бы чудесным допингом для русской армии и для русского народа... Но ведь вы понимаете, Тулубеев, какою огромной, безграничной властью должен обладать начальник такой сверхчеловеческой экспедиции и какую абсолютную веру должен питать к нему самый ничтожный солдатишка. Но, увы, друг мой,

героические планы и вдохновенные бои отошли в область преданий. Теперь масса давит массу, теперь шпионаж и телефон решают исход сражения. Мой рейд, прекрасно обдуманый и точно подготовленный, был вдребезги скомкан и разбит великими стратегами генерального штаба, заседающими в Петрограде и никогда не видавшими войны даже издали. Они, видите ли, закаркали, как вороны: «Будет! Достаточно! Видели мы рейд генерала Ренненкампа! Довольно нам этих доморощенных рейдов некомпетентных храбрецов...» Я еще в японскую войну громко настаивал на том, что нельзя руководить боями, сидя за тысячу верст в кабинете; что нелепо посылать на самые ответственные посты, по протекции, старых генералов, у которых песок сыпется и нет никакого военного опыта; что присутствие на войне особ императорской фамилии и самого государя ни к чему доброму не поведет. Я говорил еще, что победу, трофеи и триумф мы радостно повергнем к стопам обожаемого монарха и его высочайшей семьи, но всю черную работу дайте нам, серым солдатам... Руки у нас мозолистые, и умирать мы – мастера... Так ведь нет же! Яман, как говорят татары.

Помолчав немного, генерал Л. сказал глухим голосом:

– А главное-то ваше горе, славный кавалерист Тулубеев, заключается в том, что при нынешнем ходе войны рейд уже становится невозможным и немыслимым. Я скажу даже больше: всего через месяц, через два кавалерия начнет быстро уходить, исчезать, обращаться в пепел и в прекрасное героическое рыцарское воспоминание. Нет для нее ни размаха, ни места, ни задач. Подлая теперь пошла война, а в будущем станет и еще подлее.

Уже теперь пропал пафос войны, пропала ее поэзия и прелесть, и никогда уже не родится поэт, возвеличивающий войну, как возвеличил ее Пушкин в своей «Полтаве». Мы с вами, Тулубеев, последние рыцари.

И генерал Л. был пророчески прав. Вскоре кавалерия стала не нужна и совсем бесполезна. Самые блестящие кавалеристы переходили в пехотные армейские полки и дрались в их рядах мужественно и самоотверженно, погибая, как скромные, послушные герои. В одном из этих полков погиб и Тулубеев, смертельно раненный в блиндаже при разрыве тяжелой бомбы.

Он умирал в страшных мучениях. Полковой скромный попик едва успел его пособоровать, последние, едва слышные слова его были: «Батюшка, помолитесь за Россию и за славного генерала Л.».

Царский писарь

I

Знакомство мое с Кузьмой Ефимычем относится к тому бесконечно далекому времени, когда при устье Невы стоял не Петроград, а Петербург, когда прохожие не падали в обморок от полуденной пушки, когда извозчик от Николаевского вокзала до Новой деревни рядился не за два с полтиной, а ехал за восемь гривен, когда малая французская булка с хрустящей корочкой стоила три копейки, а десяток папирос «Мечты» – шесть, когда монументальный постовой городской был кумом, сватом и желанным гостем на пироге с вязигой у всех своих кротких подданных, когда в субботу вечером, встретясь с другом на улице, никто не стыдился признаться, что он идет от всенощной в баньку, когда арестанты в серых халатах чинили под надзором добродушных солдат мостовые, а не заседали в Конвенте и когда на Сенатской площади еще высился свергнутый впоследствии бронзовый конь, вздыбившийся под своим прекрасным и гордым всадником. Тогда на углу Фонтанки и Чернышева переулочка существовала пивная лавка, невзрачная снаружи, темноватая внутри, но бойко торговавшая «Старой Баварией», к которой бесплатно подавалось пять-шесть крошечных блюдец с заедками: пряничками, моченым горохом, сметками, строганой воблой, ржаными сухариками и микроскопическими ломтиками кобылячей колбасы. А гордостью заведения были «свежие раки», варившиеся очень вкусно, с перцем, луком, лавровым листом и громадным количеством соли и потому требовавшие к себе великого пива. Кузьма Ефимыч был там постоянным, ежедневным посетителем лет, должно быть, уже более тридцати, и хотя за пьянство не пользовался особым почетом, но если, случилось, он не приходил в свое обычное время, четверть первого, то и толстый лысый хозяин в кожаных нарукавниках, и расторопные любимовцы-услуживающие чувствовали некоторое беспо-

койство: нет-нет, а заглянут мимоходом в окно и скажут, точно про себя: – А нашего Кузьму Ефимыча что-то не видать...

И все они с каким-то облегчением, немножко покровительственно, немножко насмешливо улыбались, когда в дверях появлялся этот худой, жилистый старикан, с важной, мелкой и неторопливой походкой, с высокомерно поднятой головой, с сизым носом лепешкой и с трясущимися до первой рюмки руками. У Кузьмы Ефимыча было в пивной свое любимое, насиженное годами местечко, справа от окна, напротив стойки. На стене, на уровне его головы, через месяц после того, как меняли обои, уже обозначалось темное сальное овальное пятно от трения влево и вправо его седого затылка. Здесь он с суровой надменностью жреца принимал своих клиентов, тех маленьких людей, кому надо было подать к высоким людям деловую или просительную бумагу, изложенную в одном длинном курчавом предложении и написанную великолепнейшим почерком. У него была своего рода прочная известность. Приходила иногда в пивную какая-нибудь старушонка в допотопном шелковом салопе на лисьем меху и спрашивала хозяина:

– А где у вас здесь, батюшка, царский писарь? Ей молчаливо указывали рукой на Кузьму Ефимыча. Она подсаживалась и говорила о своих вдовьих нуждишках. Для верности руки на столе появлялась сороковка. Мальчишка отряжался в писчебумажный магазин за особой царской бумагой. «Ты смотри, Митя, там скажешь, чтобы дали не директорской бумаги и не министерской, а именно царской. Для меня, скажи, для Кузьмы Ефимыча». – «Не беспокойтесь, знаю, Кузьма Ефимыч. Не в первый раз». И бережно приносил бристолевский лист в обертке, не помяв его и не согнув, а также и новое перо № 86. Тут уже никто в пивной не смеялся. Все понимали, что дело идет серьезное. А пригубившая винца почтенная женщина заранее слезилась.

– Ты, матка, не утопай в подробностях, – говорил Кузьма Ефимыч, оседлывая нос черепаховыми очками. – Дело требует ясности и простоты. Писать прошение на высочайшее имя – это тебе не роман сочинять. Ну, так ты говоришь, что вдова зверовщика?

– Да, отец мой, вот, вот, зверовщика, зверовщика.

– Говоришь, загрыз его медведь?

– Загрыз, батюшка, загрыз. Но медведь-то здесь без внимания. Одно только слово, что зверь был, а проще теленка. Четыре года за ним покойник мой ходил. Совсем почти что ручной. Мы сами-то егеря гатчинские, при царской охоте, значит, состоим, так кого угодно спросите, хоть господина начальника охоты, хоть генерала Птицына, хоть самого корытничего Баранова, который при меделянах. Вам каждый мои слова заудостоверит. А только какой-то охаверник возьми и страви зверю бутылку винища. Правда, муж недоглядел. Как пошел к нему в яму, он его припер в дверях и не пропускает. Ну, а он...

– Короче, вдова. О чем просишь?

– Да вот, хоть бы пенсиюшку бы превеличили. Дорого теперь все стало. Курочек я держу, так овес по рублю пуд. Подумайте! Да и это не суть важно. А вот чтобы детишек на казенный счет воспитать. Нельзя ли это как-нибудь?

– Мм... Сыновья? дочери?

– Внуки, батюшка, внуки. Две девочки и мальчонка... Старшей-то девочке...

– Внуки. Так. А ну, матушка, помолчи малость. Стало быть, Завертяева Анна Архиповна? вдова зверовщика? жительствоуешь...

– Так, так, так, батюшка, вдова, вдова. Жительствоую.

– Улица? номер дома?

– Пиши: Гатчина, Пильня, Крайняя улица, дом Распопова, номер девяносто четыре, как раз против лавки купца Трескунова.

– Про лавку лишнее. Довольно. Теперь засохни на минуту. Не скворчи.

И он писал своим круглым военным писарским почерком, точно печатал, незыблемый текст прошения.

«Ваше императорское величество, всепресветлейший державнейший великий государь и самодержец всероссийский, просит вдова зверовщика гатчинской охоты Сергея Михеева Завертяева, Анна Архиповна Завертяева, к сему: Припадая к отеческим стопам твоим, обожаемый монарх, и омывая оные вдовьими слезами, всеверноподданнейше прошу...» – и так далее.

Через четверть часа бумага бывала готова, и трудно было поверить, что человеческой рукой, а не машиной вырисованы эти ровные, твердые, чистые, как подобранные жемчужины, буквы и строки. Вдова доставала носовой платок, развязывала узелок и почтительно подавала

Кузьме Ефимычу сложенную в шестьдесят четыре раза рублевку. Бумага, перо и конверт были тоже на ее счет.

– Так ты говоришь, Кузьма Ефимыч, что верное мое дело? – спрашивала старуха, тревожимая последним беспокойством.

Кузьма Ефимыч не отвечал, потому что занят был заказыванием порции любимых сосисок с хреном. За него уверенно говорил хозяин из-за своего прилавка, на котором он лежал локтями, брюхом и грудью:

– Будьте, бабушка, без сомнения. Кузьма Ефимыч как стрельнет, так в самую центру, без промаха. Воистину золотым пером человек обладает. Шутка ли сказать – царский писарь. Если бы не эта самая ихняя слабость...

– Ты там помолчи в тряпочку, – перебивал Кузьма Ефимыч, поднимая на него суровый взгляд своих прищуренных и опухших глаз. – Знай свою стойку, русский американец из Ярославской губернии. А ты, вдова, ступай себе с богом. В канцелярии у швейцара узнаешь, кому надо сунуть. И ему дашь полтинник. И нечего тебе, почтенной женщине, по пивным размножаться. Гряди, вдовица, с миром.

Да. В нем было довольно-таки много чувства собственного достоинства – в этом живом свидетеле николаевских времен, похожем на те обломки старины, которым мох, зелень и разрушение придают такой значительный вид. На людей толпы он глядел свысока, точно поверх их голов, как часто глядят на новое поколение старые знаменитости, ушедшие на покой от шума и соблазнов, но еще сохранившие их в памяти сердца.

II

Людьми пожилыми, даже не отличающимися особенно тонкой наблюдательностью, давно уже замечено, что среди современников исчезает мало-помалу простое и милое искусство вести дружескую беседу. Несомненно, что главная причина этого явления – уторопленность жизни, которая не течет, как прежде, ровной, ленивой рекой, а стремится водопадом, увлекаемая телеграфом, телефоном, поездами-экспрессами, автомобилями и аэропланами, подхлестываемая газетами, удесятренная в своей поспешности всеобщей нервностью. В литературе стал редкостью большой роман: у авторов хватает терпения только на маленькую повестушку. Четырехактная комедия разбилась на четыре миниатюры. Кинематограф в какие-нибудь два часа покажет вам войну, охоту на тигра, скачки в Дерби, ловлю трески, кровавую трагедию и уморительный до слез водевиль, а также виды Калькутты и Шпицбергена, бурю в Атлантическом океане, Альпы и Ниагару.

Устный рассказ сократился до анекдота в двадцать слов. Но, главное, совершенно пропало умение и желание слушать. Исчез куда-то прежний внимательный, но молчаливый собеседник, который раньше переживал в душе все извивы и настроения рассказа, который отражал невольно на своем лице всю мимику рассказчика и с наивной верой воплощался в каждое действующее лицо. Теперь всякий думает только о себе. Он почти не слушает, стучит пальцами и двигает ногами от нетерпения и ждет не дождется конца повествования, чтобы, перехватив изо рта последнее слово, поспешно выпалить:

– Подождите, это что! А вот со мной какой случай случился...

Про самого себя я скажу без похвальбы – да тут и хвастовство-то самое невинное, – про себя скажу, что я обладаю в значительной степени этим даром слушать с толком, с увлечением и со вкусом или, вернее, не утратил его еще со времен детства. Может быть, именно оттого-то не-словоохотливый и по-своему гордый Кузьма Ефимыч изредка расшевеливался в беседе со мною и даже снисходил до эпического монолога.

Случалось это в зимние вечера, так часов около трех-четырех. Обыкновенно в этот пустой деловой промежуток в пивной совсем не бывало посетителей, и хозяин, из экономии, еще не приказывал зажигать ламп. Но зато топилась печка, весело шипели и потрескивали дрова, а по стенам трепетно бегали, путаясь вперемежку, красные пятна от огня и длинные быстрые тени. Иногда из темноты выделялись – то короткая седая борода Кузьмы Ефимыча, похожая на розовую пену, то его блестящий прищуренный глаз, с дрожащим заревом в зрачке, то рука с пивной кружкой. Бывало уютно, празднично, мечтательно-тихо.

– Вот вы удивляетесь моему почерку, что я так его сохранил до моих Мафусаиловых лет, –

говорил Кузьма Ефимыч неторопливым, сипловатым баском. – Но удивительного ничего. Привычка. Возьмите вы, к примеру, скажем, столяра-краснодеревца, хотя бы самого старого-престарого. У него какие материалы под руками? Пемза, замша, наждачная шкурка, политура, лак, столярный клей. Средства все грязные, грубые, и руки у него от работы скрюченные, корявые, черные, в мозолях. А сдаст он заказ без малейшей фальши, без пятнышка. В стол красного дерева можно, как в зеркало, глядеться. Никакому белоручке так чисто не разделить. И если он выпьет малую толику, то сие не только не во вред, а как бы для поднятия духа. Так вот и мы, старинные писаря. Особливо царские. Мы, молодой человек, когда учились-то? С кантонистов еще, при блаженной памяти государе Николае Павловиче. Тогда, брат, учение было не нынешнему чета. Тогда тебя не особенно спрашивали, к какому ты мастерству, миленький мой, склонен, а прямо определяли пророчески, по физиогномии наружности. Этому играть в оркестре на турецком барабане, этому быть чертежником, тому петь в церковном хоре басом, другому служить фельдшером, а третьему быть писарем. И вышколивали. Семь шкур с человека спустят, а доведут до совершенства точки. Тогда во всем господствовало однообразие и равнение направо. Все равнялись: люди, лошади, будки, абвахты, студенты, фонари и улицы. Все чтобы было в линию и двух цветов – желтого и черного – императорских. Слыхали, наверно, рассказ? Делал однажды смотр Николай Павлович лейб-гвардии сводной роте, назначенной в почетный караул к германскому королю. Человек к человеку были подобраны. Все трынчики, ухорезы. Так вот подошел государь к правому флангу, пригнулся чуть-чуть и смотрит вдоль фронта. А уж, сами понимаете, каков строй: ружье в ружье, кивер в кивер, нос в нос. Усы у всех ваксой с салом начернены, сбоку поглядеть – одна черная полоса во всю длину. Посмотрел, посмотрел государь минуты с три, но потом выпрямился и изволил глубоко вздохнуть. Тут рядом, позади, находился приближенный генерал, Бенкендорф, так осмелился спросить: «Дышут, ваше императорское величество?» А государь ему с прискорбием: «Дышут, подлецы!» Вот какие, голубчик мой, истуканные времена были. Тоже и в нашем писарском искусстве. Учили нас всех писать единообразно, почерком крупным, ясным, чистым, круглым и весьма разборчивым, без всяких нажимов, хвостов и завитушек. Он и назывался особо: военно-писарское рондо, чай, видели в старинных бумагах? Красота, чистота, порядок. Полковая колонна, а не страница.

Сколько я из-за этого рондо жестокой учебы принял, так и вспомнить страшно. Сидишь, бывало, за столом вместе с товарищами и копируешь с прописи: Ангел, Бог, Век, Господь, Дитя, Елей, Жизнь... – а учитель ходит кругом и посматривает из-за плеч. Ну, бывало, не остережешься, поставишь чиновника, сиречь кляксу, или у «ща» хвостик завинтишь на манер поросычьего, а он сзади сграбастает тебя за волосы на макушке и учнет в бумагу носом тыкать: «Вот тебе рондо, вот тебе клякса, вот тебе вавилоны». Всю бумагу, бывало, собственными красными чернилами зальешь.

Зато и учитель у меня был. Орел! Всегда важнейшие бумаги на высочайшее писал. Сидоров, – может быть, слыхали? Нет? Мудреного мало. Времена давнишние. А был он человек замечательный, этот Тихон Андреич Сидоров, царство ему небесное. В некотором отношении даже историческая личность. Государь Николай Павлович, по своей сверхчеловеческой природе, был ужас какой обонятельный, то есть, я хочу сказать, до чрезвычайности чувствительный ко всяким запахам. Однажды, принимая доклады, взял он из рук министра какую-то бумагу, чтобы ее лично поближе рассмотреть, и поморщился. Спрашивает министра: «Что это ты, неужели табак нюхать начал?» У того коленки друг о дружку застучали. «Подобным делом никогда не занимался, ваше императорское величество, должно быть, писарь как-нибудь не уберегся». – «Какой такой писарь?» – «Сидоров, ваше императорское величество». – «Внушить Сидорову, чтобы вперед был осмотрительнее. А почерк у него, каналы, хорош, даром что нюхальщик».

В тот же день Сидорову внушили. Сами можете вообразить, каково было внушение: две недели человек не мог ни на табурет сесть, ни на спину лечь. Если бы не милостивое царское слово напоследок о почерке, то, может, и в живых бы Тихон Андреич не остался... Но все равно и так погиб... Запил мой учитель с этого часа, подобно змию... До лютости. С утра до вечера ходил, как дым, пьяный. Но почерка, заметьте, не утратил, даже как бы окреп в нем и ожесточился. И вот через полгода – новое чудо. В одно утро был опять наш министр с высочайшим докладом, и, должно быть, на этот раз император изволил проснуться в легком и светлом расположении духа. Был милостив и даже слегка шутив. Попался ему на глаза какой-то доклад. Он указал перстом и говорит: «Какой отличный почерк. А ведь я, говорит, даже узнал, кем писан.

Это писал мой знакомый писарь Сидоров, тот, что нюхает табак. Ну, что, угадал?» Всем известно, что Николай Павлович памятью отличался почти божеской. Но если бы даже и не отгадал... так разве цари могут ошибаться? Министр, конечно, подтвердил, но сердце у него было как ледяная сосулька. «Вдруг, думает, бумага опять табаком провоняла? Ну, думает, подожди ты у меня, расщучий сын Сидоров, угощу я тебя такой понюшкой, что твои правнуки чихать будут. По зеленой улице проведут!» А зеленая улица – это значило – сквозь строй. До смерти забивали. Однако вышло совсем наоборот. Николай Павлович улыбнулся благосклонно и промолвил: «Награждаю моего писаря...» Так и сказать изволил: *моего писаря*. «Награждаю, говорит, моего писаря Сидорова серебряной табакеркой с изображением государственного герба и с надписью: «Моему писарю». Тут пошла уже другая музыка. Все начальство, как есть, кинулось лично поздравлять Тихона Андреича, от самой мелкой сошки до директора департамента, и министр ему собственноручно табакерку царскую преподнес.

Однако недолго Сидоров на государев дар порадовался. Первое – не мог он от своего виновкушения отрешиться, а второе – сошел с ума на гордости. Требовал себе от всех рабского почтения и страшно разоврался. Под конец начал такую околесину плести, что будто и лично он с государем виделся много раз, и будто государь с ним о важных делах Российской империи советовался, и будто чай он во дворце, в царской семье, пил с ромом и с тминными крендельками. И кончил он жизнь у «Всех скорбящих».

Оно и не удивительно было маленькому существу от такой царской милости в уме помешаться. Ведь какого масштаба император был! Единым взором мог человека в соляной столб обратить, на манер жены Лота. Я вот как-то с одним старым генералом разговорился: был у него по нашему, по писарскому делу. Не из нынешних паркетных щелкунов, а старого закала генерал, боевой. Он мне и рассказал следующее. Произвели их из кадетского корпуса в первый офицерский чин, и поехал он в теткиной одноконной карете делать визиты. Известно, что вновь испеченному прапорщику море по колено, и в первые три дня веселятся они напропалую. Ну, а этот возьми да в своей карете и закури сигару – так, больше из модного шику, да еще из молодого озорства, потому что курить тогда на улице всем и каждому строжайше воспрещалось. И вот как раз около кондитерской Доминика навстречу ему Николай Павлович на паре серых. Мчится, как молния! Прямой, точно памятник! От ветра орлиные перья на каске раздуваются, пелерина по воздуху трепещет! И вдруг сквозь каретное стекло увидел прапорщика с сигарой. Только взглянул и пальцем ему погрозил.

Так генерал говорил мне: «Я, говорит, этого взгляда по самый гроб не забуду. Все я в жизни перенес: сражения, восстания, опасности, раны, смерть близких людей, но подобного ужаса ни разу не испытывал. Проснусь, говорит, иногда ночью, вспомню взор этих грозных глаз и от испуга головой под одеяло. И умирать буду – не о смерти подумаю, а об этом страшном взгляде».

Да-с. Вот внучка у меня есть – Глашенька, Глафира Денисовна, служит она в библиотеке. Так что она мне говорит, если бы вы, молодой человек, послушали! «Твой Николай был палач, говорит, коронованный убийца, душитель слова и мысли, жандарм Европы!» И пойдет, и пойдет. «Всю Россию, кричит, исполосовал розгами и залил кровью, на три века остановил страну в развитии, унизил и оподлил ее хуже всякого рабства!» Что мне ей отвечать на все эти слова? Я молчу. Умом знаю, что Глашенька права, но вот тут, в груди, в душе-то, не могу, не смею его осуждать. Как родился его рабом, так рабом и подохну. Я думаю, когда у собаки помрет строгий хозяин, то она, наверно, с умилением вспоминает, как он лупил ее плеткой, и плачет в своем собачьем сердце.

III

Кузьма Ефимыч углубляется в тень и молчит некоторое время. Потом, откашлявшись, он прихлебывает из кружки и продолжает гораздо спокойнее: – Ну вот, значит, объявили освободительный манифест. Сократили и прежний срок военной службы. Вышел я в чистую отставку и очень скоро порастерял своих прежних товарищей: кто из них умер, кто возвратился на родину, а прочие исчезли где-то в безвестности.

Нас, царских писарей, осталось очень мало, все наперечет, и с каждым годом число наше убывало. Нельзя, конечно, сказать, чтобы не нарождалось новых людей с хорошими почерками.

Но одно дело – каллиграфия, а другое – военно-писарское рондо. У молодого поколения не было той железной выучки, как у нас, не было нашего терпения, нашего опыта, нашей смелости руки, нашей чистой работы, уверенности и глазомера. Мы были сидоровской выучки, так сказать, высококой старинной марки, редкого заводского тавра. Это в департаментах знали и чувствовали. Хотя с освобождением и рухнули многие великие столпы и закатились многие яркие звезды, но нас, царских писарей, этот переворот не коснулся. А так как все мы стали вольнонаемными, то, стало быть, и пришел на нашу улицу праздник.

В канцеляриях мы были, если говорить по-нынешнему, гастролерами, вроде, например, как знаменитый ваш Шаляпин. И понимали о себе ничуть не меньше, чем он. Придешь, бывало, в министерство оборванным, в опорках, чуть-чуть хмельной, но на всю эту чиновничью мелюзгу как с высокой колокольни смотришь. Что мне в его кокарде? Их, титулярных советников и коллежских регистраторов, может быть, сто тысяч в одном Петербурге, а нас, царских писарей, во всей России шести десятков не наберется. И жалованье он получает шестнадцать целковых в месяц с копейками, а я шутя сто и полтора ста выбью. И он прикован, как пес на цепи, к своему столу, а я – свободный художник, и мое имя люди высокого звания произносят с одобрением: «Пьет, прохвост, но единственный мастер писать на высочайшее».

Но и надо сказать: того, что мы могли сделать, того уже не повторят ни теперешнее поколение, ни будущее. Мы были остатками какого-то геройского, вымирающего племени, чем-то вроде последних кавказских черкесов. Конечно, в своей области. Хотите, я вам сейчас расскажу случай, первый, который мне подвернулся на язык? Если вы днем поглядите вот в это окно, то как раз напротив, через Фонтанку, налево от Чернышева моста, увидите большое, желтое с белым, здание. В нем помещается министерство, а в министерстве был когда-то экзекутором Николай Константинович. Прежде служили подолгу. Министры и те лет по пятнадцати оставались на посту. А Николай Константинович, я полагаю, чуть ли не с самого дня постройки этого здания пребывал в нем экзекутором.

Тогда он был в своей должности замечательный, тончайший знаток дел и душ человеческих, но и величайший во всем свете ругатель. Его одного мы, царские писаря, боялись. Не брезговал он иной раз и от руки сделать внушение. Но нашей буйной братией он все-таки дорожил, знал нам цену и, когда надо, прятал нас за свою широкую спину и выгораживал из разных житейских невзгод и злоключений, коим и числа не было. И как он нашу работу понимал досконально! Бывало, поднесет бумагу плашмя на глаз к свету, точно прицелится из нее, и сразу все видит, где ножичком подчищено, где лаком притерто. И тотчас за вихор дернет или бумагой в лицо швырнет. «Переписать! – крикнет. – В другой раз за порчу царской бумаги штрафовать буду. У меня чтобы без помарок, без подчисток, без лаку и без сандараку!»

Когда приходилась в одном из нас какая-нибудь казенная надобность и одного писаря не оказывалось внизу, в швейцарской, то уж было известно, что следует только послать курьера в эту самую полпивную, где мы с вами сидим. Тут мы постоянно и заседали, занимаясь частной клиентурой. Но бывали случаи, когда мы требовались в значительном количестве, и тогда уж мы сами рыскали по всему городу в погоне друг за другом. И вытаскивали товарищей из самых значных мест. Так-то однажды, часа в два пополудни, Николай Константинович и издал устный приказ: «Собрать царских писарей елико возможно больше, хоть всех, кто еще держится на ногах, и привести их немедленно в министерство. Работа срочная и очень важная. Придется, вероятно, просидеть всю ночь. Плата тройная против обычая, не считая того, что за спешку и за аккуратность пожалуют директор и министр. И чтобы немедленно».

Чиновники уже уходили со службы, когда мы явились впятером к Николаю Константиновичу и все сравнительно в добром порядке, и за старшего у нас Гаврюшка Пантелеев, знаменитый мастер распределять на глазомер материал. Осмотрел нас экзекутор взглядом острым и испытующим и пожевал губами.

– Маловато вас, братцы. А Гаврюшка ему в ответ из модной тогдашней пьесы:

– Немного нас, но мы – славяне!

– Знаю я, – говорит, – тебя, славянин, как ты в жениной кацавейке по Александровскому рынку бегал. Ну, однако, за дело, ребята. Каждая секунда дорога. К семи часам утра поспеть надо во что бы то ни стало. Случись так, что государю угодно было весьма заинтересоваться одним вопросом по школьному делу, и он при министре выразил желание как можно скорее иметь подробную записку. А министр, по рассеянности, или по забывчивости, или просто так у

него с языка от усердия соскочило, возьми и ляпни, что, дескать, доклад уже готов. Тогда государь сказал: «Вот и прекрасно, вы всегда, граф, предупреждаете мои мысли. Пришлите мне эту бумагу завтра пораньше. Я еду на два дня в Петергоф и там на досуге ее прочитаю и сделаю свои пометки». А о записке этой ни один человек в министерстве ни сном, ни духом.

Граф, когда узнал, за волосы схватился. «Если не хотите моей и вашей гибели, то чтобы к завтраму непременно доклад был готов. Хоть чудо совершите, хоть надорвитесь и ослепните, но записка должна быть составлена!» Ну, мы, конечно, обещали ему хоть в лепешку расшибиться, но его не подвести. «Теперь наверху Филипп Филиппович с Благовещенским да юрисконсулы с правителем в четыре руки катают. Через полчаса, пожалуй, окончат. И, значит, тогда, ребятушки, вся остановка за вами. Уж вы, братцы, не выдайте, а я вас, проходимцев, как и всегда, своими заботами не оставлю. Ведь я за вас, подлецов, перед директором слово дал». Гаврюшка опять высунулся:

– Мы для вас, Николай Константинович, готовы свой живот положить. Но, не в обиду вам будь сказано, вы уж соблаговолите нам одну четвертную бутылку пожертвовать.

– Ведь облопаетесь, черти вы этакие?

– Будьте покойны. Мы свою меру знаем. Разве мы не понимаем, за какое строгое дело беремся?

– Ну ладно, – говорит, – хорошо, будь по-вашему. Только уж отсюда я вас больше не выпущу – и обижайтесь или не обижайтесь, – а я вас всех сейчас обезножу и обезглавлю.

И крикнул дежурному курьеру:

– Эй, Толкачев! Возьми-ка у царских писарей сапоги, шапки и собольи ихние шубы и спрячь под замок, а ключ мне передай. Водки же я вам сейчас пришлю.

А Гаврюшка опять:

– По вашему гениальному уму, Николай Константинович, вам бы государственным канцлером быть. А все-таки прикажите нам и закуски принести.

– Это дело. Чего же вам?

– Да так... Хлебца черного, ломтиками нарезанного, да соли покрупнее... Четверговой. А если другая закуска, то, не ровен час, пятно сделаешь на докладе.

– Молодчина, Пантелеев. Тебе бы, по твоей дальновидности, частным приставом быть.

А тем временем, пока мы так любезно промеж себя рассуждали, принесли нам и черновики. Гаврюшка, наш главный закройщик, примерил на глаз и даже при самом Николае Константиновиче свистнул. Оказалось, по его расчету, с полями страниц полтора нашего обычного почерка рондо, по тридцати страниц на брата. Тридцать страниц – пустяки, можно их и в три часа наворковать, но ведь не на высочайшее же имя! Тут на страницу клади двадцать минут, а то и двадцать пять! Это выйдет десять часов такой работы, без отъема. Жутковато нам стало. Но однако, мы свое знамя высоко держали и от такого подвига не отступили. «Часам к девяти, говорим, пожалуй, управимся».

– Братцы, нельзя ли, черти еловые, пораньше?

– Постараемся, Николай Константинович. Вы сами николаевский служака и помните, как в наше время говорили: невозможного нет. А теперь извольте идти и больше нам не мешайте.

– Иду, иду, – говорит, – только вы уж, пожалуйста, олухи мои возлюбленные, без помарок, без подчисток, без лаку, без сандараку.

Мы смеемся:

– Да у нас с собою и принадлежностей для этого нет.

– Ну и прекрасно. Эх, запер бы я и вас самих на ключ в этой комнате, как запер вашу одежду, да, чай, вы тоже люди живые. Однако без сапог далеко не уйдете.

Мы опять смеемся:

– Всяко бывает. Однако до приятного свидания, Николай Константинович. И раньше восьми с половиной просим нас не беспокоить.

Ушел он. Сейчас Гаврюшка нам черновик разметил, кому откуда докуда списывать. Изумительный он имел талант на это дело. Так в письме я был и бойчее и сноровистее его, а вот насчет разметки, – право, не мог никогда постичь, какая это у него пружина в мозгу действует. И вот засели мы за работу вплотную. Тишина была, как в церкви ночью. Только перья скрипят; нет-нет кто-нибудь бумагой зашелестит... Сальные свечи потрескивают... Да изредка то один, то другой протянет руку к сосуду – буль-буль-буль-буль-буль... Стаканчик звякнет... Хлоп! И

опять все тихо... Что вы думаете? Раньше восьми окончили. Николай Константинович, как было уговорено, заглянул к нам в половине девятого и ужаснулся. Видит, все мы пятеро спим, склонив буйные головы на стол, а на столе перед нами не одна четверть, а две, и обе пустые. Это Гаврюшка Пантелеев среди ночи, босиком, без пальтишка и без шапки, к Пяти Углом за второй посудиною стрельнул. А дело было зимою, и на улицах, по случаю мороза, костры горели. Однако взял Николай Константинович аккуратную сложенную стопку переписанных листов, поглядел ее и так и на свет своим многоопытным взглядом, и, не говоря ни слова, вышел на цыпочках, и дверь тихонько притворил, и приказал нас не будить. А в канцелярии он показывал нашу работу чиновникам и говорил со слезами на глазах:

– Вам, прекрасные молодые люди, с этакой работой и вдесятером не управиться, хоть бы вы из кожи вылезли. Оттого что у них в деле душа, а у вас только ум, да и тот цыплячий... Кузьма Ефимыч опять надолго замолкает. Потом произносит медленно и печально:

– Рассказывал я об этом случае Глашеньке, моей внучке. Ничего она не поняла. Даже рассердилась на меня. Говорит: «Мне не то страшно, что на такие пустяки люди тратили все свои жизненные силы, но меня ужасает, что они в этом полагали свое самолюбие». Так и сказала...

У него дрожит при этих словах голос, и мне кажется, что я в темноте вижу, как от обиды трясется его нижняя губа. Но уже поздно. Я слышу, как хозяин чешет пятерней под фартуком свой живот. Затем он длинно и вкусно зевает. И, наконец, голосом, еще тусклым от зевоты, говорит:

– А я тут было вздремнул под ваши веселые истории. Пора и свет пускать. Эй, Митюшка, Лаврентий, зажигайте лампы.

Кузьма Ефимыч встает, важно кивает мне головой, не спеша идет к дверям и выходит на улицу. Где он живет – никто не знает, и никто этим не интересуется. А если он перестанет ходить этак с неделю, то в пивной равнодушно скажут:

– А наш-то Кузьма Ефимыч, должно быть, помер...

Волшебный ковёр

Когда в доме накопится много старого, ненужного мусора, то хозяева хорошо, поступают, выбрасывая его вон: от него в комнатах тесно, грязно и некрасиво. Но есть люди невежественные или невнимательные, которые вместе с отслужившим ветхим хламом не щадят и милых старинных вещей, обращаются с ними грубо и небрежно, бессмысленно портят и ломают их, а искалечив, расстаются с ними равнодушно, без малейшего сожаления.

Им и в голову не придет, что когда-то, лет сто или двести тому назад, над этими почтенными древностями трудились целыми годами, с любовью и терпением, прилежные мастера, вложившие в них очень много вкуса, знания и красоты, что из поколения в поколение сотни глаз смотрели на них с удовольствием и сотни рук прикасались к ним бережно и ласково, что в их причудливых старомодных оболочках точно еще сохранились незримо тончайшие частицы давно ушедших душ.

Попробуйте только, взгляните внимательно в эти наивные памятники старины: в резные растопыренные бабушкины кресла, дедовские бисерные чубуки с аметистовыми или янтарными мундштуками, створчатые часы луковицей, нежно отзванивающие четверти и часы, если нажать пуговку; крошечные портреты, тонко нарисованные на слоновой кости; пузатенькие шкафчики, разделанные черепахой и перламутром, с выдвижной подставкой для писания и со множеством ящичков, простых и секретных; прозрачные чайные чашки, на которых густая красная позолота и наивная ручная живопись до сих пор блещут свежо и ярко; резные и чеканные табакерки, еще не утратившие внутри слабого аромата табака и фиалки; первобытные, красного дерева, клавикорды, перламутровые клавиши которых жалобно дребезжат под пальцем; книги прошлых веков в толстых тисненых золотом переплетах из сафьяна, из телячьей или свиной кожи. Приглядитесь к ним долго и почтительно, и они расскажут вам такие чудейные, затейливые, веселые и страшные истории прежних лет, каких не придумают теперешние сочинители. Для этого надо только научиться понимать и ценить их.

Да, кроме того, разве все мы не знаем еще со времен раннего нашего детства, что в давнишние годы встречались иногда, переходя из рук в руки, особенные, замечательные предметы, обладавшие самыми удивительными чудесными свойствами. Кто поручится за то, что все они

так-таки совсем навсегда ушли, исчезли из человеческой жизни? Разве мы слышали о том, какая дальнейшая и окончательная судьба постигла все эти сундуки-самолеты, семимильные сапоги, шапки-невидимки, волшебные палочки, магические кольца? Почему знать, может быть, у вас в темном и пыльном чулане никому неведомо валяется сплюснутая и позеленевшая лампа Аладдина? Может быть, та тонкая монета из вашей коллекции, на которой чеканка с обеих сторон стерлась гладко на нет, – это и есть знаменитый неразменный фармазонский рубль? Три года тому назад вы потеряли старенький, истертый губами и зубами свисток. Теперь вы совсем забыли о нем, но тогда – чего греха таить – ревели часа два подряд. Почему знать – сумеи вы в то время, хотя бы нечаянно, свистнуть надлежащим способом, и перед вами, как из-под земли, появился бы целый взвод солдат со знаменами и пушкой. Не подумайте, однако, что я хочу угощать вас сказками; вы, я знаю, вышли давно из того возраста, когда верят несбыточному. История, которая сейчас будет рассказана, хотя и не обходится без волшебства, но тем не менее она настоящая, правдивая история, что мог бы вам подтвердить и ее главный герой, если бы вы с ним познакомились. Я думаю, что и до сей поры он жив и здоров.

Родился он в Южной Америке, в Бразилии, в городе Сантос. Родители его, французские переселенцы, владевшие кофейной плантацией, были людьми состоятельными и ничего не жалели, чтобы дать своему сыну хорошее образование, что, впрочем, и не было трудно, так как мальчик отличался блестящими способностями. Правда, чрезмерная живость характера и пылкое воображение несколько мешали ему в делах холодной и точной науки. Что же до воспитания, то маленький Дюмон занимался им сам по себе, по своему вкусу и усмотрению. К двенадцати годам он плавал с неумолимостью индейца, ловко управлял парусом, ездил верхом, как гаучос, бестрепетно карабкался верхом и пешком по горным тропинкам, над пропастями, в туманной глубине которых шумели невидимые водопады. Был он также величайшим мастером в постройке и запуске самых разнообразных воздушных змеев; в этом благородном искусстве не было ему равного между сверстниками не только в Бразилии, но, пожалуй, и во всей Америке, если не во всем свете. Он умел придавать своим поднебесным игрушкам форму парящих острокрылых птиц и легких стрекоз, и когда они, полупрозрачные, блестящие, едва видимые на солнце, тянули мощными порывами из руки мальчика шнурок, его черные глаза, устремленные вверх, сверкали буйной радостью. Так он и рос, привольно и беспечно, закаляя ежедневно свое гибкое тело всевозможными упражнениями, обогащая ум и взгляд наблюдениями над роскошной тропической природой, не испытывая пока особенного влечения ни к какому искусству или ремеслу, кроме пуска змеев. Но на двенадцатом году его ожидала встреча с не совсем обыкновенным человеком, которая нечаянно толкнула его на совсем необыкновенный путь.

Однажды вечером, когда он вернулся домой с рыбной ловли, таща на веревке связку только что пойманной рыбы, ему сказали, что в патио (внутренний тенистый двор, заменяющий в испанско-бразильских постройках гостиную) находится гость, известный ученый, профессор какого-то немецкого университета. Отдав свою рыбу на кухню, мальчик вошел в патио и учтиво поклонился незнакомцу. Это был огромный, толстый человек с тоненьким женским голосом, в золотых очках, краснолицый, с мокрой блестящей лысиной, которую он поминутно вытирал пунцовым шелковым платком. Быстро блеснув стеклами очков на поклон мальчика, он продолжал, не остановившись даже на запятой, начатый рассказ и с этой секунды бесповоротно пленил впечатлительную душу юного бразильянца. Профессор изъездил весь земной шар и, кажется, знал все земные языки, живые и мертвые, культурные и дикие. Он только что приехал на пароходе из Мексики, где долгое время изучал жизнь, нравы, обычаи и язык вымирающего племени ацтеков, а теперь направлялся внутрь страны для такого же ознакомления с полудикими ботокудами и совершенно дикими буграми, чтобы впоследствии завершить свою ученую поездку на крайнем юге Америки наблюдениями над обитателями Огненной Земли.

Ученые специалисты обыкновенно бывают самыми скучными, сухими, замкнутыми и надменными людьми на свете. Этот учнейший профессор оказался прекрасным и неожиданным исключением в их среде. Он говорил охотно, живо, хотя, может быть, и чересчур громко и – главное – в высшей степени увлекательно. Он обладал удивительной способностью заставить слушателя видеть, слышать, чуть-чуть не осязать тот предмет или лицо, о котором идет речь. Это искусство не стоило ему никаких усилий: он не искал ни метких слов, ни удачных сравнений, они сами приходили к нему в голову и бежали с языка. Любую вещь, любое явление, о котором он говорил, он умел повернуть новой, неожиданной и яркой стороной, иногда забавной, иногда

трогательной, иногда ужасающей, но всегда глубокой и верной.

Через много лет молодой Дюмон пробовал читать его замечательные книги: они оказались тяжелыми и скучными даже для специалистов.

Профессор привез с собой из Европы веские рекомендательные письма, и Дюмон-старший охотно предложил ему в своем доме самое широкое гостеприимство на все те десять или двенадцать дней, которые тот рассчитывал пробыть в г. Сантосе. За это время знаменитый ученый и юный пускатель змеев, к удивлению всех окружающих, сошлись в самой тесной и крепкой дружбе. С утра до вечера они были неразлучны, бродили вместе по городу и его окрестностям, купались, ловили рыбу, мастерили новый, чудовищной величины змей, катались на парусной лодке. В характере профессора сохранилось странным образом много детской живости, а Дюмон-младший являлся для него самым внимательным в мире слушателем. Беседы их нередко бывали очень серьезные, хотя и облекались в острозанимательные формы. Большей частью они начинались с какого-нибудь необыкновенного предмета, из тех, которыми всегда были полны, карманы профессора. Так, например, однажды он извлек из своего бумажника какой-то плоский, неправильной формы кусочек не то камня, не то изделия из папье-маше вершка в три длиною, с одной стороны серо-желтый, а с другой – разрисованный в виде ровных полос и ромбов яркими и густыми красками – зеленой и красной. Протягивая эту вещь мальчику, он спросил:

– Определите, мой молодой друг, что это такое?

– Это? – спросил Дюмон, вертя в руках странный предмет. – Я думаю... камень? Штука-турка? Раскрашенная известка?

– А происхождение?

– Н-не знаю... Это что-то, мне кажется, не южноамериканское и даже, пожалуй, не европейское. Как чудесно раскрашено! Что же это?

– Это, мой молодой друг, не что иное, как пропитанный цементом толстый слой полотна. А раскрашен он был три с половиной тысячи лет тому назад, чтобы служить облицовкой стен для гробницы одного из египетских фараонов... Имя его... За именем фараона последовало описание его личности, его двора и царствования, а затем в волшебном рассказе развернулась, как достоверная история вчерашнего дня, величественная и мудрая жизнь Древнего Египта, с его войнами, религией, домашним бытом, наукою и искусствами. Точно так же профессор доставал из своих бездонных карманов какую-нибудь глиняную древнюю буро-зеленую безделушку – ручку от вазы, обломок серьги, кусочек браслета, и всегда он заставлял ее быть живой и красноречивой рассказчицей о старых-престарых временах, лицах и событиях. Для мальчика эти незабвенные часы и эти вдохновенные беседы остались навсегда самым серьезным и самым пышным воспоминанием детства.

Но дни бежали страшно быстро. Наступил последний вечер, завтра ранним утром профессору надлежало ехать на пароходе в Монтевидео. Друзья – старый и юный – сидели в чисто выбеленной комнатке младшего Дюмона; одна ее стена была красна от света плававшей зари, другая – голубела в тени; из открытого окна лился сладкий аромат апельсиновых деревьев, которые заполняли весь сад бронзовым золотом своих плодов и нежною белизною цветов, так как эти деревья цветут и плодоносят одновременно. Оба друга были молчаливы и немного грустны, немного разочарованы. Им не удался сегодня один весьма интересный для обоих план. Профессор обещал упросить родителей мальчика, чтобы они отпустили его в путешествие на Паранагву и Корепшбу, но мадам Дюмон и слышать об этом не захотела. Она в испуге замахала руками: желтая лихорадка, дикие быки и ягуары в пампасах, ночлеги на голой земле, бродячие разбойничьи племена... нет, нет, господин профессор, это вы затеяли не подумавши...

Глаза профессора, никогда не оставлявшие наблюдения, медленно блуждали по темному потолку, по голубым и розовым стенам, потом опустились к полу. Вдруг он воскликнул с удивлением:

– Какой странный у вас ковер. Давно ли он у вас и откуда?

– Право, я не знаю, – ответил равнодушно мальчик. – Кажется, он еще от бабушки моего папы. Его давно хотели выбросить, но он мне почему-то нравится, и я попросил оставить его у меня. Он ужасно старый. Посмотрите, в некоторых местах протерся насквозь.

– Но обратите внимание, – возразил восторженно профессор, – он, правда, износился до дыр, однако совсем не утратил первоначальной прелести красок. Они только смягчились от времени и стали оттого еще благороднее. Позвольте-ка поглядеть мне его поближе к свету.

Ковер был небольшой, аршина в два с половиной в длину и два в ширину. Мальчик легко поднял его с полу и, перевесив один конец на подоконник, спустил другой через спинку бамбукового стула. Профессор сверх очков водрузил на нос золотое пенсне.

– Расположение цветов, окраска и орнамент несомненно индийского стиля, – говорил он, низко склоняясь над ковром. – Это замечательно старый и несомненно редчайший по красоте экземпляр. Я бы сказал, что он кашемирского происхождения. Персидский узор мельче, однообразнее и не так смел. Ага! Здесь еще имеется что-то вроде марки или нет... Это скорее именной знак... а может быть... Подождите-ка... Какая-то парящая птица, не то орел, не то коршун. Под ним черта с завитушкой... Посох? Жезл? Скипетр?... Еще ниже буквы... Представьте себе, арабские буквы.

– Неужели арабские? – спросил, оживляясь, мальчик.

– Несомненно арабские... Странно... На кашемирском ковре не может быть этой арабской вязи. На персидском – да. Неужели я ошибся? Очень жаль, что здесь, на самом интересном месте, дыра. Я могу прочесть ясно только одно слово. Оно произносится по-арабски – тар или тара, что в переводе значит – лечу, лететь... Изумительный ковер... поразительный!.. Я совсем не удивился бы, если бы мне сказали, что ему лет триста... нет, даже четыреста, даже пятьсот... Восхитительная вещь!

На это мальчик сказал с легким поклоном:

– Если он вам действительно нравится, то позвольте его считать вашим. Вы мне этим делаете большое удовольствие. Я сейчас прикажу завернуть его, и затем как вам угодно? Возьмете ли вы его с собой, или я пошлю его вам домой в Европу.

– Нет, нет, этого совсем не нужно, – вскричал профессор. И затем, выпрямившись и сняв пенсне, он залился громким визгливым смехом. – Очень, очень благодарен, но вы с этой редкостью никогда не расставайтесь. Черт возьми! А что, если это тот самый волшебный, летающий ковер из «Тысячи и одной ночи», на котором когда-то прогуливался принц Гуссейн, а рядом с ним сидели принц Али со своей чудесной подзорной трубкой и принц Ахмед с целебным яблоком? Берегите это сокровище! Подумайте – ковер-самолет! Тара! Лечу!

– Ну вот... сказки... вы шутите, – протянул мальчик, немного задетый тем, что ему напомнили о его детском возрасте.

Профессор сразу сделался серьезным.

– Не пренебрегайте сказкой, мой молодой друг, не отворачивайтесь от нее, – сказал он торжественно. – Ведь вы и сами переживаете теперь упоительнейшую из сказок. Даже не сказку, а, пожалуй, только конец ее. А настоящая сказка была лет пять тому назад, в вашем золотом детстве, где все вокруг вас было сияющим чудом, игрой драгоценных камней на солнце, пением небесных птиц и райским благоуханием. Тогда с вами говорили звери и ангелы и вашего голоса слушались горы, воды и небо... – Он шумно вздохнул. – А все-таки мне непонятно, как это попали арабские буквы на индийский ковер?

Или арабский джинн, заказывая его кашемирскому художнику, сам нарисовал пальцем на песке магические знаки: птицу, жезл и волшебное слово?..

Профессор уехал к диким южным племенам, и мальчик точно осиротел. Но, к счастью, в этом возрасте огорчения если и не менее остры, чем у взрослых, зато они гораздо короче: иначе бы ни у одного человека не было самого дорогого в жизни – детства. Прошло время, уменьшилась горечь разлуки, а там и самый образ толстого, тонкоголового ученого стал бледнеть и уходить вдаль, и с каждым днем угасал блеск его сияющей лысины, пока не померк окончательно. Зато старый ковер сделался любимой вещью мальчика. Он как будто бы приобрел в его глазах новую, глубокую, таинственную красоту с тех пор, как ученый коснулся его своими всезнающими пальцами. И часто по вечерам сидел на нем маленький Дюмон с поджатыми под себя по-турецки ногами и глядел на закатное небо, на голубизне которого раскачивались апельсинные деревья с их жесткими, темными, блестящими листьями, пронизанными шарами плодов и осыпанными белым кружевом цветов.

Незаметно для себя он впадал постепенно в ту тихую полосу рассеянности и мечтательности, которую неизбежно переживают в его возрасте самые жизнерадостные и буйные мальчуганы. Но вот что однажды случилось.

Мальчик, по своему обыкновению, сидел на ковре, поджав ноги. Указательным пальцем он машинально обводил прихотливый узор арабских букв и, слегка покачиваясь взад и вперед,

напевал слабым печальным голоском на свой собственный мотив всякие слова, какие только приходили ему в голову:

Маленький мой коврик,
Волшебный старый ковер,
Таинственный, могучий ковер,
Создание страшного джинна,
Тара-тара-тар.
Ах, лети, лети, мой ковер,
Тара-тара-тар.
Высоко к небу, над облаками,
Высоко над землей. Тара-тара-тар.
Пусть орел машет крыльями,
Пусть расстелется ковер по воздуху,
Рукоятку мне будет жезл;
Подниму ее – полечу кверху,
Опущу – полечу книзу,
Наклонюсь направо – полечу вправо,
Наклонюсь налево – полечу влево,
Тара-тара-тар.
Люди внизу маленькие,
Как муравьи,
Дома внизу маленькие,
Как игрушки,
А я один в воздухе,
Тара-тар.
Лечу на волшебном ковре,
Тара-тара-тар.

И он не очень удивился, когда черное изображение парящей птицы вдруг пошевелилось. Правое крыло, дернувшись, стало опускаться вниз, между тем как левое подымалось вверх, и птица сделала полный оборот вокруг своей продольной оси, сначала медленно, затем другой оборот несколько быстрее, потом еще, и еще, и еще, и завертелась бесцветным жужжащим дрожащим кругом. Между тем оба конца ковра плавно сжались и расправились в виде двух твердых перепончатых крыльев, а в руке у мальчика очутилась гладкая рукоятка рычага. Он слегка потянул ее к себе, и мгновенно расступились, растаяли стены комнаты, веселый ветер бурно пахнул в лицо, и полетел волшебный ковер в опьяняющем блаженном стремительном скольжении вперед и вверх к голубому, пламенеющему небу. Мгновение, другое – и весь город оказался глубоко внизу, под ногами, очень странный с высоты, плоский и маленький. И теперь было удивительно то, что ковер уже не летел, а стоял неподвижно в воздухе, а внизу навстречу ему бежали улицы, площади, сады и окрестности; они проскальзывали далеко внизу, под ковром, и торопливо убежали назад, назад. Ветер бил прямо в глаза. Монотонно жужжала вертящаяся птица. Легко и послушен был руль в гордой руке. Чуть заметное движение рукоятки вперед – и ковер, вздрагивая, устремлялся вниз, а дальняя окрестность горой начинала расти вверх из-под него; движение назад – и все впереди застилось поднимавшимся вверх обрезом ковра. Стоило едва-едва перегнуть туловище налево, как волшебный ковер, грациозно склоняясь в ту же сторону, описывал плавную кривую налево; направо – направо. И все это несложное управление покорной птицей было так просто, так ловко и точно, что его можно было сравнить только с удовольствием плавать в спокойной и слегка прохладной воде.

Но вот уже город давно остался позади. Быстро мелькнули под ковром пестрые, полосатые заплатки огородов, темные курчавые четырехугольники кофейных плантаций, белые ниточки извилистых дорог, синие ленточки рек. Теперь направо возвышались величественные гряды мохнатых сизых гор, поросших густым лесом, а налево лежала, в извилистых очертаниях берегов, плоская желтая, голубая бухта, а в ней крошечные белые и темные мошки – парусные суда и пароходы, а еще дальше густо синело и спокойной стеной подымалось кверху море, упираясь в

легкое, ясное розово-синее небо. «Туда! К горам!» – сказал про себя Дюмон.

Ковер так резко накренился правым боком, делая крутой поворот, что у мальчика сердце точно погрузилось на мгновение в ледяную воду, когда он случайно заглянул вниз, в открывшуюся внезапно сбоку страшную глубину. Но это чувство тотчас же прошло у него, как только ковер выправился. Теперь горы шли навстречу Дюмону, вырастая вверх и раздвигаясь вширь с каждой секундой, и странно было видеть, как они на глазах подвижно меняли свои очертания. Среди их темных густых масс стали видны отдельные скалы, обрывы, расщелины, холмы, круглые зеленые полянки, тонкие серебряные нити водопадов. Можно было наконец различить верхушки деревьев.

«Выше! Еще выше!» – говорил мальчик, отдаваясь упоению быстрого лета. На один миг его обдало холодным и сырым туманом, когда ковер пронизал насквозь малое облако, зацепившееся за гребень горы, и быстрым победным лётom взмыло выше всей горной цепи над пустынным безграничным плоскогорьем, которое зеленой покатою равниной простиралось к западу. Солнце, скрытое раньше громадами гор, радостно бросило в лицо Дюмону свои золотые, смеющиеся, ласковые стрелы.

Он до тех пор подымался над горной цепью, пока она не осела глубоко вниз, не расплющилась и не обратилась в плоскость, как и весь круг горизонта, похожий теперь на ровную географическую карту. Тогда Дюмон повернул к югу, к океану, который в своей неопиcуемой величавой красоте уходил в беспредельную, необъятную даль.

И скоро никого и ничего не стало, – не стало на всем свете; было только: вверху светлого-голубое небо, внизу – черно-синий океан, а посредине – между ними – очарованный, опьяненный буйным веселым ветром мальчик. Даже и его не было, то есть не было его тела, а была только душа, охваченная молчаливым и блаженным восторгом, воистину неземным восторгом, потому что ни на одном языке никогда не найдется слов для того, чтобы его передать.

Но... где-то близко залаяла собака... раздалось шелканье бича... загремели отворяемые ворота... лошадь застучала копытами. Мальчик глубоко вздохнул. Он по-прежнему сидел в своей белой комнате на ковре, и, как раньше, трепетали за окном ровным, глянцеvitым блеском плотные листья апельсиновых деревьев. Что с ним было? Спал он или так всецело ушел в свои мечты, что позабыл на минуту о действительности? На это я не могу ответить. Это – сказка.

– Сказка? – спросят меня. – А где же приключения? Встреча с великаном? Царевна в башне? Добрая фея? Самоцветные камни? Счастливая свадьба?

На это я скромно возражу:

– Попросите когда-нибудь знакомого авиатора взять вас с собою на полет (только раньше спросите разрешение у родителей и дайте доктору прослушать ваше сердце и легкие). И вы убедитесь, что все чудеса самой чудесной из сказок – пресная и ленивая проза в сравнении с тем, что вы испытываете, свободно летя над землей.

Теперь последнее слово о Дюмоне. В конце девяностых годов девятнадцатого столетия братья Райт, американцы, заявили о своем первенстве в свободном полете на аппарате тяжелее воздуха, продержавшись над землей в течение пятидесяти девяти секунд. Но право их на первенство сомнительно, так как они, в сущности, не летали, а скользили, планировали, подобно брошенному из окна третьего этажа картонному листу. Первый настоящий полет, мы думаем, совершил все-таки несколько месяцев спустя Сантос Дюмон, очертивший на своем аэроплане «Demoiselle» изящную восьмерку между двумя парижскими вершинами – башней Эйфеля и собором Парижской богородицы.

Надо сказать, что к этому времени он окончательно забыл о волшебном ковре с арабской надписью и о своем сказочном полете. Но есть, однако, в этом удивительном аппарате, в человеческом мозгу, какие-то таинственные кладовые, в которых, независимо от нашей воли и желания, хранится бережно все, что мы когда-либо видели, слышали, читали, думали или чувствовали – все равно, было ли это во сне, в грезах или наяву.

И вот, когда Сантос Дюмон, закончив свою блестящую воздушную задачу, повернул аппарат и стал возвращаться обратно, к ангарам, то его осенила странная, тревожная, впрочем, очень многим знакомая мысль: «Но ведь все это было со мною когда-то!.. Давным, давным-давно. Но когда?»

Этот смешной и трагический анекдот почерпнут нами из редкой книжки «The book of eminent boxers» (изд. W. Stewart, London, 1843)¹⁵, которая ссылается на еще более редкую книгу Пьери Эгона, опирающегося, в свою очередь, на полуспортивные английские газеты конца XVIII столетия.

Полную фамилию лорда Томаса Б. (трижды пэра Англии, герцога за год до своей смерти в 1802 году) все три источника не оглашают, по вполне понятной причине, которая вскоре будет ясна и читателям; по той же причине и мы не называем целиком его имени. Достаточно будет сказать, что лорд В. неоднократно встречался с Вильямом Питтом, лорд-канцлером графом Турлоу и казначеем флота Дундасом; был близко знаком с Бурком, Адиссоном и Диком Стилем, четыре вечера подряд обыгрывал в карты Чарльза Фокса и однажды перепил на портвейне и шотландской виски его светлость Вильяма-Генриха герцога Кларенса, утонувшего, как известно, в бочке мальвазии. Его величественная фигура и надменное лицо увековечены Рейнольдсом на портрете, хранящемся и поныне в одной частной коллекции в Америке.

Лорд Томас Б. оставил по себе тройную память: как вельможа, очень богатый даже по тому времени, как исключительный скупец и как ярый поклонник боксерского спорта. Последнее влечение иногда перетягивало в нем даже его бережливость, вошедшую в поговорку. Газеты того времени называют его имя в связи с именами знаменитых боксеров – голландского еврея Самуэля, Крибба, Джека Рандаля, Молинэ, «Боевого Петуха», Джона Джексона и других, которым он оказывал свое довольно щедрое покровительство. Надо сказать, что тогда, в эпоху всеобщего увлечения боксом, этот жестокий вид спорта пользовался гораздо большим почетом, чем в наши дряблые времена. Высокородные лорды не стеснялись публично на пристани засучивать рукава и вступать в состязание с каким-нибудь здоровенным лодочником с Темзы или держать сюртук своего фаворита – профессионала в те минуты, когда тот дрался внутри канатного барьера.

Последним из боксеров, кого взял под свою высокую опеку лорд Б., был Сюзливан – кажется, ирландец, по происхождению, смелый и стойкий малый, замечательный как страшной силой своих ударов в схватках, так и привлекательным характером в частной жизни. Лорд Б. нашел его в очень бедственном положении, больным, полуголодным, на каком-то холодном чердаке, где он медленно оправлялся после своего громкого состязания с Чернокожим Ричмондом в Ньюкестле.

Попечения, которыми лорд Б. окружил Сюзливана, можно было бы назвать поистине отеческими, если бы к ним не примешивался дальновидный расчет, основанный на корысти и тщеславии. Дело в том, что Чернокожий Ричмонд (теперь нам неизвестно, был ли он мулат, креол или квартерон) и Сюзливан были не только двумя самыми сильными боксерами своего времени, но и давними заклятыми врагами. В спортивной публике глухо поговаривали о том, что причиной этой взаимной ненависти служила не так профессиональная ревность, как глубокая обида, нанесенная когда-то чернокожим семье ирландца. Замечательно было то, что в их неоднократных и свирепых встречах обидчик проявлял гораздо больше злобы, чем обиженный, ибо судьям приходилось нередко предотвращать со стороны Ричмонда недозволенные приемы.

Анонимный автор цитируемой нами книжки, склонный, как и все писатели XVIII столетия, к моральным рассуждениям, говорит по этому поводу: «Как часто бывает, что благодетель привязывается сердцем к благодетельствованному, и как нередко, причинив человеку зло, мы сами начинаем его за это ненавидеть».

Разыскать неизвестного боксера с большими задатками, прозреть в нем будущую звезду спорта, обеспечить ему приличное существование, дать необходимый тренинг, а потом выпустить его в свет для блестящей карьеры считалось тогда в высшем английском обществе столь же достойным и похвальным для настоящего джентльмена, как ныне считается шикарным видеть цвета своей конюшни побеждающими на скачках в Дерби и Ипсومه. Не надо также забывать и того, что во время боксерских состязаний заключались между джентльменами очень крупные пари, доходившие иногда до нескольких десятков тысяч фунтов. Чернокожий Ричмонд и Сюзливан были одинаково известны. Они встречались уже неоднократно и каждый раз жестоко избивали друг друга, но окончательное первенство между ними еще не было установлено

¹⁵ «Книга о знаменитых боксерах», изд. У. Стюарта, Лондон, 1843 (англ.).

ввиду постоянной перемены

счастья. Последняя их встреча не дала решительного результата, так как была прервана вмешательством полиции из-за скандала, поднятого публикой. Тогда многие зрители уверяли, что будто бы из боевой перчатки метиса выпала тяжелая монета времен королевы Елизаветы; впрочем, это, по мнению арбитров, доказано не было.

Знатоки, однако, уверяли, что за Ричмондом насчитывалось более шансов на звание чемпиона. Он был значительно выше ростом, чем Сюзливан, тяжелее его (если оба находились в своих лучших формах) на пятнадцать фунтов, обладал длинными руками, отличался, как все дикари, малой чувствительностью к боли и, кроме того, потая, издавал тот отвратительный, специфически негритянский запах, который действует удручающим образом на нервных борцов из белой расы. Словом, теперь понятно, до какой степени общественное внимание было привлечено к обоим боксерам и к лорду Б., взявшему под свое покровительство ирландца. Сначала Сюзливан вел спокойную и деятельную жизнь в подгородном имении лорда. Трижды в день он поглощал сочные кровавые бифштексы с небольшим количеством поджаренного хлеба и запивал их пинтою доброго двойного шотландского эля; в промежутках, переварив еду, он тренировался со своими лидерами четверть часа, полчаса и час, а для того, чтобы «открыть дыхание», пробегал ежедневно десять миль вместе со своим бультерьером Фипси; в остальное время он купался или спал.

Его молодое тело быстро восстанавливало здоровье и крепость. А главное, к Сюзливану постепенно возвращались его превосходные душевные качества: воля, уверенность и терпение, чего совсем не было в чернокожем, который был страшен в первых нападениях, но при малейшей неудаче терял спокойствие, падал духом и становился трусливым, злым и суетливым.

Сюзливан отлично учитывал как все преобладающие шансы Ричмонда, так и свои достоинства. Но, к сожалению, их взвешивал не менее точно и сам лорд Б. Дальновидный человек и расчетливый игрок – он хорошо понимал, что его ставки за Сюзливана могут окупить расходы по покровительству и принести значительный барыш только в том случае, если победа Сюзливана явится для прочих игроков полной неожиданностью. Равенство закладов с той и другой стороны уже ввело бы скупого лорда в значительные убытки. А между тем шила в мешке не утаишь, и как ни старался лорд Б. держать в секрете тренинг Сюзливана, – прекрасные шансы этого боксера не сегодня-завтра могли сделаться известны широкой публике.

И вот покровитель начал сначала осторожно, в виде намеков, указаний и дружеских советов, а потом все настойчивее и грубее торопить ирландца к состязанию. Сюзливан однажды позволил себе мягко возразить лорду:

– Подождите еще немного, сэр. Теперь я в состоянии выдержать с негром полтора часа. Дайте мне, сэр, еще несколько дней, и у меня будет достаточный запас сил для того, чтобы в последнем круге (round) раздробить Ричмонду нижнюю челюсть. Но лорд Б., подстрекаемый своей жадностью, становился с каждым днем нетерпеливее. Однажды он дошел в своей назойливости до такой степени, что дал понять Сюзливану о том, как дорого обходится его содержание. С ирландцами можно производить всякие психологические опыты. Но попрекать их хлебом никогда не следует.

Сюзливан ответил коротко:

– Сэр, я готов.

Вскоре был назначен день матча. За два дня до него оба соперника были допрошены репортерами спортивных газет. Чернокожий Ричмонд сказал:

– Вы увидите, как я быстро отправлю душу этого ирландца в ее католический рай. Сюзливан высказался значительно и не без юмора:

– У Ричмонда кулаки в полтора раза больше моих. Следовательно, при одинаковом весе перчаток каждый дюйм его кулака жестче в полтора раза. Но я предпочел бы драться с ним вовсе без перчаток.

Эта шутка, если в ней разобраться, имела характер самого смелого вызова. К стыду тогдашних спортсменов надо сказать, что они иногда допускали бокс и без перчаток, голыми руками, но такие состязания всегда вели к тяжкому калеченью и часто к смерти. Может быть, именно по этой причине Ричмонд настоял в выборе города на мягкосердечном Брайтоне, а не на Мульзее, который имелся в виду раньше и в котором судьи действительно могли разрешить этот жесточайший род бокса.

Щадя нервы читателей, я не буду переводить на русский язык описание всех двадцати четырех раундов (схваток), сделанных боксерами в день их встречи. Любителя сильных ощущений я отсылаю к прекрасному и малоизвестному рассказу Конан-Дойля «Мастер из Кроксвиля». Прочитав его, он до известной степени может представить себе, какое отвратительное и героическое, постыдное и прекрасное занятие – бокс.

Я только отмечу, что раунды были трехминутные, с минутным перерывом между ними. Боксер, упавший на пол и не поднявшийся на ноги в течение одиннадцати секунд, должен был считаться побежденным, если только эти одиннадцать секунд не переходили за конец условленного трехминутного срока.

Еще до начала состязания лорд Б. натолкнулся на неприятную неожиданность. Вопреки всем расчетам и вероятиям, вопреки здравому смыслу, игра составлялась не за Чернокожего, а за Сюлливана, в размере пяти против четырех. После первого раунда разности закладов возросли до семи против трех, после четвертого они выразились в цифрах: Сюлливан – девять, Ричмонд – два.

Лорд Б. был немного бледнее обыкновенного, но ничем не обнаруживал своего беспокойства. После пятой схватки он подозвал к себе известного маклера Моисея, отдал ему на ухо какие-то распоряжения и затем с невозмутимым видом продолжал сидеть в первом ряду, у самого каната. Время от времени он отпивал из большой кружки свой любимый пунш из рейнвейна и виски и, вынимая ложкой ломтики лимона, медленно их обсасывал.

После седьмого раунда ставки за Ричмонда неожиданно для всех стали подыматься; к пятнадцатому они даже дошли до *al pari*¹⁶. Никто не мог объяснить себе причину этого нелепого явления. Все видели, что Чернокожий Ричмонд вышел на состязание пьяным. Если его нападения и были необычайно свирепыми в первых схватках, то с двенадцатого круга он уже заметно начал сдавать¹⁷. Он весь лоснился, тяжело дышал и однажды споткнулся, но не от удара, а по собственной неловкости. Между тем Сюлливан, который до сих пор только защищался, не переходя в атаку, был свеж, бодр и дышал глубоко и спокойно, как спящий ребенок... Игра на Ричмонда так же быстро упала, как и подымалась, едва только Сюлливан начал наступление. Давно уже старые поклонники бокса не видали таких молниеносных выпадов, такой быстроты и точности движений, такого чудесного соединения расчета, отваги, гибкости и находчивости. От боковых ударов ошеломленный метис шатался между руками Сюлливана, как кулек выбиваемого тряпья; беспощадные прямые удары заставляли его отступать к самому канату, и раза три он уже обращался в бегство вокруг каната, сопровождаемый свистками и ругательствами зрителей.

Все поняли, что Чернокожий Ричмонд кончен. Теперь уже самые слепые и безрассудные игроки отказались от него. Один только маклер Моисей упрямо принимал ставки, предлагая за гинею три шиллинга, потом два и, наконец, даже один. Джентльмены смеялись ему прямо в лицо и записывали свои заклады без всякого увлечения, ради курьеза. Конец матча был ясен всем, до последнего мальчишки, продававшего морс и мятные лепешки.

Когда Ричмонд вышел на двадцать четвертый раунд, на него было жалко и забавно смотреть. Он шатался на ногах, колени у него подгибались, рот был открыт, и черномазое окровавленное лицо стало похожим на идиотскую маску. Только глубокий инстинкт опытного боксера еще держал его в стоячем положении и не давал ему упасть, а большие приемы водки в перерывах будили его угасавшее сознание.

В начале третьей минуты Сюлливан поймал метиса в мышеловку, то есть зажал его голову под свой левый локоть, притиснув ее к боку, а правой стал быстрыми и короткими ударами снизу превращать его глаза, губы, нос и щеки в одну кровавую массу. Ричмонд был весь мокрый от пота. Ему как-то удалось, втянув в себя скользкую шею и упираясь руками в тело противника, вырвать голову из этого живого кольца. Боксеры мгновенно разъединились, но разрыв этот был так силен и внезапен, что Ричмонд с размаху шлепнулся на пол в сидячем положении, а Сюлливан мелкими и частыми шажками понесся назад, спиной к барьеру. Но вдруг он как-то нелепо взмахнул руками и грузно упал на землю, на правый бок. Несколько раз он делал усилие, чтобы

¹⁶ Равного положения (итал.).

¹⁷ Автор книги и здесь приводит мудрую сентенцию: вино похоже на неверного друга, который сначала льстит, а потом предаст. (Примеч. А. И. Куприна.)

встать, подымал на руках свое туловище и опять со стоном припадал к полу.

– Четыре, пять, шесть... – считал вслух секунды один из судей.

На шестой секунде Ричмонд поднялся и стал среди площадки, покачиваясь и размазывая пот, кровь и пыль по своему страшному лицу.

–...Семь, восемь...

Сюлливан делал судорожные усилия, как раздавленный червяк, но не подымался.

–...Девять!...

– Стоп! – воскликнул второй судья, подняв вверх руку. – Три минуты. Антракт. Одна секунда спасла Сюлливана от поражения. Его секунданты бросились к нему, желая помочь ему встать на ноги. Но он одним знаком остановил их.

– У меня, кажется, сломана нога... – сказал он. – Это пустяки. Но поглядите на это... вот на это...

Один из секундантов нагнулся и поднял с досок эстрады маленькую, растоптанную боксерским башмаком, скользкую корочку от лимона.

Невольно взгляды всех зрителей обратились к лорду Б., который направлялся к выходу со своим всегдашним надменным и спокойным видом. Маклер Моисей, занятый в дальнем углу залы приемом закладов, сделал было торопливое движение, точно намереваясь подбежать к нему. Но одним движением ресниц лорд Б. приковал его к месту.

Сказка

Глубокая зимняя ночь. Метель. В доме – ни огня. Ветер воеет в трубах, сотрясает крышу, ломится в окна. Ближний лес гудит, шатаясь под вьюгой.

Никто не спит. Дети проснулись, но лежат молча, широко раскрывши глаза в темноту. Прислушиваются, вздыхают...

Откуда-то издалека, из тьмы и бури, доносится длинный жалобный крик. Прозвучал и замолк... И еще раз... И еще...

– Точно зовет кто-то, – тревожно шепчет мужчина. Никто ему не отвечает.

– Вот опять... Слышишь?.. Как будто человек...

– Спи, – сурово говорит женщина. – Это ветер.

– Страшно ночью в лесу...

– Это только ветер. Ты разбудишь ребенка...

Но дитя вдруг подымает голову.

– Я слышу, я слышу. Он кричит: "Спасите!"

И правда: яростный ураган стихает на одно мгновение, и тогда совсем ясно, близко, точно под окном, раздается протяжный, отчаянный вопль:

– Спа-си-те!

– Мама! Может быть, на него напали разбойники?.. Может быть...

– Не болтай глупостей, – сердито прерывает мать. – Это голодный волк воеет в лесу. Вот он тебя съест, если не будешь спать.

– Спасите!

– Жалко живую душу, – говорит муж. – Если бы не испортилось мое ружье, я пошел бы...

– Лежи, дурак... Не наше дело...

В темноте шлепают туфли... Старческий кашель... Пришел из соседней комнаты дедушка. Он брюзжит злобно:

– Что вы тут бормочете? Спать не даете никому. Какой такой человек в лесу? Кто в эту погоду по лесам ходит? Все дома сидят. И вы сидите тихо и благодарите Бога, что заборы у нас высокие, запоры на воротах крепкие и во дворе злые собаки... А ты взяла бы лучше к себе дитя да сказкой бы его заняла.

Это голос черствого благоразумия.

Мать переносит в свою постель ребенка, и в тишине звучат слова монотонной, старой успокоительной сказки:

– Много лет тому назад стоял среди моря остров, и на этом острове жили большие, сильные и гордые люди. Все у них было самое дорогое и лучшее, и жизнь их была разумна и спокойна. Соседи их боялись, уважали и ненавидели, потому что они сами никого не боялись, всех

презирали, а уважали только самих себя. В жилах их текла не простая кровь, а голубая-голубая...
– Спа-си-те!
Молчание...

1920

Пёсик-Чёрный Носик

В имении Загорье, Устюженского уезда, Новгородской губернии, жила знакомая мне помещичья семья Трусовых – славная, бестолковая, дружная, простосердечная – прелестная русская дворянская семья. Всю жизнь ее можно очертить в двух-трех словах: уютный старый дом, постоянно гости, множество шумной и поголовно влюбленной молодежи на каникулах. Домашние наливки и соленья, запущенное хозяйство, трижды заложенная земля, фантастические вечерние планы: «А вдруг у нас откроются залежи каолина?», или: «Говорят, что через нас скоро пройдет железная дорога, вот тогда-то мы поправимся...»

Как и полагается, в усадьбе жила пропасть всяких животных – нужных и ненужных – не считая домашнего скота и птицы, то есть пять довольно сносных гончих, папин сеттер, несколько дворняг без должности и древний, полуслепой, полупараличный, оглохший, но все же яростно-злой Барбос на цепи; кошки кухонные, полудикие; кошки комнатные с ленточками и бантиками на шее; кролики; годовалый скандалист-медвежонок; ежи; морские свинки; свирепый и вонючий хорек в клетке; сороки и скворец – будто бы говорящие, хотя никто не слышал их разговора; ручные белки; журавль; белые мыши; отдельный ручной комнатный баловник-поросенок; отдельный козел, мастер бодать прохожих под коленки... и многое другое.

Настоящей же повелительницей этого животного царства, повелительницей мудрой, властной и кроткой, была младшая дочка Рая, тогда девочка лет четырнадцати. Всех своих двуногих и четвероногих подданных она знала по именам, происхождениям и характерам, и все они (кроме хорька) радостно отзывались и стремительно прибегали на ее зов.

Любовь к животным была в ней не болезненной чертой, а истинным, щедрым божьим даром, при помощи которого она делала чудеса.

Так, например, воспитывалась у нее в комнате молодая лиса, взятая из норы еще щенком-сосунком поздней зимою. Очень скоро она приучилась бегать за Раей, как собачонка; охотно по вечерам дремала у нее на коленях, а ночью спала у нее в ногах. Так прошел почти год. К следующей зиме шерсть на лисе из цвета кофе с молоком стала ярко-красной и блестела от хорошего питания и ухода.

Но в середине ноября какие-то таинственные, далекие голоса разбудили в звере вольные инстинкты, и однажды утром лиса убежала.

Следы ее вели по огороду, через прясла и дальше через снежное поле, к лесу, находившемуся в версте от усадьбы. Рая никому не позволила преследовать беглянку, но сама вышла в поле, остановилась шагах в ста от околицы и начала звонко кричать тем же голосом, каким и всегда она звала свою лису: «Лисинька, лись, лись, лись!.. Лисинька, лись!..»

Через час лиса показалась из леса. Она сначала робко, потом отважнее приближалась к Рае, ярко-красная на белом снегу, подошла вплотную и даже взяла из рук кусок вареной говядины. Но погладить себя не далась – прынула, вильнула пушистым хвостом и исчезла так быстро, как умеют только лисы. Она пришла и на другой день на Раин зов, но больше уже не являлась. Должно быть, ею овладели очарование дикой лесной жизни и прелесть свободы. А может быть, ее загрызли соплеменники за чужой запах, за утраченную звериность? Я не знаю, не слышал и не верю, чтобы кому-нибудь другому удался такой опыт с годовалой лисой, как Рае. Было в ней какое-то простое обаяние, заставлявшее животных быть доверчивыми к ней и добровольно покорными. Самые злые собаки и самые строптивые лошади успокаивались в ее присутствии. Охотно подчинялись ей и люди. В ней чувствовалось то лучшее, что присуще зверям: правдивость, чистота, смелость и внутренняя зоркость, давно утраченные людьми. Поэтому не удивительно, что все в усадьбе невольно мирилось с ее страстью подбирать повсюду и приносить домой совершенно ненужных животных: увечных, старых собак; брошенных или заблудившихся щенят; слепых котят, отнятых у деревенских мальчишек, собиравшихся их топить; птенцов, выпавших из гнезда; подраненных зайцев и т. д.

Вот так-то она однажды и принесла в подоле юбки грязного, дрожащего двухмесячного щенка, подобранного ею в дорожной канаве в рыхлом снегу. Щенок был Раей обмыт и высушен в нагретом одеяле.

Оказался он престранной наружности: туловище рыжее, мохнатое, хвост гладкий, длинный, белый, уши коричневые, короткие, а вся морда белая, за исключением черного пятна на носу, за что он тут же и был назван – «Пёсик Чёрный Носик». К тому же, несмотря на нежный возраст, он сразу проявил не только чрезмерную прожорливость, но и замечательную злобность.

– Более отвратительной собачонки я не встречал во всю мою жизнь, – сказал Дмитрий Семенович, Раин отец, «Великий Охотник», когда увидел щенка. – Его бы назвать не Чёрный Носик, а Кабыздох.

Такое же впечатление Чёрный Носик произвел на всех обитателей Загорья и производил на всех гостей. И это, вероятно, и было причиной того, что Рая взяла убудка под свое особенное попечение и сердечное покровительство. А Пёсик все рос и рос и к году окончательно выровнялся в самого мерзкого из псов, какие когда-либо бегали на четырех ногах, лаяли и портили воздух на обоих полушариях земли. Казалось, в нем соединились все самые злые и порочные собачьи породы, и каждая отразила в нем «максимум» своей склонности к преступлению. У него были желтые, светлые глаза, подлый взгляд исподлобья и во всей морде непередаваемое выражение трусости, наглости и низкого лукавства. Роста он был со среднюю гончую.

Он тайком душил кур и цыплят, воровал и выпивал яйца. Он никогда не мог насытиться и после хорошего, сытного обеда бежал на помойку и рылся в ней головой и лапами. Однажды он забежал в рабочую избу, где в печи кипели щи для работников, всунул морду в котел и, несмотря на ожог, вытащил-таки десятифунтовый кусок мяса с костью. За ним погнались, но он успел скрыться в малиннике и там дожрал говядину. Когда его нашли, он лежал на обглоданной кости и вызывающе рычал.

Он не выносил человеческого взора и потому кусал только за ноги, подкравшись сзади. Он трепал насмерть заморенных кошек и мелких собак. Но при первом грозном рявканье большого пса падал на спину и униженно болтал лапами в воздухе и вилял туловищем.

У него была прегадкая, грязная манера улыбаться, вертя мордой, морща нос и оскаливая зубы. Это бывало тогда, когда он готовился или выпросить что-нибудь, или совершить какую-нибудь подлость. Он никого из людей не любил, даже и Раю, свою благотворительницу, хотя и слушался ее немного, ради будущих подачек. Рая избаловала его тем, что рано позволила ему валяться на диванах и кроватях и спать в комнатах. Когда ему исполнилось два года и от него стало нестерпимо вонять псиной, то решено было заставить его ночевать во дворе. Но он подходил к окнам и так нестерпимо, раздражающе выл, что его впускали. Иногда Раины братья сгоняли его с дивана плеткой. Он рычал, визжал, прятался под диван или забивался в угол, но через пять минут, когда о нем позабывали, опять взлезал на то же место. У него не замечалось никакого оттенка самолюбия. Вообще он был предметом ненависти и презрения всего дома. Достаточно сказать, что к двум годам он не мог приучиться держать себя опрятно в комнатах...

Но всему бывает конец. Конец Пёсику Чёрному Носику пришел в конце июля, когда ему стало около двух с половиной лет. Брат Раи, юнкер Дима, вошел в ее комнату, чтобы взять какую-то книжку с полочки, висевшей над Раиной кроватью.

Но на кровати лежал Чёрный Носик. При виде Димы он мгновенно вскочил на все четыре ноги и яростно зарычал. Дима не был боязлив, однако вид собаки испугал его. Было что-то злое-страшное в ее вздыбленной шерсти, глазах, налитых кровью, в разверстой, опененной и как бы дымящейся пасти.

Он захлопнул дверь и побежал жаловаться Рае. Рая в это время вместе с отцом подпирала в саду рогатками тяжелые ветви фруктовых деревьев. Она назвала брата трусишкой, вытерла руки о передник и быстро пошла в дом. Отец и брат в какой-то неясной тревоге побежали за нею.

Дмитрий Семенович немного замешкался. По дороге он забежал в мой кабинет, где у него – «Великого Охотника», убившего в своей жизни более пятидесяти медведей и без числа всякого другого зверья, – все стены была увешаны редким и ценным оружием.

Рая сама открыла дверь. Чёрный Носик, как и прежде, вскочил с грозным рычанием...

– Пёсики-Носики! – пропела ласково Рая, делая шаг вперед и протягивая к собаке руку. – Чёрные Носики!..

Собака сделала огромный прыжок с кровати по направлению к девочке. В тот же момент,

оглушив Раю и Диму, грянул сзади них выстрел, и пес, не dokonчив прыжка, перевернулся в воздухе, упал и покотился по полу, корчась в предсмертных судорогах.

Весь день Рая плакала и бранила отца и брата, называя их убийцами. Но к вечеру приехал старый, добрый ветеринар, за которым послали нарочного. Ветеринар взрезал собачий труп и клятвенно уверил Раю, что пес был бешеный. А Рая ему верила. Они были давнишние друзья. Рая успокоилась, хотя потом долго вздыхала от пролитых слез.

Однорукий комендант

Рассказ этот написан по воспоминаниям о том, как его рассказывал в 1918 году Ефим Андреевич Лещик, человек середины прошлого столетия, то есть тех времен, когда еще не совсем исчезли из обихода: взаимная учтивость, уважение к старикам и женщинам, а также прелесть неторопливого и веского устного рассказа, ныне вытесненного анекдотом в три строчки или пересказом утренней газеты. Когда я расстался с Ефимом Андреевичем, ему было сильно за семьдесят, но он сохранил отлично, вместе с четкою памятью, все свои зубы цвета старых фортепианных клавиш, звучность и полноту голоса, густоту серебряных волос и зоркую твердость взгляда серых прищуренных глаз под нависшими толстыми веками. Большое свое тело он держал прямо и бодро и, по старинной моде, отпускал бакенбарды – висячие, «штатские», какие в его времена носили министры, дипломаты, банкиры, а впоследствии камердинеры; военные же предпочитали бакенбарды, распушенные вширь: на галопе и против ветра они придавали генеральским грозным лицам батальную картинность. Ефим Андреевич провел жизнь большую и серьезную. Приключений не искал, от судьбы не бегал, узнал своевременно и войну, и любовь, и власть, простодушно веровал в бога и в Евангелие, не испытал ни бессмысленных увлечений, ни праздных раскаяний, вывел большую семью, которую держал в ласке и повиновении, не курил, но перед обедом неизменно выпивал серебряную древнюю чарочку ромашковой настойки.

Разговор его был важен, нетороплив и насыщен содержанием, причем о себе очень редко, разве в силу необходимой связи. Рассказывал он увлекательно, особенно если чувствовал не-притворное внимание. В моей передаче, я знаю, пропадет самое главное: прелесть старинных, иногда чуть-чуть книжных, иногда чисто народных оборотов речи, юмор не словечек, а положений, многозначительность пауз, меткие, лепкие сравнения... Жаль – нет у нас привычки записывать по свежей памяти: все нам некогда.

Рассказ, который сейчас последует, начался по смешному поводу. Сын Ефима Андреевича нанял в Гатчине для себя и своей семьи небольшую дачную квартиру такого странного расположения, что на улицу она выходила полутора этажами, а во двор одним без малого, то есть, иными словами, пол в кабинете Лещика номер два приходился немного ниже уровня двора. И вот каждое утро, точно в три часа и в пять, повадился приходить к кабинетному окну огромный красно-желто-сине-зеленый с золотом лоншанский петух и орал неистово во все свое петушиное горло, будя и мешая вновь заснуть. Ничто не действовало на горлана, сколько на него ни махали руками, ни кричали, ни стучали в стекла. Проорет и станет недвижно, глядя внимательно и удивленно строгим, холодным, круглым оком в окно. «Удивляюсь! Если я и солнце встали, то какой же смысл в позднем сне?» «Понимаете ли, – закончил молодой Лещик, человек весьма кроткий и тихий, – никогда я не смел воображать, что можно так ненавидеть самого заклятого врага, как я ненавижу эту разноцветную наглую тварь со шпорами».

Ефим Андреевич добродушно улыбнулся, отчего бакенбарды раздвинулись в стороны.

– Я тоже, – сказал он, – был близко знаком с одним таким петухом, по выражению великого Крылова. Так близко, как ближе нельзя. Это был знаменитый скобелевский петух в Бухаресте. Михаила Дмитриевича Скобелева. Но тут дело вышло иначе: и петуха румынского постигла печальная петушиная судьба, и Белому генералу досталось много неприятностей. Вот послушайте, как это все случилось.

Были дни второй Плевны. Я в то время состоял бессменным ординарцем при Скобелеве-втором, при Михаиле Дмитриевиче. Первое наступление на Плевну, как вам известно, окончилось неудачей. Подготавливалось второе. Но подготавливалось наспех. Штаб хотел, чтоб непременно его приурочить к тридцатому августа, к тезоименитству государя Александра Николаевича, вроде как бы именинного пирога, чтобы поднести взятую Плевну на серебряном блюде. Скобелев был против. Он дальше глядел, чем любимчики из свитских и из штабных, и

лучше знал, что солдат думает и чувствует про себя, и говорил им: «Рано, не время». А надо сказать, что в штабе тогдашнего главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича старшего, Скобелева терпеть не могли. Может быть, и боялись. Конечно, не великий князь, а генералы. Карьера у него слагалась уж очень головокружительная, солдаты на него молились, да и был Белый генерал как-то не по шерсти штабным, чересчур самостоятелен и свободен на язык. Понятно, его не послушались. Решили на тридцатое общую атаку, решили наудачу, накривую. Очень бранился Скобелев у себя в ставке. Такие слова говорил, что и теперь неловко повторить. Это все очень явственно мы оба слышали – я, его бессменный ординарец, да еще Круковский, архиплут великий, лентяй, грубиян и каналья – знаменитый денщик Скобелева. Понять я никогда не мог, за что Михаил Дмитриевич держит у себя такую бестию, за какие качества?

Скобелев был назначен в лоб. В истории все записано, какие чудеса он творил в тот день со своей железной дивизией, с Костромским полком, с Галицким, Архангелогородским и Углицким... Выбили турок из редутов, заняли редуты. Солдаты в крови, в лохмотьях, черные от дыма. Держались до вечера. Турки наседали отчаянно. Солдаты держались. Майор Горталов, давши слово Скобелеву не отступать, выстоял до тех пор, пока у него перебили всех людей, а самого его подняли турки на штыки. Одного за другим слал Скобелев адъютантов и ординарцев в штаб: «Поддержите, мол, пришлите подкрепление, гибнем», и – ничего: ни гласа, ни послушания. Потом уже увертывались по-своему: не могли-де мы ослаблять резерва, где у нас находилась драгоценная особа государева брата. Вранье! Тогда мы все, армейские, хорошо их мысли раскусили. Увидели они вскоре, что их именинный подарок задуман слепо, и оставили одного Скобелева кашу расхлебывать. Удастся чудом атака, мы ее поддержим, а в реляциях припишем нашим мудрым распоряжениям, не удастся – Скобелева и вина и ответ. Пришлось Скобелеву отойти. Силою выгоняли солдат из окопов – до чего озлобились. Стон стоял, как они ругали штаб. Да и что их осталось-то – меньше четверти. На ногах не стояли...

Видел я генерала, когда он приехал в ставку. Страшно было глядеть. Так осунулся, что только нос огромный и глаза, страшные, как у сумасшедшего. Не говорил – лаял. Стал за домом умываться. Круковский ему на руки сливал из кувшина, а рядом стоял один пехотный полковой командир, очень храбрый полковник. Скобелев его чтит и любил. Разговаривали. Вдруг Скобелев как всплеснет руками, как бросится ничком и давай кататься по земле и по грязи. «Предатели, кричит, продажные души, губят армию и Россию!» Я заплакал. Но тут Круковский – отчаянный он человек был – подошел он к Скобелеву и стал грубо под руку подымать. «Одумайтесь, говорит, ваше превосходительство, люди ведь кругом, смотрят, слушают, срам-то какой! Пожалуйте в комнаты». Успокоил. Да что Скобелев? Вся Россия от горя поникла. Злые шутки тогда между народа ходили. «Стряпали, мол, именинный пирог из солдатского мяса, да не выпекся». А Скобелев отпросился в отпуск, в Бухарест, по причине нервного расстройства. Он и вправду заболел разлитием желчи, пожелтел, сначала вроде лимона, а потом лицо у него ударилось как бы в бурый цвет с крапинками. И уехал. В Бухаресте жил он весьма причудливо, а на глаз врагов и завистников даже зазорно, и это, где следует, ему на счет записывалось. Кутил он, надо сказать, шибко. Однако мало кто видел, как он по ночам работал. Вылет ему, бывало, Круковский несколько кувшинов ледяной воды на голову, он пофыркает, вытрется мохнатым полотенцем и сейчас же за карты, за книги, за чертежи. Приводили к нему каких-то тамошних человек, черномазых, усатых, носатых, и он с ними часами по-французски разговаривал. Спал урывками.

Вот тут-то и о петухе. Поводился к нему под окно каждое утро такой же, как и к тебе, Володя, султан турецкий. Орет – ничего с ним не поделаешь. Круковский, бывало, его и камнями и метлой гонял, и водой окачивал – никакого, подлец, внимания, орет. А генерал из себя выходит.

И, наконец, не выдержал, лопнуло терпение, решил предать петуха военному суду. Самый форменный был суд, с дознанием, с протоколами. Следователь допрашивал и генерала и меня с Круковским. Собрались судьи, все офицеры, ввели петуха, секретарь прочел обвинительный акт, говорил прокурор – громы и молнии, вслед за ним вышел защитник, у того были слезы на глазах и голос трепетал... Потом суд удалился, посовещался минуточку и вынес постановление: «Ввиду, дескать, того, что генерал-лейтенант Скобелев, будучи занят важными военными вопросами и делами, ко славе русского оружия относящимися, а оный злоумышленный петух, по подкупу или подговору коварного врага, сим важным государственным занятиям чинит вред и помеху и в том деле явно и подло упорствует, то оного петуха, к посрамлению противника и к вящему торжеству Всероссийской державы, предать смертной казни через отрезание головы и сварение его

тела в кипятке на предмет изготовления из него болгарского пилава».

Так и сделали, как порешили. Круковский, по слабости натуры, боялся кур резать. Я зарезал. Я же и приготовил из него пилав. Знаменитый вышел пилав: с красным стручковым перцем и с паприкой, с томатами, с луком-чесноком, с укропом-петрушкой-сельдереем, – не пилав, а адский пламень. И полит он был обильно шампанским вдовы Клико.

Этот петух обошелся Михаилу Дмитриевичу не дешево. Всегда про него в штабах хихикали и шептались: у солдат-де популярности ищет, на белом коне в белом кителе разъезжает под пулями, к ротному котлу присаживается, а сам людей ради своей славы не жалеет. Теперь стали прибавлять: над военным судом шутовство устроил, петуха к смертной казни приговорил. И такого пустого генерала назначают на ответственные посты!.. Косо на него тогда начальство глядело. Но не армия. Русский солдат все понимает. Пусть генерал петухов судит, пусть хоть сам перед фронтом петушинит; пускай иной чудака поплакать склонен, а другой ругается такими словами, что черту в преисподней страшно становится, – солдат всегда почует, есть ли у генерала настоящая душа и вера, или он из позолоченного картона, а внутри свистулька. Третья Плевна показала всей России, что такое Скобелев!

А для Белого генерала она была новым огорчением. И не так его то обидело, что дали ему не «графа», как он мечтал и предполагал, а всего только вензеля, а то, что остановились русские войска в виду Константинополя – рукой подать, – но запретили им идти дальше англичанка с Бисмарком. Плакал он тогда в Бургасе, говорят, как малый ребенок, от гнева. И уехал с горя в Хиву. Я считаю так, что он был великий человек и гораздо умнее всех своих современников. Вот мы теперь п...и к такой-то матери эту проклятую войну. А он за двадцать пять лет до нас ее предвидел. Говорил, что самый наш главный, природный и единственный враг – немец и что нет удобнее минуты, чтобы свернуть ему голову, а то потом будет поздно. Он не таил своих мнений, высказывал их громко. Говорят, что и раньше он говорил об этом же всенародно, перед французами. Правда ли это? Ну вот видите, значит, правда. Какого полета мысли был человек! Какой прозорливости! И с тогдашними своими солдатами он все мог бы сделать. Ах, пропал у нас надолго генерал-герой, генерал в белом кителе и на белом коне!

Пусть не болтают глупости, что умер он от пресыщения излишествами. Он? Богатырь? Такие люди умирают на поле брани или от отравы. Вся Москва знала и говорила, что, по воле Бисмарка, поднесен ему был в бокале вина неотразимый яд, и в час его смерти выехал из Москвы в Петербург специальный агент на экстренном поезде.

Как Москва провожала его тело! Вся Москва! Этого невозможно ни рассказать, ни описать. Вся Москва с утра на ногах. В домах остались лишь трехлетние дети и недужные старики. Ни певчих, ни погребального звона не было слышно за рыданиями. Все плакали: офицеры, солдаты, старики и дети, студенты, мужики, барышни, мясники, разносчики, извозчики, слуги и господа. Белого генерала хоронит Москва! Москва ведь!

Я всю семью Скобелевых хорошо знал. Управлял именьями Михаила Дмитриевича и Дмитрия Ивановича и господ Богарне. Про Дмитрия Ивановича немного рассказывать. Ум у него не был приспособлен для дел, так сказать, государственных, а был простой, хозяйственный ум, с помощью которого он прожил всю свою жизнь с пользой для себя и не во вред людям. Был храбрый генерал, но – как бы выразиться – без особенной стратегии и без чрезмерного честолюбия. Михаил Дмитриевич иногда поддразнивал отца тем, что перегнал его по службе, и шутя подтягивал. Старик обижался, но не очень. В армии ему было прозвание «Паша», и это не за какую-нибудь там слабость или склонность, а так иногда, бывало, на него находила полоса самодурства. Заупрямится, забурлит, закричит, ногами затопает, не слушает никаких резонов. Такие взрывы за ним все знали – и на военной службе, и дома, в имении, – так же, как знали и рецепт против них: не возражать ни звуком, а дать «Паше» выкипеть. Тогда он понемногу стихал, проглатывал слюну и спрашивал, точно проснувшись: «А? В чем дело?» Хороший был человек, солидный, серьезный. Пыли в нос никому не пускал. Рассказывали про него, что представлялся он однажды государю Александру Второму. Царь и спрашивает его: «Так ты, значит, Скобелев? Отец и сын знаменитых Скобелевых?» Ну, что ему было отвечать? «Так точно, ваше величество».

Но из всех Скобелевых меня более других увлекала и занимала фигура Скобелева-первого, Однорукого коменданта, Ивана Никитича, дедушки Белого генерала. И судьба его, и жизнь, и самый характер – все у него было как-то ни на что не похоже: горячо, странно, и трогательно, и

жестоко — совсем не по-писаному. Впрочем, и то сказать, какие времена тогда были! Времена железных людей, орлов, великанов! Земной шар служил у них шариком в садовой игре, именуемой бильбоке... Умели тогда повелевать и умирать. Красивые годы были и... кровавые. Я Однорукого коменданта, конечно, не застал. Когда он кончил свое земное поприще, я, должно быть, еще и на свет не появлялся или по крайности пешком под стол ходил. Но вел я близкое знакомство, даже дружбу, в имении с древней старушкой Анной Прохоровной, нянькой еще Дмитрия Ивановича, жившей потом на покое. Та Ивана Никитича и его жизнь помнила до мельчайшей черточки и многое мне о нем рассказывала. Рассказчица на удивление — курский соловей, дар от бога, златоуст во вдовьем темном платье.

Происходил он из дворян-однодворцев. Настоящая фамилия его была просто Кобелев. А на военную службу этот однодворец Кобелев пошел охотником. Не рекрутом, за кого-нибудь, а по своему собственному желанию, добровольно. По тогдашнему времени и по тогдашней военной тяжелой службе — редкий случай до необычайности.

Анна Прохоровна была его землячка, родом из соседней деревни. Так она уверяла, будто бы пошел он под присягу с отчаяния, из-за жены. Будто бы женился он совсем мальчишкой, не по своему желанию, а по воле родителей, на девке гораздо старше себя, а та оказалась в бабах, хоть и красивой, но никуда: вздорная, лентяйка, неряха, к тому же путаница и вдобавок выпивала. Это, может быть, так и было. Но я думаю, что не одна эта причина — бабья доука — его погнала под ранец с выкладкой; должно быть, бывают такие люди, особливо буйные по натуре: везде и всегда им тесно, а страха и угомона на них нет. Я часто глядел на портрет литографический Иван Никитича, сделанный с масляного портрета его, не так чтоб очень молодым, а скорее зрелых лет. Огонь! Но, с другой стороны, не мимо сказано в премудростях Иисуса сына Сирахова: «Соглашусь лучше жить со львом и драконом, нежели со злою женою». А в притчах Соломона говорится так: «Горе — жена блудливая и необузданная; ноги ея не живут в доме ея». А впрочем, трудно нам нынче судить по делам тех людей, которые больше полвека спят в могиле. Тут лучше помолчать.

Отличился Иван Никитич сперва в последнем походе Суворова, при императоре Павле Петровиче. Вышел на линию офицера. Моложе его в отряде был только Милорадович. Потом дрался против Наполеона под Кульмом, Аустерлицем и Лейпцигом и во всю Отечественную войну. Под Смоленском он командовал полком, и там ему ядро оторвало левую руку. В другом сражении потерял он два с половиною пальца на правой руке. Кроме этого, имел ран и контузий без числа. Участвовал он и в славной Бородинской битве, покрыв себя неувядаемой славой. Весь его полк poleg на поле брани ранеными и убитыми, окруженный французскими полками. Остались на ногах только Скобелев, да знаменщик со знаменем, да трубач с барабанщиком, и еще пять солдат. Сомкнулись кучкой для последней смертной минуты. Сам Наполеон это видел и приказал не трогать храбрецов, а доставить ему живыми. Так и было сделано. И что же вы думаете, как поступил император французов? Велел выстроиться своим войскам и отдать русским героям воинскую почесть, с ружьями на караул, с музыкой и преклонением знамен! Почтил храбрость во враге. Он понимал эти высокие вещи и умел их показывать своим солдатам. Со своей груди снял орден Почетного легиона, прикрепил его на грудь Скобелеву. И объявил русским, что они свободны и могут возвратиться к себе.

А когда увидел, что Скобелев едва держится на ногах от потери крови и усталости, то предложил ему остаться на несколько дней во французском лагере, где за ним будет смотреть и ухаживать самый знаменитый врач, личный лейб-медик самого Наполеона. Но Скобелев отвечал на эту любезность со всевозможной учтивостью, что, мол, похвала и внимание такого великого полководца, — хотя он и вождь неприятельских войск, — есть лучшая награда за военную доблесть, но что у него, Скобелева, остался в обозе первого разряда один чудодейственный ротный фельдшер, который до тонкости знает свое живодерное ремесло и который уже не раз составлял, сращивал и заживлял ему всякие разрубленные, проколотые и продырявленные места.

Тогда Наполеон не только отпустил Скобелева с миром, но еще повелел дать под него и под знаменщика со знаменем свою собственную раскидную коляску, а войска проводили русских героев с музыкой и с отдаванием чести.

Главнокомандующий, князь Кутузов, встретил Скобелева по приезде из плена, обнял его, поцеловал, заплакал и много хвалил (да его и сам Суворов не обходил своей крутой солдатской похвалой), а потом, когда Скобелев подлечился, послал к государю Александру Павловичу с до-

несением. Государь его принял отменно ласково, однако сказал: «А все-таки не пора ли тебе, Скобелев, в отставку? Повоевал ты за двадцать человек. Не будет ли? Отдохнул бы? Теперь у тебя, чай, и места нет цельного, по какому тебя можно рубить». Но Скобелев обиделся. «Если я своими культиками еще могу креститься и ложку ко рту подносить, то и на твоей, государь, службе сумею держать поводья и саблю». Так в отставку и не пошел. Служил в боевой армии до самого конца Отечественной войны, в Париж верхом въехал впереди своей дивизии и при Ватерлоо, вместе с другими, поставил точку Наполеонову величию. Наполеона же до конца дней чтит, по справедливости, как первейшего полководца всех веков.

После войны взойшла высоко скобелевская звезда. Известно, какая обычная судьба у героев: прошла в них нужда – их и забыли. Но у Иван Никитича был какой-то особый добропоспешный ангел, который мудро направлял его бурную и вдохновенную жизнь. Надо тоже сказать, что все его почетные увечья не позволяли о нем забыть. Государь пребывал к нему неизменно милостив, в свете его ласкали и баловали.

Несмотря на то что инвалид, был он необыкновенно хорош собою, – в таком, представьте себе, мужественном, геройском штиле. Я вам давеча про портрет упоминал. Ну уж и портрет – прямо на ананасную конфету! Левый рукав бантом к плечу пришпилен, правая рука выставлена вперед, и на ней двух средних пальцев нет совсем, а на третьем только один сустав остался. Но поворот головы! Вверх и вбок! Лев! Глаза огненные. Волосы в курчавом беспорядке. На бритых устах усмешка гордая и любезная: гордая для соперников, любезная для прекрасного пола.

Одна петербургская графиня, первая красавица и ужасная богачка, в него донельзя влюбилась. И он отвечал ей расположением. Тогда, по распоряжению высших властей, поведено было его первый брак с непутевой женой расторгнуть, а ему было разрешено вступить в новый брак с графиней. И к фамилии его, с высочайшего соизволения, была приписана вначале литера «слово», то есть стали – он и его будущие потомки – именоваться для благозвучия не Кобелевыми, а Скобелевыми.

Жил он беспечно и весело с молодою женою в собственном доме на Английской набережной. Вся петербургская знать их дом охотно посещала. Иван Никитич, кроме своих военных заслуг, почитался не напрасно одним из лучших тогдашних собеседников. Разговор его был острый и приятный, а при его знании жизни и большом опыте также и поучительный. Притом же владел он и пером весьма свободно. Много им было написано и напечатано премилых и презанятных рассказов про солдат, мужиков и господ. Я, находясь в имении Дмитрия Ивановича, брал сочиненные им книжки из библиотеки и читывал. Очень занимательное и полезное чтение. Тогдашние писатели писали просто и понятно. Теперь это не в моде, и их уже забыли и не читают. Не знаю, похвально ли это. Даже имен ихних никто не помнит.

В ту пору Иван Никитич был генерал-адъютантом, генерал-лейтенантом и состоял в звании начальника Петербургского гарнизона. В ту же пору, и по тому же званию, с ним произошла большая неприятность.

Как всегда, был назначен на первое мая парад всем частям Петербургского гарнизона на Марсовом поле. С утра свели на плац полки. Съехалась высокопоставленная публика в особо устроенные ложи. Собрался весь генералитет. Приехала царская семья, и, наконец, прибыл сам государь Николай Павлович. Всегда на этом параде полагалось: как только государь изволит проследовать на Марсово поле, то все рогатки мигом запирают, и больше пропуска никому уже на парад не бывало. Так поступили и в это утро, по всей строгости устава. Но дернула нелегкая какого-то посланника опоздать на три минуты. Не знаю, был ли это германский или австрийский посол, помню одно, что немец. Подъезжает он к одной рогатке – нет пропуска, к другой, к третьей – тот же поворот от ворот. Николаевский солдат был какой? Скажут привести – самого черта приведет за шиворот, не пускать – ангела господня не пропустит. Посол спрашивает: «Кто запер рогатки?» – «Начальник гарнизона, генерал Скобелев». – «Где он?» – «А вот там, где кончается Лебяжья канавка, у Цепного моста».

Немец к нему. Видит, сидит на коне инвалид... «Как это так, что меня не пропускают?» – «Точно так. И не пропустят», – отвечает Скобелев. «Да вы знаете ли, кто я?» – «Может быть, и знаю, но в сей момент вы для меня есть лицо, приехавшее после прибытия государя, а потому впущены за цепь быть не можете, в силу закона». – «Как вы смее со мной разговаривать таким тоном!»

Иван Никитич имел характер ровный, любезный и терпеливый, но был подвержен

вспыльчивости и не жаловал немцев. Когда на него посол закричал, он рассердился и ответил сурово: «Точно таким же образом я разговаривал с императором Наполеоном в его ставке в день Бородинского сражения. И он не только на меня не кричал, подобно вашему превосходительству, но пожаловал меня собственноручно орденом Почетного легиона за мою беззаветную службу государю и родине». – «Хорошо же, – погрозил посол. – Вы меня узнаете! Нынче же обо всем будет доложено императору...» – «Ваше дело. А теперь налево кругом марш! Капральный, проводить генерала!»

Немец, конечно, смолчал бы при других обстоятельствах, тем более что сам провинился опозданием. Но стерпеть «Наполеона» он не мог. Почел за оскорбление всей своей нации и вправду пожаловался государю. Может быть, и от себя чего-нибудь наплел. Государь разгневался и на докладе по этому делу начертать изволил собственноручно: «Ретивого грубияна убрать с должности, без внесения, впрочем, в послужной список».

Так Скобелева и убрали с должности «без внесения», но никуда, однако, вновь не определив, оставив его, некоторым образом, висеть в воздушном пространстве, без точки опоры, как это показывают магнетические фокусники над усыпленной девицей. В то время, как и теперь, можно было приспособиться жить без руки или без ноги, но без службы тогда человек был немислим. И вот зажил Скобелев нудной и бездеятельной жизнью. Царская немилость от него многих светских друзей оттолкнула. Развлекался он как мог. Гулял по набережной и в Летнем саду, ездил слушать почтамтских певчих и сам подтягивал верным баском, писал свои мемуары и повести. В эту же пору ему кто-то подарил большого зеленого попугая, который потом своим разговорным талантом прославился на весь Петербург. От нечего делать Скобелев учил этого попугая разным словечкам и изречениям. Но какая же утеха для гордого и горячего духа учение попугая, или почтамтские певчие, или, скажем, литература? Стал Иван Никитич хмуриться, скупать, раздражаться.

И вот как-то утром вышел он прогуляться на Английскую набережную. А навстречу ему государь. Идет пешком, быстрыми шагами. Пелерина развевается. На каске реют разноцветные перья. Иван Никитич, как полагается по уставу, сошел с тротуара, стал во фронт, фуражку снял. «А! Здравствуй, Скобелев. Что это тебя не видно, не слышно?» – «Так и так, ваше величество, сижу все дома, размышляю и никак не могу доискаться, за что лишен монаршей милости». – «Вот ты как? Хорошо же.

С завтрава упрячу тебя в крепость». – «Вашему величеству, конечно, виднее, что я заслужил за мою службу престолу и родине». – «Молчи, молчи, грубиян. Прощай. Завтра жди». – «Слушаю, ваше величество».

И правда упрятал: на другое же утро получил Иван Никитич личное назначение от государя: быть ему комендантом Петропавловской крепости. Пост видный, почетный и спокойный. До конца своих дней оставался Скобелев в этой должности, каждую весну после ледохода переплывал на лодке через Неву, открывая навигацию, и ежедневно в полдень палил из пушки, чтобы все жители Питера знали, что наступил адмиральский час, когда надо проверять часы и пить водку с соленой закуской.

В Петропавловской крепости Однорукий комендант повел жизнь тихую и единообразную – нынче говорят меланхолическую, – ибо вскоре скончалась его горячо любимая супруга. Да и сам комендант, – хотя в нем и сидело двадцать средних человеческих жизней, – дожил до того предела, когда время охлаждает самый пылкий военный нрав, а почетные раны и увечья дают себя знать по ночам, напоминая о смертном часе.

Вернувшись от ранней обедни, Иван Никитич обыкновенно кушал, не торопясь, кофе: по скоромным дням – с топлеными сливками, по постным – с ложечкой рома. Попугай в этот час выпускался из клетки и свободно разгуливал по кабинету. Очень он любил присесть к своему коменданту на плечо. Присядет, и трется головкой о комендантову щеку, и тянется кривым клювом в чашку. И хитрый был попрошайка: чтобы подольститься, возьмет и начнет передразнивать смену караула или рапорт дежурного офицера, а то голосом самого Ивана Никитича проговорит целый кусок из его утренней молитвы. Коменданту все это очень нравилось. Чесал он попугая шейку и угощал его на отдельном блюдечке сахаром или сухарем, смоченным в кофе.

Нужно также сказать, что было у Скобелева, в промежутках между делами службы, одно приватное занятие, весьма важное и таинственное. Давным-давно завел он себе особую огромную тетрадь, размером с церковную Библию екатерининских времен, в переплете из толстой те-

лячьей кожи и с тяжелой золотой застежкой, которая запиралась на ключ. Ключ же этот Иван Никитич носил на шейной крестовой цепочке. И вот, когда выдавалась свободная или вдохновенная минутка, отпирал Однорукий комендант своими культиками книгу и писал в ней с большим тщанием, прилежно и углубленно. Окончивши же писать, опять аккуратно запирает. Никому не было известно, какие высокие сюжеты и важные размышления наполняли эту книжицу, и никто не видал ее раскрытой или незапертой. Кроме, конечно, попугая.

Но пришлось однажды так, что в одно утро, когда комендант, понежничав с приятелем попугаем, раскрыл уже свою серьезную книгу, – его вдруг спешно позвали по какому-то неотложному делу государственной значительности. И столь дело было торопливо, что впервые позабыл Иван Никитич о ключике и о застежке. Выбежал, оставив книгу за столом развернутой.

Сделал он, что ему полагалось, отдал, какие нужно, распоряжения, возвращается в кабинет и – о, ужас, что же он видит! Попугай, удобно примостившись на столе, уже успел выдрать из таинственной книги десятка полтора листов, захватил их в лапу и нещадно дерет своим жестким острым клювом на мелкие куски. Тут комендант сверхъестественно вспылит. Схватил своей изуродованной рукой линейку и на попугая! Попугай в страшном перепуге на этажерку, комендант за ним. Попугай на комод, на лампу, на карниз, на портрет государев, на кресло, куда придется – комендант все его догоняет. Наконец забился под диван, к самой стене. Иван Никитич на карачках елозит по полу, изогнувшись, шарит линейкой под диваном и кричит: «Выходи, покажись, мерзавец, сейчас я тебя исколочу, негодяя!» А попугай от смертельного страха принялся вдруг лепетать, что ему первое попало в голову: «Молитвами святых отец наших, боже, милостив буди мне, грешному». Ну, тут отошло комендантово сердце, отхлынул гнев от груди. «Ладно уж, вылезай, подлец этакой. Бить тебя не стану, а иначе накажу. Ты попомнишь, как портить книги!»

Велел принести себе гуммиарабику, прозрачной бумаги и приказал, чтобы гретые утюги всегда были готовы. И много дней он утюжил, приглаживал и склеивал разодранные попугаем в клочки рукописные страницы. Попугай же в эти дни был оставлен без кофе, без сухарей и без сахара. Уж как он заискивал, как подольщался. То закричит: «Шай! На кра-ул!», то «Отче наш» бормотать начнет. Скобелев только возьмет и постучит своими обрубками о твердый телячий переплет: «Помни, прохвост, как важные бумаги рвать!..» Ну, потом, конечно, простил... Только уж больше не забывал о ключике и застежке.

Второй случай с попугаем был посерьезнее, и тут перепугался не один попка, но и сам неустрашимый Однорукий комендант.

Государь Николай Павлович весьма часто посещал Петропавловскую крепость и ее собор – усыпальницу русских императоров. И каждый раз, встречаемый и про-вожаемый комендантом, государь непременно заходил к нему на несколько минут для деловых или просто приятных разговоров, потому что, после прежней немилости, стал он особо любить и жаловать Ивана Никитича. И попугая государь тоже очень хорошо знал.

Так вот, чтобы сделать лестный сюрприз своему императору и благодетелю, обучил Однорукий комендант своего попку отвечать на царские приветствия и вопросы. Николаю Павловичу эта шутка весьма понравилась и никогда не уставала забавлять его внимание. Только, бывало, изволят войти в комендантов кабинет, с аналогом пред образом и узкой холщовой походной кроватью в углу, сейчас же к попке своим могущественным голосом: «Здорово, попка!» А тот: «Здравия желаем, ваше императорское величество!» – «Кто я?» – «Государь и самодержец всея России!» И всегда смеяться добродушно изволил Николай Павлович. Но только раз приехал государь в крепость совсем в тяжелом расположении духа. Равнодушно поздоровался с караулом, рассеянно выслушал обедню. Погода, что ли, была такая особенно гадкая, петербургская, или дела отечественные не веселили... неизвестно. После обедни, по обыкновению, зашел к коменданту. Увидел попугая. И, больше по привычке, сказал ему: «Здравствуй, попка!» А попугай тоже в этот день находился, верно, в расстроенных чувствах, сидел кислый, сгорбившись, распушив перья. Ни слова на царское приветствие. Государь опять: «Здорово, попка». Тот опять молчит. Тогда государь для разнообразия изменил обращение. Спрашивает:

«Кто я?» А попугай совсем из другого репертуара возьми да и брякни явственно: «Дур-рак!»

Ивана Никитича, точно пороховую бочку, взорвало. Позор-то какой! Рванулся на попугая: «Голову оторву!» И давай за ним гоняться по кабинету: «Убью! своими собственными руками

задушу подлую скотину! У меня в доме! Моему государю! Не уйдешь ты, гадина, от моей руки!..»

Император уж сам стал его успокаивать: «Оставь, Скобелев. Птица – тварь неразумная. Грех ее убивать. Оставь».

Но куда!

«Нет уж, ваше величество, позвольте мне в первый и единственный раз вашей воли послушаться. Этого разбойника мне моя христианская совесть приказывает уничтожить. Эй, кто там, денщики, вестовые, драбанты! Дайте мне мой заряженный кухенрейторовский новый пистолет. Он в соседней комнате на ковре висит. Обязан я убить подлого этого попугая».

Но Николай Павлович его наконец утихомирил.

«Не трогай птицу, храбрый Однорукий комендант. Я тебе скажу, что его голосом сам бог говорил. Он правду выразил, сказав, что я дурак. Нынче за обедней я совсем не о молитве думал и больше полагался на собственные измышления, чем на божескую помощь... Не убивай же этого попугая...»

Так и спас государь попугаеву жизнь. И попугай не только пережил своего доброго и вспыльчивого хозяина, но еще прожил, после его смерти, сорок лет в скобелевском доме на Английской набережной. Дальше его судьба потерялась из преданий. Вот и все о комендантском попугае. Но, видите ли, попугай связан с таинственной книгой, а таинственная книга имела близкое отношение к кончине Однорукого коменданта. Значит, надо довести рассказ до точки.

Пришла для Иван Никитича пора закончить все свои земные дела и идти отдавать отчет праведному судье. Никогда он в жизни ничем не хворал, кроме как от ран, а тут слег, чтобы больше уже не вставать. К смертному часу готовился он безропотно и в полном сознании.

Услышав об этом, Николай Павлович приехал попрощаться со своим любимцем и почитаемым героем. Говорил с ним долго и ласково. «Все ли свои земные долги исправил, Иван Никитич?» – «По мере сил, разумения и памяти, государь». – «Не найдешь ли ты чего-нибудь у меня попросить? Исполню все, как последнюю волю родного брата». – «Ах, ваше величество, осыпан я монаршими милостями свыше моих скромных солдатских заслуг. Все мне дала царская служба: и чины, и имение, и почет. Отхожу к высшему владыке вашим благодарным молитвенником». – «Хорошо, Скобелев. Но все-таки подумай, не отыщешь ли чего в памяти? – рад быть твоим душеприказчиком».

Тут Иван Никитич помолчал, поразмыслил некоторое время и сказал нерешительно и даже робко:

– Вот разве что, ваше величество... Только боюсь выговорить...

– Ничего. Говори все. Слушаю тебя сердцем.

– Вот что, государь! Есть у меня к тебе две заветные просьбы: одна – для моего последнего утешения, другая – для блага великой России и твоей бессмертной славы.

– Говори, Иван Никитич.

– Первое. Всегда была у меня дерзкая мечта: быть похороненным в ограде здешнего собора, но так, чтобы головой к ногам обожаемого мною императора Петра Первого.

– Так и будет. Сказывай вторую просьбу.

– Другая еще дерзновеннее. Заранее прошу, не прогневайся, государь. Ах, если бы ты даровал волю всем русским крестьянам, наградив их, по твоей высокой справедливости, землею. О государь! взамен ста миллионов рабов ты имел бы сто миллионов свободных подданных, которые ежечасно благословляли бы твое имя и всегда были бы готовы пролить за тебя и государство, тебе врученное, всю кровь до последней капли. Какое царствование! Какая мощь русской земли! Весь мир будет у твоих ног, государь! Извольте видеть, ваше величество, на столе эту большую книгу с застежкой? Там у меня все по этой части сказано, со всеми планами и соображениями. Плод двадцатилетней упорной работы. Возьми, государь, эту книгу. Вот и ключик к ней, у меня на шейной цепочке.

Но император нахмурился и прервал Скобелева резко:

– Как тебе не стыдно, беспутный старик! Лежишь на смертном одре, а болтаешь детские глупости. Прощай. Думай о грехах. Молись.

И вышел от него разгневанный.

В ту же ночь тихо, точно заснул, скончался Однорукий комендант. В ту же ночь приехал, по особому повелению, в крепость генерал Дубельт. Описал все комендантские бумаги и увез с

собою. В том числе и огромную таинственную книгу в переплете с застезкою. Куда она потом девалась – никому не известно. А первую просьбу Однорукого коменданта Николай Павлович все-таки повелел исполнить. Доселе в церковной ограде Петропавловского собора можно видеть мраморную плиту, обращенную изголовьем на север, прямо к стопам Петра Первого, покоящегося внутри храма, и на ней золотыми буквами высечено, что здесь покоится прах коменданта Петропавловской крепости генерала-адъютанта, генерала от инфантерии, Ивана Никитича Скобелева.

Судьба

Восточное предание

Жил, много лет назад, в небольшом, но богатом городе один купец, торговавший коврами, слоновой костью, пряностями и розовым маслом. Был он человек умный, учтивый, набожный и честный, вел дела свои в примерном порядке и тем заслужил всеобщее доверие и уважение.

Однажды представился ему случай выгодно купить и еще выгоднее перепродать большой груз золотого песка, вследствие чего его состояние могло бы сразу утроиться. Но для этого необходимо было купцу не только собрать все деньги, как наличные, так и отданные в долг, но и спешно распродать все товары. Взвесив внимательно выгоды и невыгоды предприятия и найдя дело настолько прибыльным и верным, что лишь исключительная немилость судьбы помешала бы его благополучному окончанию, купец решил пустить в смелый оборот все свое состояние, разом.

Итак, в недельный срок сделал купец все необходимые приготовления и распоряжения, никого из домашних в них не посвящая, как и подобает настоящему хозяину. Когда же наступило утро четверга – счастливого дня для всяких начинаний, – он сказал старшему сыну:

– Рыжую кобылу оседлай для себя, а мула под меня и под вьюк. Сын привык повиноваться отцу безгласно. Ни о чем не спрашивая, сделал, как было приказано. Перекинул через седло и закрепил два небольших кожаных мешка, которые подал ему отец; сотворили оба краткую дорожную молитву и выехали на заре из дома: отец впереди, сын несколько сзади и сбоку. Путь их пролегал под счастливою звездою. Все торговые и денежные сделки совершались так легко, коротко и выгодно, что купец, начинавший пугаться постоянной удачи, часто шептал про себя: «Если бог захочет», «Если богу угодно». Отводил судьбу.

Узнал он в дороге, что цены на предметы роскоши чрезвычайно повысились благодаря женитьбе французского принца на испанской инфанте. По этой причине ему удалось продать свои товары в кредит с большими задатками, значительно превышавшими предполагаемые им счета. Должники оказались все до одного людьми состоятельными и сговорчивыми, охотно платившими свои долги. И никакой задержки или помехи не произошло в дороге.

Благополучно покончив все дела, направил купец свой путь к тому приморскому великолепному городу, где дожидался его груз золотого песка. Купец был весел душою, хотя иногда все-таки шептал себе в бороду:

– Инш'алла.

Не доезжая одного конного поприща до моря и до славной гавани, завернули путники в постоялый двор для еды и ночлега. Как и всегда, отец захватил с собою переметные сумы и пошел в кофейную, а сын отвел животных в конюшню, расседлал их и задал корму. Потом оба вымыли руки, сотворили молитву и сели за скромный ужин.

Они еще не успели отужинать, как ворвалась в кофейную целая толпа людей подозрительного вида, шумных и плохо одетых. Они потребовали вина, стали пить и петь песни, и опять пили вино. Вскоре они перессорились, ссора перешла в крик, ругань и драку; блеснули ножи.

– Уйдем от худого дела, – сказал купец, вставая из-за стола. – Я тебе помогу седлать.

В темноте торопливо оседлали они лошадь и мула, выехали на дорогу и до тех пор ехали поспешно, пока за ними не смолкли топот ног и яростные возгласы, доносившиеся с постоялого двора. Но когда стало тихо, отец вдруг круто придержал мула, ощупал вокруг себя руками и приказал сыну:

– Стой! Ворочай назад!

Сам же нетерпеливо повернул мула и, погоняя его плетью, понесся во весь опор. Сын за ним.

Опять въехали во двор. Заглянули в окна кофейной, прислушались. Там тишина, как в могиле. Горят лампы. Людей сначала не видать. Только потом, присмотревшись, заметили на полу трупы и лужи крови. Okликнули хозяина, прислужников. Нет ответа. Должно быть, испугались резни и попрятались или убежали в лес. Бросил купец поводья на руки сыну. Быстрыми шагами поднялся по крыльцу, зашел в комнату, подошел к тому самому месту, где они только что ужинали, нагнулся над лавкой, – и сын увидел сквозь окно, как отец поднял с сиденья и перекинул через плечо оба кожаные мешка, связанные веревкой. Только тут понял сын, что второпях они забыли захватить эти мешки.

Но, выйдя на двор, купец не вымолвил ни слова в объяснение. Пристроил мешки к седлу, вскочил на мула и протянул его арапником под животом. Долго они скакали по дороге. Все боялись: вот нагрянет в кофейную полиция, погонится по горячим следам, схватит и отведет к судьям. А от судьбы – прав ты или виноват – во всю жизнь не отвяжешься, пока не обнищаешь до последней рубашки.

На заре достигли они небольшой речки, по обеим берегам которой росла свежая, тенистая роща. Здесь отец велел привязать лошадей к дереву. Сотворили они оба утреннее омовение. Потом отец приказал:

– Бери мешки и неси за мною.

Пришли на малую полянку, со всех сторон укрытую от посторонних взглядов. Купец остановился и сказал:

– Садись.

Сели. Отец развязал оба мешка и молча стал раскладывать все, что в них было, на две равные кучки. Все пополам: брильянты, жемчуг, бирюзу – камешек против камешка, по величине и достоинству. Так же золотые монеты, так же чеки на банкирские дома богатых мавров. Окончив же эту дележку, он сказал:

– Здесь две равных доли. Одна – твоя. Выбери любую кучу, ссыпь все, что в ней есть, в мешок, привяжи мешок к своему седлу. Сядешь сейчас же на лошадь и поедешь в том направлении, как мы до сих пор ехали. В пяти минутах езды увидишь, что дорога раздвоится. Возьмешь налево. Так ты короче доедешь домой. Помни, что теперь в доме ты самый старший. Строй жизнь как хочешь и умеешь. Я же тебе ни советов, ни благословений не даю. Иди. Пока не доедешь до первого селения, не смей оборачиваться назад. Домой я долго не вернусь. Может быть, и никогда. Ступай.

Сын безмолвно выслушал приказание, упал отцу в ноги, поцеловал землю между его стопами, повернулся, сел на лошадь и исчез между деревьями.

И вот пока все о купце и его сыне.

В роскошном и славном городе, столице великого государства, был канун торжественного праздника. Поэтому с самого раннего утра его жители – начиная от всемилостивейшего и всемогущего повелителя и кончая последним поденщиком – соблюдали строгий пост. До позднего вечера, до той поры, когда глаз не в состоянии различить черной нити от красной, никто не должен был вкушать пищу, а если кому хотелось пить, то закон разрешал лишь полоскать высохший рот чистою водою. Вечером же каждому предстояло вознаградить свое терпение обильными яствами, сладостями, фруктами, вином и другими земными благами. Был также в той стране обычай, освященный глубокой древностью: приглашать на этот вечер к себе в дом бедняка, сироту, одинокого старца или путника, не нашедшего на ночь крова, и обычай этот свято чтился как в роскошных дворцах богачей, так и в покосившихся хижинах предместий.

И вот перед вечером, выходя из дома молитвы, обратился один из самых знатнейших и уважаемых людей города к окружавшим его друзьям со следующими словами.

– Друзья, – сказал он, – не откажите мне в покорной просьбе. Приведите в мой дом несколько бедняков, каких только встретите на улицах и на порогах кофеен. И чем они будут слабее, беспомощнее и несчастнее, тем с большим вниманием и почетом я их встречу.

Человек этот был неисчислимо богат: длинные его караваны ходили в глубь страны, вплоть до верхнего течения Великой реки; многопарусные корабли его бороздили все моря света; мраморные дома его с обширными садами и прохладными фонтанами поражали своей красотой. Но если богатство снискало ему почет и удивление, то любим он был повсюду за свои душевные

качества: правдивость, доброту и мудрость. Никогда не оскудевали его руки для бедных, ни разу не оставил он друга в минуту горя или неудачи, а советы его в самых сложных случаях жизни были так верны и дальновидны, что к ним нередко прибегал и сам повелитель, – тень пророка на земле.

Поэтому друзья, в ответ на его просьбу, поклонились ему и обещали как можно скорее исполнить его желание. Один же из них сказал особо:

– О источник добра, покровитель бедных, ценитель драгоценных камней! Выслушай снисходительно то, что мне рассказали мои слуги, вернувшиеся из бани, куда, как тебе известно, обязан пойти в этот день каждый правоверный.

В ту же баню пришел еще один человек, такой старый, такой дряхлый и такой бедный, какого не было видано даже в нашем богатом городе, переполненном нищими. Все имущество его состояло из бабуш, кожаной сумы и лохмотьев, которые ему нечем было переменить.

И вот, выйдя из бани в раздевальную, этот бедняк заметил, что кто-то – если не из корысти, то, вернее, ради глупой шутки – унес его нищенскую суму и веревочные бабуши, оставив ему лишь единственную ветхую и дырявую одежду. Все, кто присутствовал при этом, были сильно огорчены и разгневаны. Но еще более удивились они, когда увидели, что лицо старца, вместо того чтобы изобразить печаль и злобу, просияло весельем и радостью. Подняв к небу руки, он благодарил бога и судьбу в таких прекрасных, искренних и горячих выражениях, что изумленные зрители замолкли и в смущении отступили от него... Об этом человеке я и хотел сказать тебе, о даритель спокойствия, хотя и признаюсь, что кажется мне этот странный старик безумным.

Знатный богач покачал головой и сказал:

– Безумный он или святой – мы не знаем. Приведи же его, друг мой, поскорее ко мне. Первым гостем он будет у меня сегодня за ужином.

И вот, когда наступила долгожданная минута, и во всех домах столицы зажглись яркие огни, и из всех печей потянулись по воздуху чудесные ароматы пилава, жареной птицы и острых приправ, был введен старый нищий в дом знаменитого богача. Сам хозяин встретил его во дворе; почтительно поддерживая под руки, ввел его в залу праздника, посадил на главное место и брал от слуг блюда, чтобы собственноручно накладывать гостю лучшие куски.

Приятно было всем пирующим видеть, какой лаской и добротой светилось лицо старика. Хозяин же, умиленный видом его седин и кроткой старческой радостью, спросил гостя:

– Скажи, сделай мне милость, не могу ли я услужить тебе, отец мой, исполнив какое-нибудь твоё желание, все равно – малое или большое.

Старик улыбнулся светло и ответил:

– Покажи мне всех детей твоих и внуков, и я благословлю их.

Подшли к нему поочередно, по старшинству, четверо взрослых сыновей купца и трое юношей – внуков, и каждый становился на колени между ног старца, и старец возлагал руки на их головы.

Когда же этот старинный хороший обряд окончился, то последним попросил благословения знаменитый купец. Старец не только благословил его, но и обнял и поцеловал в обе щеки и в уста.

И вот, поднявшись в великом волнении с колен, сказал знатный купец:

– Прости меня, мой отец, за вопрос, который я осмелюсь задать тебе, и не сочти его за праздное любопытство. Во все время, пока ты сидишь в моем доме, гляжу я на тебя пристально и не могу оторвать моих глаз от твоего почтенного лица, и все более и более кажется оно мне близким и родным. Не помнишь ли ты, отец мой, не встречались ли мы с тобой когда-нибудь раньше... в очень давние годы?

– Охотно прощаю, сын мой, – ответил старик с любовной улыбкой, – и, в свою очередь, задам тебе вопрос: не помнишь ли ты тенистую рощу на берегу небольшой речки, а также мула и рыжую кобылу, привязанных к дереву, и двух людей – отца и сына, которые на круглой поляне высыпали из кожаных сум драгоценные камни и золото и делили все пополам?..

Тогда купец склонился до земли перед старцем и поцеловал землю между его ног и, вставши, воскликнул:

– О возлюбленный отец мой, благодарение богу, приведшему тебя сюда. Взгляни же, вот – дом твой, а вот – я, и дети мои, и внуки – все мы слуги и рабы твои.

И обнялись они с отцом и долго плакали от радости. Плакали и все окружающие. Когда же

прошло некоторое время и наступило сладкое спокойствие, то спросил знатный купец с нежной учтивостью у своего отца:

– Скажи же, отец мой, почему ты в то утро поделил между нами все свое имущество и почему пожелал, чтобы мы поехали в разные стороны, расставшись надолго, если не навсегда?

Старец ответил:

– Видишь ли: едва мы выехали по нашему делу, то за нами пошла необычайная удача. Вспомни – я все твердил: «Инш'алла». Я боялся зависти судьбы. Но когда мы вернулись обратно на постоянный двор и я нашел нетронутыми наши мешки, лежавшие на виду, доступные каждому взору и каждой руке, – я понял, что такая удача превосходит все, случающееся с человеком, и что дальше надо мною повиснет длинная полоса неудач и несчастий. И вот, желая предохранить тебя, моего первенца, и весь дом мой от грядущих бедствий, я решился уйти от вас, унося с собою свою неотвратимую судьбу. Ибо сказано: во время грозы лишь глупец ищет убежища под деревом, притягивающим молнию... И ты, видящий, до какого нищенского состояния я дошел в эти годы разлуки, – не найдешь ли ты, что я поступил прозорливо?

Все слушатели, внимавшие этим словам, поклонились старцу и дивились его мудрой проныцательности и его твердой любви к покидаемой семье.

Один же из самых старых и чтимых гостей спросил:

– Почему же ты, о брат моего дяди, сегодня, вместо того чтобы плакать, радовался и ликовал, узнав, что у тебя украли последнюю нищенскую суму? Не разгневайся, прошу тебя, на мой нескромный вопрос и, если тебе угодно, ответь на него. Старик на это сказал с доброй улыбкой:

– Оттого я возликовал, что в этот миг, сразу, я понял, что судьбе надоело преследовать меня. Ибо подумай и скажи: можно ли вообразить во всем подсолнечном мире человека, более бедного и неудачливого, чем нищий, у которого украли его суму? Более худого судьба уже не могла придумать для меня. И погляди – я не ошибся. Не нашел ли я в тот же день и сына моего, и его сыновей, и сыновей его сыновей. И теперь, не боясь уже привлечь на их головы своей злой судьбы, я доживу остаток дней моих в любви, радости и покое.

И все опять поклонились ему и воскликнули единогласно:

– Судьба!

Золотой петух

Не могу точно сказать, когда случилось это чудо. Во всяком случае, – если не в день летнего солнцестояния, 21 июня, то очень близко к нему. А происходило оно на даче, в Виль-д'Аврэ, в десяти километрах от Парижа.

Я тогда проснулся еще до света, проснулся как-то внезапно, без мутного перехода от сна к яви, с чувством легкой свежести и со сладкой уверенностью, что там, за окнами, под открытым небом, в нежной ясности занимающегося утра происходит какое-то простое и прелестное чудо. Так, иногда меня ласково пробуждали до зари – веселая песня скворца или дерзкий, но мелодичный свист черного дрозда. Я распахнул окно и сел на подоконник. В еще холодном воздухе стояли наивные ароматы трав, листьев, коры, земли. В темных паникадилах каштанов еще путались застрявшие ночью, как тончайшая кисея, обрывки ночного тумана. Но деревья уже проснулись и поеживались, открывая радостно и лениво миллионы своих глаз: разве деревья не видят и не слышат?

Но веселый болтун-скворец и беззаботный свистун-дрозд молчали в это утро. Может быть, они так же, как и я, внимательно, с удивлением, прислушивались к тем странным, непонятным, никогда доселе мною не слыханным звукам – мощным и звонким, – от которых, казалось, дрожала каждая частица воздуха. Я не вдруг понял, что это пели петухи. Прошло много секунд, пока я об этом догадался. Мне казалось, что по всей земле трубят золотые и серебряные трубы, посылая ввысь звуки изумительной чистоты, красоты и звонкости. Я знаю силу и пронзительность петушиного крика. В прежние времена, охотясь на весенних глухариних токах в огромных русских лесах, в десяти, пятнадцати верстах от какого-либо жилья, я перед восходом солнца улавливал своим напряженным слухом лишь два звука, напоминающих о человеке: изредка отдаленный паровозный свисток и петушиные крики в ближних деревнях. Последними земными звуками, которые я слышал, поднимаясь в беззвучном полете на воздушном шаре, всегда были свистки уличных мальчишек, но еще дольше их доносился победоносный крик петуха. И теперь,

в этот стыдливый час, когда земля, деревья и небо, только что выкупавшиеся в ночной прохладе, молчаливо надевали свои утренние одежды, я с волнением подумал: ведь это сейчас поют все петухи, все, все до единого, старые, пожилые, молодые и годовалые мальчуганы, — все они, живущие на огромной площади, уже освещенной солнцем, и на той, которая через несколько мгновений засияет в солнечных лучах. В окружности, доступной для напряженного человеческого слуха, нет ни одного городка, ни одной деревни, фермы, двора, где бы каждый петух, вытягивая голову вверх и топорща перья на горле, не бросал в небо торжествующих прекрасно-яростных звуков. Повсюду — в Версале, в Сен-Жермене и Мальмезоне, в Рюелле, Сю-рене, в Гарше, в Марн-ла-Кокет, в Вокресоне, Медоне и на окраинах Парижа звучит одновременно песня сотен тысяч восторженных петушиных голосов. Какой человеческий оркестр не показался бы жалким в сравнении с этим волшебным и могучим хором, где уже не было слышно отдельных колен петушиного крика, но полнозвучно льется мажорный аккорд на фоне пурпурно-золотого *do*!

Временами ближние петухи на несколько мгновений замолкали, как будто выдерживая строгую, точную паузу, и тогда я слышал, как волна звуков катилась все дальше и дальше до самых отдаленных мест, и, точно отразившись там, возвращалась назад, увеличиваясь, нарастая, взмывая звонким певучим валом до моего окна, до крыш, до верхушек деревьев. Эти широкие звуковые валы раскатывались с севера на юг, с запада на восток в какой-то чудесной, непостижимой фуге. Так, вероятно, войска великолепного древнего Рима встречали своего триумфатора-цезаря. Когорты, расположенные на холмах и высотах, первые успевали увидеть его торжественную колесницу и приветствовали ее отдаленными восклицаниями радости, а внизу кричали металлическими голосами восторженные легионы, чьи ряды один за другим уже озарились сияющим взглядом его лучезарных глаз.

Я слушал эту чудесную музыку с волнением, почти с восторгом. Она не оглушала ухо, но сладостно наполняла и насыщала слух. Что за странное, что за необыкновенное утро! Что случилось сегодня с петухами всей окрестности, может быть всей страны, может быть всего земного шара? Не празднуют ли они самый долгий солнечный день и радостно воспевают все прелести лета: теплоту солнечных лучей, горячий песок, пахучие вкусные травы, бесконечные радости любви и бурную радость боя, когда два сильных петушиных тела яростно сталкиваются в воздухе, крепко бьются упругие крылья, вонзаются в мясо кривые стальные клювы и из облака крутящейся пыли летят перья и брызги крови. Или, может быть, сегодня празднуется день трехсотого тысячелетия памяти Древнего Петуха — праотца всех петухов на свете, того, кто, как воин и царь, не знавший выше себя ничьей власти, полновластно господствовал над необозримыми лесами, полями и реками?

И наконец, может быть, — думал я, — сегодня, перед самым длинным трудовым днем лета, тучи на востоке задержали солнце на несколько мгновений, и петухи-солнцепоклонники, обоже- ствившие свет и тепло, выкликают в священном нетерпении своего огнеликого бога.

Вот и солнце. Еще никогда никто — ни человек, ни зверь, ни птица — не сумел уловить момента, когда оно появляется, и подметить секунды, когда все в мире становится из бледного розового — розово-золотым, золотым. Вот уже золотой огонь пронизал все: и небо, и воздух, и землю. Напрягая последние силы, в самозабвенном экстазе, трепеща от блаженства, закрыв в упоении глаза, поет великолепное славословие бесчисленный петушиный хор! И теперь я уже не понимаю — звенят ли золотыми трубами солнечные лучи, или петушиный гимн сияет солнечными лучами? Великий Золотой Петух выплывает на небо в своем огненном одиночестве. Вот он, старый прекрасный миф о Фениксе — таинственной птице, которая вчера вечером сожгла себя на пышном костре вечерней зари, а сегодня вновь восстала на Востоке из пепла, дыма и раскаленных углей! Постепенно смолкают земные петухи. Сначала ближние, потом дальние, еще более дальние, и, наконец, где-то совсем уже на краю света, почти за пределами слуха, я улавливаю нежнейшее пианиссимо. Вот и оно растаяло.

Целый день я находился под впечатлением этой очаровательной и могущественной музыки. Часа в два мне пришлось зайти в один дом. Посреди двора стоял огромный лоншанский петух. В ярких солнечных лучах почти ослепительно сверкало золото его мундира, блестели зеленые и голубые отливы его доспехов вороненой стали, развевались атласные ленты: красные, черные и белые. Осторожно обходя этого красавца, я нагнулся и спросил: — Это вы так хорошо пели сегодня на заре?

Он кинул на меня боковой недовольный взгляд, отвернулся, опустил голову, черкнул туда

и сюда клювом по песку и пробормотал что-то недовольным хриплым баском. Не ручаюсь, чтобы я его понял, но мне послышалось, будто он сказал: «А вам какое дело?»

Я не обиделся. Я только сконфузился. Я знаю сам, что я всего лишь слабый, жалкий человек, не более. Мое сухое сердце не вместит неистовых священных восторгов петуха, воспевающего своего золотого бога. Но разве не позволено и мне скромно, по-своему, быть влюбленным в вечное, прекрасное, животворящее, доброе солнце?

Дочь великого Барнума

I

Дневная репетиция окончена. Друг мой, клоун Танти Джеретти, зовет меня к себе на завтрак: сегодня у него великолепная манифика-«минестра» по-неаполитански. Я испрашиваю позволения прихватить до дороге оплетенную маисовой соломой бутылочку кианти. Живет Танти (уменьшительное от Константин) в двух шагах от цирка Чинизеллн, в однооконном номере дешевой гостиницы. Семья его маленькая: он и жена Эрнестина Эрнестовна-«грациозная наездница», она же танцует в первой паре циркового кордебалета.

Фамилия Джеретти – старинная. Она обосновалась в России еще в эпоху Николая I и давно известна во всех постоянных цирках и во всех бродячих полотняных «шапито». Она весьма ветвиста; из нее вышло множество отличных цирковых артистов: акробатов, жокеев, вольтижеров, дрессировщиков, партерных гимнастов, жонглеров, музыкальных клоунов и шпрыхклоунов (то есть говорящих). Джеретти всех возрастов работают в икарыйских играх, на канате и на проволоке, на турнике и на трапеции, делают воздушные полеты под «кумполом» цирка, выступают в высшей школе верховой езды, в парфорсе и тендеме.

Танти родился в Москве. Он впервые показался публике на тырсе (смесь опилок и песка) манежа четырех лет от роду и последовательно так обучился всем отраслям циркового искусства, что может прилично заменить исполнителя в любом номере из старинного репертуара. В высокой степени он обладал необходимыми для цирка двумя сверхчеловеческими чувствами: шестым – темпа и седьмым – равновесия. В зрелом возрасте он по влечению остановился на клоунском ремесле. Для этого у него были все нужные данные. Родные его языки – итальянский и русский. Но одинаково свободно и плохо он болтал на всех европейских языках, включая сюда финский, грузинский, польский и татарский. Он был достаточно музыкален и играл на любом инструменте, не исключая геликона и бычачьего пузыря. Голос его отличался таким особенно ясным звуком, что без всяких усилий бывал слышим в отдаленнейших уголках цирка. Главным же достоинством (и истинным даром Божиим) был у Танти милый прирожденный юмор – качество редкое даже у известных клоунов, не говоря уже о всем человечестве.

Не знаю почему, Танти не приобрел шумной славы, подобно некоторым его собратьям, как, например, Танти Бедини, братьям Дуровым, долговязому рыжему Рибо, коричневому Шоколаду, братьям Бим-Бом, Жакомино, братьям Фраттелини. Может быть, это происходило от излишней самолюбивой застенчивости? Или просто от неумения и нежелания Танти делать вокруг своего имени пеструю шумиху? Но директора цирков отлично знали, что если публику и привлекают в цирк кричащие имена «всемирно знаменитых соло-клоунов», то смеется она особенно громко, весело и непринужденно при выходах и маленьких репризах Танти Джеретти. Танти был клоуном не для чванных лож и надменного партера, а для верхних балконов и галереи, где ценят, любят и понимают смех.

Смешон и забавен он был в старом английском вкусе: наивном и флегматичном. В русском театре было раньше такое амплуа – «простак». Выходил он на манеж в традиционном просторном балахоне Пьеро с остроконечным войлочным колпаком на голове, лениво волоча ноги, запустив руки глубоко в карманы широчайших сползающих панталон. Все ему на свете надоело и прискучило. Когда его партнер в ярко-шелковом костюме, расшитом атласными бабочками и сверкающими блестками, предлагал ему показать публике новый номер, он, так и быть, соглашался, – «раз вышел на манеж, надо же работать!» – но соглашался с унынием и недоверием: «Все равно это никому не интересно». Слушая его недоуменные вопросы и рассеянные, невпопад, ответы, раек изнемогал от хохота, но сам Танти, понурый, весь точно развинченный, нико-

гда не смеялся.

В жизни он был обыкновенно скуп на слова и жесты; цирковая унылость у него заменялась внимательною серьезностью. Когда же изредка он улыбался – одними глазами, – то его домашнее, узкое и длинноносое лицо делалось от этой искрящейся улыбки привлекательным и даже прекрасным.

II

«Минестра» – густой суп, сваренный самим Танти на примусе, из макарон и сливок и обильно посыпанный тертым пармезаном, – оказалась выше всяких похвал. На том же примусе синьора Джеретти приготовила нам душистый горячий и крепкий кофе. Бутылка кианти попала на редкость удачная. Разговор шел неторопливо, но ладно. О, славное, простое, широкое гостеприимство людей, знающих тяжесть труда и сладость отдыха. Как проста их щедрость, и как скромна их домашняя семейная горделивость. Кто бывал, как свой, в переносных домах цирковых артистов, тот благодарно понял и никогда не забудет этого уютного, патриархального, целомудренного, дружелюбного быта.

Был зимний короткий петербургский вечер. Стало темнеть. Зажгли лампу. Эрнестина Эрнестовна, низко склонившись под разноцветным абажуром, прилежно сшивала какие-то яркие куски блестящей материи. Цирковые сами себе мастерят почти все необходимое для цирка: женщины вяжут трико и шьют костюмы. Мужчины приготавливают «реквизит» – всякие вещи, нужные при выходе; иные из них даже вырезают перочинным ножом деревянные клише для газетных объявлений. Танти снял с гвоздя старую гитару с металлическими струнами, проверил ее итальянский строй и, по моей просьбе, стал петь очаровательные, затейливые, быстролетные неаполитанские канцонетте. Иногда Эрнестина Эрнестовна, узнав сразу, по лукавому ритуально, начало песенки, говорила поспешно:

– Только не эту, Танти, пожалуйста, не эту. Что о нас подумает наш гость! Он пел очень мило. Там, на манеже, – да простит меня его милая тень, – Танти, из необходимости петь громко, пел все-таки дребезжащим козелком; здесь же, дома, у него оказывается сладенький, приятный и очень выразительный тенор.

Потом вспомнил он две песенки, которые хорошо известны в русских цирках. Я их тоже знал. Одна из них, на какой-то опереточный мотив, говорит о том, как некий неизвестный селадон поехал в город Медон. Другая – историческая – о друге Хохликове, Иване, и о его злоключениях, сочиненная наполовину по-русски, наполовину по-французски:

Друг наш Хохликов Ivan,
Sur le bi, sur le bout, sur le bi du bout du bane.

Он был веселый Charlatan,
Sur le bi, sur le bout, sur le bi du bout du bane.

Он раз поехал в Astrakhan,
Sur le bi, sur le bi du bout du bane.

И заболел там Kholeran,
Sur le bi, sur le bout, sur le bi du bout du bane.

Об этой второй песенке я – любитель разыскивать источники и корни безыменного творчества – давно уже наводил справки и, кажется, нашел следы ее возникновения. Действительно, жил некогда в Пензе такой помещик, только вовсе не Хохликов, а дворянин шестой книги Хохряков, большой чудак, как и все пензенские помещики. Он любил кутнуть, прихвастнуть, выпить на «ты», набуянить, дать взаймы и задолжать без отдачи, метнуть лихой банк, расплакаться под гитару и кинуть пачку денег цыганам, – словом, был добрый, веселый, честный и беспутный малый.

Трогательнее всего в этом бесшабашном помещике было то, что он любил цирк и цирковых людей настоящей большой любовью, преданной и неизменной. Когда цирк гостил в Пензе,

он не пропускал ни одного представления, не исключая и детских утренников. Он подносил цветы и подарки в бенефисы, крестил детей у артистов и был посаженным отцом на свадьбах. Кабинет его был увешан фотографиями всех известных и неизвестных «циркачей», с их собственноручными подписями, безграмотными и корявыми, но зато украшенными самыми причудливыми роскошными росчерками.

Когда на Хохрякова падали неожиданно с неба большие деньги, он закатывал великолепный обед всему цирковому составу: артистам, ветеринару и доктору – в старой просторной столовой, конюхам – на кухне. За обедом цирковой оркестр непременно играл на хорах старинные цирковые вальсы, марши, польки и галопы, и уже издавна было заведено, что весь обед проходил в музыкальном ускоренном темпе, именно так, как наскоро обедают персонажи в цирковых пантомимах. В такт музыке приносили и уносили блюда; делались преувеличенные, комические, но точные жесты; чистые тарелки перелетали через стол из рук в руки, вращаясь в воздухе; ножи, вилки и ложки служили предметами беспрестанного ловкого жонглирования, и, конечно, бил посуду в большом количестве сияющий от счастья Хохряков!

Он, когда мог, щедро помогал труппам, впадшим в полосу неудачи. Случалось, что влюбленность в цирковое дело заставляла его следовать из города в город за каким-нибудь бродячим цирком. Таким-то образом он и попал однажды из Пензы в Астрахань, где, как следствие объедения арбузом, его схватила и чуть не отправила на тот свет холера-морбус. Ах, уж эти русские помещики! Тянет их к себе, тянет кочевая жизнь. Цирк еще что! Были такие помещики, которые увязывались за дикими кочующими цыганами и не только странствовали с ними по полям и лесам, но даже описывали их житье в совсем недурных стихах.

III

Известно, что короли и клоуны пользуются привилегией называть друг друга «мой кузен». Но также и те и другие отличаются от простых смертных памятью на лица и события, с тою лишь разницей, что короли часто помнят злое, клоуны же предпочитают помнить хорошее.

После Хохликова, Ивана, Танти – живая летопись цирковой жизни – вспомнил с моею помощью всех друзей и покровителей цирка: Ознобишина, когда-то влюбленного в укротительницу Зениду, которую потом в Вене загрызла тигрица Люция; графа Рибопьера, князей Гагарина и Дадияни. Затем припомнили мы те случаи, когда богачи и титулованные люди женились на цирковых артистках. Между прочим, сестра Танти, прекрасная Анунциата Джеретти, вышла замуж за киевского миллионера Штифлера, владельца великолепного кафе. Затем помянули добрым словом всех знаменитых цирковых артистов от легендарного Блондена, впервые перешедшего по канату через Ниагару, и баснословного прыгуна Лиотера до нынешних семейств: Труцци, Сур, Момино, Соломонских, Годфруа Кук, Чинизелли, Джеретти. Выпили в честь и память Гагенбеков, хозяев гамбургского зверинца и первых в мире дрессировщиков. Поговорили об удачах и неудачах в цирковом мире, о приметах, джеттатуре и дурном глазе, о счастливых фортунах. А тут уже неизбежно всплыла из забвения история о великом Барнуме и о его прекрасной дочери. Я уже слышал ее раньше в нескольких вариантах, и чуднее всего для меня было то, что всегда место действия в ней приурочивалось к русскому городу Рыбинску. Вы, конечно, не хуже меня знаете о Барнуме, – говорил Танти. – Это был не то американский немец, не то чистый американец. Начал он свою необыкновенную карьеру, как и все богачи в Америке, чистильщиком сапог. Позднее ему первому пришла в голову мысль показывать любопытной публике всевозможные чудеса, капризы и ужасы природы. Это он открыл Сиамских близнецов Родику и Додику, Юлию Постронну – даму с драгунскими усами и великолепной черной бородой; саженных великанов и двухфутовых карликов; татуированных индианок и вымирающее племя ацтеков с птичьими профилями. Вскоре ему принадлежали все музеи, паноптикумы, панорамы, кунсткамеры и кабинеты восковых фигур в мире, не считая множества зверинцев и цирков. Никто лучше и роскошнее Барнума не умел устраивать грандиозных зрелищ и праздников для народных миллионных масс, с фейерверками, иллюминацией, оркестром и пушечной пальбой. Сколько великих знаменитостей он выкопал из мусора и показал Миру. Три имени звучали громче всех имен в прошлом столетии: Наполеона, Эдисона и Барнума. Он стал богатым и знаменитым. Звезда его не меркла до самой его смерти. Одно лишь печалило великого Барнума: это то, что судьба не послала ему сына, который впоследствии смог бы взять в крепкие руки

отцовские дела и, расширив их, дать новый блеск дому Барнума.

Лучшим утешением и отрадою для Барнума была его единственная дочка Магдалина – красавица Мод... Что и говорить, в коммерческих делах самая талантливая женщина все-таки ниже среднего умного мужчины. Но проницательного старика давно радовало и обнадеживало рано проснувшееся в девочке влечение ко всем профессиям, входившим в круг отцовских дел и предприятий. В младенчестве ее любимую игрою было строить из песка, тряпок и прутьев паноптикумы или балаганы, рассаживать в них кукол и зазывать воображаемую публику. Семи лет она ловко жонглировала мячами, дисками, кольцами и палками. В десять лет Мод уже скакала без лонжи¹ по цирковому кругу, стоя на панно на огромной галопирующей белой лошади. Будучи юной девушкой, она научилась отлично стрелять, фехтовать, плавать и играть в теннис. Когда же семнадцатилетняя Мод поступила к отцу в качестве личного секретаря, великий Барнум со слезами гордости и умиления открыл у нее решительную руку, быстрый взгляд и смелую находчивость будущего крупного дельца. Это редко бывает с детьми, особенно с девочками, чтобы их искренне влекли к себе отцовские профессии, но раз уж это случилось, то такое влечение и понимание дают блестящие результаты.

Настал и тот неизбежный день, когда Барнум, особенно обеспокоенный приступом подагры, первый заговорил с дочерью о своих годах и болезнях, о быстротекущем времени и, наконец, о той роковой поре, когда девушке надо подумать о покровителе и спутнике жизни, а отцу – о внуках.

На этот намек красавица Мод отвечала, как и полагается, что она никогда о замужестве не думала, что выходить замуж и лишаться свободы еще очень рано, но что, если милый па этого хочет, а главное, для поддержания величия дома Барнума в будущих поколениях, – она согласна послушаться папиного совета. Но она ставит одно условие: чтобы ее муж обладал всеми папиными достоинствами, был бы умен, изобретателен, смел, настойчив, здоров и находчив в борьбе с жизнью и чтобы, подобно папе и ей, всей душой любил кипучее папино дело.

– Конечно, – прибавила Мод, – если я попрошу, то мой добрый па купит мне в мужья настоящего герцога с восьмисотлетними предками, но я больше всего горжусь тем, что мой очаровательный, волшебный па когда-то чистил сапоги на улицах Нью-Йорка. Конечно, я отлично знаю, что найти нужного мне человека в миллион раз труднее, чем нагнуться и подобрать на дороге графа. Моего избранника придется искать по всему земному шару.

В конце этого разговора было обоими решено: когда настанут после весеннего равноденствия тихие дни на океане, Барнум с дочерью поедут в старую Европу: милый па – купать свою подагру в целебных источниках, она – осматривать дворцы, развалины и пейзажи по Бедкеру.

Говорили отец и дочь с глазу на глаз, но по невидимым нитям этот разговор облетел в самое короткое время все, какие только есть на свете, музеи, цирки, паноптикумы, «шапито» и балаганы. Люди этих занятий пишут друг другу часто и всегда о делах. Вскоре на всем земном шаре стало известно, что Барнум со своей дочерью разъезжают по разным странам с целью найти для красавицы Мод подходящего мужа, а великому Барнуму – достойного преемника.

И вот все люди, так или иначе прикосновенные к делам барнумовского характера, взбудоражились и заволновались. Женатые директора мечтали: «А вдруг Барнуму приглянется мое предприятие, и он возьмет да и купит его, по-американски, не торгуясь». Холостякам-артистам кто помешает фантазировать? Мир полон чудес для молодежи. Стоит себе юноша двадцати лет у окна и рубит говяжьи котлеты или чистит господские брюки. Вдруг мимо едет королевская дочка: «Ах, кто же этот раскрасавец?..»

Докатился этот слух и до России.

IV

Русские города всегда бывали загадками и сюрпризами для цирковых администраторов, которым никогда не удавалось предугадать доходы и расходы предстоящего сезона. Но особенно капризен был в этом смысле богатейший город Рыбинск, или Рыбное, как его просто зовут на Поволжье. Случалось, что там самый захудалый ярмарочный цирк с дырявым «шапито», с костлявыми одрами под видом лошадей, с артистами-оборванцами и безголосыми клоунами имел сказочный, бешеный успех и рядовые полные сборы. А когда на следующий год, привлеченная молвою, приезжала в Рыбное образцовая труппа с европейскими именами, с прекрасной ко-

нюшной, с блестящим реквизитом, то, не выдержав и месяца, она принуждена бывала бежать из города – прогоревшая, разорившаяся, прожившая все прежние сбережения. Никто не знал, чему приписать эти резкие колебания во вкусах и интересах рыбинской публики: моде, уровню весеннего разлива, улову рыбы, состоянию биржи? Таинственная загадка!

В тот год городской деревянный цирк снимал Момино, маленький, толстый, плешивый, с черными крашеными усищами. За ним всегда шла репутация директора «со счастливой рукою». Состав артистов был, правда, не столичный, но очень хороший для любого губернского города, из средних: конюшня в образцовом порядке, оркестр из двенадцати человек под управлением известного Энрико Россетти, реклама была поставлена очень широко, цены невысоки... И вот без всяких видимых причин цирк Момино постигает с самого начала полнейшая неудача. Первое представление не дало полного сбора, на третьем и четвертом зияют пустые места целыми этажами, дальше – цирк пустует. Не помогают: ни бесплатный вход для детей в сопровождении родителей, ни лотерейные выигрыши на номера билетов, ни раздача подарков в виде воздушных шаров и шоколадок. Крах полный. Всеобщее уныние и отчаяние...

V

И вот однажды идет утренняя, почти никому не нужная репетиция. Все вялы, скучны, обозлены: и артисты, и животные, и конюхи. У всех главное на уме: «Что будем сегодня есть?» Вдруг приходит из города старый Винценти, третьестепенный артист; был он помощником режиссера, да еще выпускали его самым последним номером в вольтижировке, на затычку. Приходит и кричит:

– Новость! Новость! Поразительная новость! Потрясающая новость!

Что такое? Все собираются вокруг него, и он рассказывает:

– Сегодня приехали в Рыбинск Барнумы и остановились в Московской гостинице. Да, да, тот самый, знаменитый, американский, с дочерью. Я и фамилию его видел в швейцарской на доске.

Надо вообразить, какой переполох начался в цирке. Ведь все артисты давным-давно слышали о путешествии знаменитого Барнума по Европе и о том, с какой целью оно было предпринято.

Послали в «Московскую» верных лазутчиков навести справки у гостиничной администрации. Оказалось, Винценти прав. Действительно, Чарльз и Магдалина Барнум, американские граждане, приехали в Россию из Америки, через Францию, Германию, Австрию. Цель – путешествие. Заняли три наилучших номера, четвертый – для переводчика. Скушали сегодня два фунта зернистой икры и паровую мерную шекснинскую стерлядку... У всего циркового состава закружилась голова от этих известий.

Решили послать Барнуму почетное приглашение. Билеты надписал по-английски Джемс Адвен, полуангличанин; он очень хорошо работал жокея. Адвен и отнес конверт в гостиницу. Барнум сам к нему не вышел, но выслал через переводчика два сотенных билета и велел сказать, что сегодня, ввиду усталости, быть в цирке не сможет, а посетит его непременно завтра.

Всё с ума сошли в цирке. У каждого было в мыслях: подтянуться, постараться, блеснуть если не новым, то эффектно поданным номером. Репетировали с увлечением. Молодежь так к зеркалам и прилипла. Помилуйте: Барнум, красавица американка, миллионы! Цирковой «король железа», геркулес и чемпион мира по подыманию тяжестей. Атлант, завил усы кверху кольчиками, ходил по манежу в сетчатом тельнике, скрестив на груди огромные мяса своих рук, и глядел на будущих соперников победоносно, сверху вниз. Какая женщина устоит против красоты его форм? Укротитель зверей венгерец Чельван чистил запущенные клетки у своих львов и тигров. Остальные штопали трико, стирали и гладили костюмы, протирали до блеска никелевые части гимнастических приборов... Весь этот день, и вся ночь, и еще полдня до представления были сплошной лихорадкой.

Не волновался только один человек – клоун Батисто Пикколо. Он был очень талантливым артистом, изобретательным, живым, веселым клоуном и прекрасным товарищем. А спокоен он остался потому, что обладал трезвым умом и отлично понимал: какая же он партия для принцессы всех музеев, цирков и зверинцев мира?.. После репетиции, во время которой пришла весть о Барнуме, пошел, по обыкновению. Пикколо не торопясь к своему приятелю. Был у него сер-

дечный дружок, лохматый рыбинский фотограф Петров. Видались они ежедневно, жить друг без друга не могли, хотя, по-видимому, что может быть общего между клоуном, и фотографом? Да и фотограф-то Петров был неважный и не очень старательный. Но был у него волшебный фонарь с каким-то особенным мудреным названием. Фонарь этот посылал отражения на экран не только с прозрачных стеклянных негативов, но и с любой картинки или карточки. Давая сеансы волшебного фонаря в купеческих домах и в школах, Петров больше зарабатывал, чем фотографическим аппаратом. Друзья позавтракали, и за копчушками, жареными на масле, с пивом Пикколо рассказывал фотографу о приезде Барнума и всю историю о его поездке с дочерью по Европе. Петров был по натуре скептик. Он махнул рукою и сказал коротко: «Чушь». Но по мере того как завтрак подходил к концу, Петров стал все глубже задумываться и временами глядел куда-то в пространство, поверх клоуновой головы.

– Знаешь, Батисто, я для тебя придумал на завтра сногшибательный трюк.

– Ты?

– Я. Скажи мне, ты умеешь ходить на руках?

– Да.

– И стоять?

– Это гораздо труднее, но возможно. Не более, однако, двух-трех секунд.

– И можешь удержать на ногах небольшую тяжесть, вроде доски?

– Вроде доски? Великолепно.

– Теперь скажи мне, ты мог бы стать вверх ногами на слона?

– Несомненно.

– Тогда бери шляпу, бери под мышки стремянку, я возьму с собою аппарат и вот этот соломённый столик, и бежим к тебе за костюмом.

Когда они вышли из комнаты клоуна на улицу, Петров крикнул живейного извозчика и приказал:

– В зверинец. Одним духом... Четвертак на чай.

В бродячем зверинце, на краю города, был, в числе других зверей, большой умный слон, не то Ямбо, не то Зембо, не то Стембо – во всяком случае, одно из трех. Поговорили с содержателем, он дал согласие.

Сторож вывел добродушного Ямбо из клетки. Несколько калачей привели его в самое благодушное настроение, и он благосклонно позировал перед аппаратом. Сначала фотограф снял отдельно слона и отдельно клоуна. Потом их вместе: Пикколо кормит Ямбо, и тот с улыбкою щурит глаза. Затем Пикколо нежно обнимает слоновью тушу широко расставленными руками, и прочее.

Немного труднее было снять клоуна стоящим на руках, ногами кверху, на спине Ямбо да еще со столиком на подошвах, и здесь Ямбо – превосходная модель – был виноват гораздо менее, чем Пикколо. Однако Петрову удалось поймать подходящий момент и щелкнуть затвором.

– Баста!

По дороге в город фотограф кое-что объяснил клоуну. Пикколо покачивал головой и посмеивался.

VI

Настало многообещающее завтра. Опытный хитрый директор делал чудеса. Сотни бесплатных билетов были розданы городовым, приказчикам, грузчикам, уличным ребятам, мещанам, гимназистам и солдатам. Нельзя же было показать Барнуму пустой цирк?

Два конюха с утра толкли в ступах: один – синьку, другой – красный кирпич. Когда же манеж был тщательно посыпан золотым волжским песком, Момино собственноручно вывел на нем от центра к барьеру синие стройные стрелки и переплел их красными красивыми арабесками. У самого Чинизелли в Петербурге не бывало такого прекрасного узорчатого паркета.

Он же велел дать лошадям полуторные порции овса. Он сам слегка намаслил их крупы и малой щеточкой туда и сюда расчесал им шерсть так, что она являла из себя подобие глянцевитой шахматной доски.

Артисты тоже позаботились о себе. В аптекарских магазинах был скуплен весь фиксатуар и весь бриллиантин. Какие геометрические проборы! Какие гофрированные коки! Какие блестя-

щие усы! Какие губы сердечком!

Представление началось ровно в восемь с половиной часов. Долг газовому обществу уплатили еще утром, и потому освещение было аль джиорно. В девять часов без десяти минут приехал в цирк Барнум с дочерью и переводчиком. Их встретили тушем. Барнум сел не в приготовленную ложу, а во второй ряд кресел, в излюбленные места знатоков цирка, сейчас же справа от входа из конюшен на манеж.

Надо ли говорить о том, как усердно, безукоризненно, почти вдохновенно работала в этот вечер вся труппа? Все цирковые существа: женщины и мужчины, лошади и собаки, униформа и конюхи, клоуны и музыканты – точно старались перещеголять один другого. И надо сказать: после этого представления дела. Момино так же внезапно, как они раньше падали, теперь быстро пошли на улучшение.

Геркулес Атлант так старался, что запах его пота достигал второго и даже третьего яруса. После его номера оставил за собою очередь Батисто Пикколо. Артисты думали, что он сделает веселую пародию на силача.

К удивлению всех, он вышел на манеж с рукою, которая висела на перевязи и была обмотана марлей.

На плохом, но очень уверенном английском языке он объявляет публике, обращаясь, однако, к креслам, занятым Барнумами:

– Почтеннейшая публика. Я приготовлял силовой номер. Одной, только одной правой рукою я могу поднять этого атлета вместе с его тяжестями, прибавив сюда еще пять человек из зрителей, могу обнести эту тяжесть вокруг манежа и выбросить в конюшню. К сожалению, я вчера вывихнул себе руку. Но с позволения уважаемой публики сейчас будут на экране волшебного фонаря показаны подлинные снимки с рекордных атлетических номеров несравненного геркулеса и тореадора Батисто Пикколо.

Из рядов выходит черномазый, лохматый, сумрачный фотограф. Вместе с ним Пикколо быстро укрепляет и натягивает в выходных дверях большую белую влажную простыню. Фотограф садится с фонарем посредине манежа и, накрывшись черным покрывалом, зажигает ацетиленовую горелку. Газ притушивается почти до отказа. Экран ярко освещен, а по нему бродят какие-то нелепые, смутные очертания. Наконец раздается голос Пикколо, невидимого в темноте:

– Азиатский слон Ямбо. Сто тридцать лет. Весом двести одиннадцать пудов, иначе – три с половиной тонны.

На экране чрезвычайно четко показывается громадная, почти в натуральную величину, фигура слона. Его хобот свит назад, маленькие глазки насмешливо устремлены на публику, уши торчат в стороны растопыренными лопухами. Фотограф меняет картину. Теперь на ней Пикколо в обычном клоунском костюме. А сам Пикколо объясняет:

– Знаменитый соло-клоун, атлет и геркулес вне конкуренции, мировой победитель Батисто Пикколо в сильно уменьшенном виде.

Новые картины показывают Пикколо стоящим рядом со слоном; затем Пикколо стоит на стуле, опершись спиною на слоновий бок, затем широко распростирает руки по телу слона, прижавшись к нему грудью...

– Не виданный нигде в мире с его сотворения номер, – возглашает клоун. – Сейчас несравненный геркулес Батисто Пикксла без помощи колдовства, или волшебства, или затемнения глаз, или другого мошенничества поднимет слона Ямбо весом двести одиннадцать пудов – иначе, три с половиной тонны – на воздух двумя руками. Экран сияет как бы с удвоенной силой, и с двойной четкостью показывается на нем Пикколо, стоящий, слегка согнув ноги, на столе. Его голова закинута назад, его руки подняты вверх и расставлены, а на его ладонях действительно лежит, растопырив в воздухе тумбообразные ноги, слон Ямбо, такой огромный, что клоун, стоящий под ним, кажется козявкою, комаром. И однако...

В цирке тишина. Тонкий женский голос на галерке восклицает: «Ах, святые угодники!» Ропот ужаса, восхищения, недоумения, восторга наполняет цирк.

– Последний номер, – пронзительно кричит клоун. – Невероятно, но факт, зафиксированный документально современной фотографией, Геркулес из геркуле-сов, современный соперник Милона Кротонского, Батисто Пикколо держит слона Ямбо, двести одиннадцать пудов – иначе, три с половиной тонны – на одной руке!!! И, правда, новая картина изображает самое невероятное зрелище: человек-москит держит на одной вытянутой вверх руке несообразно громадную

гору, которую сравнении с ним представляет слон. Публика подавлена. Кто-то всхлипывает.

– Конец представления, – кричит Пикколо, – господин капельмейстер, сыграйте один марш! Механик, давайте газ!

При полном освещении клоун видит, как, снявши золотое пенсне и держа его в руке, качается от хохота на стуле толстый, бритый Барнум. Дочка его встала на кресло и весело смеется.

– Пикколо, Пикколо! – кричит она. – Поверните картинку вниз ногами! Ах, это замечательно! Поверните же картинку!

И она жестом показывает, как надо повернуть снимок.

Пикколо подходит к ее месту преувеличенно торжественным, приседающим клоунским шагом и останавливается перед ее креслом. Он снимает свой колпак и метет им песок арены, склоняясь в низком поклоне.

– Желание красавицы – закон для всего мира.

Фотограф вновь показывает на экране последнюю картину, на этот раз в том виде, как он ее снимал. Всем сразу становится ясно, что не Пикколо держал слона на руках, а слон держал его на спине, когда он встал на нее вверх ногами... С галерки слышен недовольный бас:

– Оказывается – жульничество!

Но глаза мисс Барнум еще несколько раз останавливаются на клоуне с улыбкой и любопытством...

Когда же публика стала расходиться, очень довольная вечером, Барнум пригласил всех артистов поужинать у него в «Московской». Ужин был самый королевский: ведь давал его король всех музеев на земном шаре! Играл городской оркестр, лилось шампанское, говорились веселые тосты... Батисто сидел рядом с красавицей Мод. Без клоунского грима он, надо сказать, был очень недурным парнишкой; особенно хороши, говорят, у него были черные, сияющие глаза. Они весело болтали. Перегнувшись к ним через стол, толстый Барнум крикнул с обычной грубой шутливостью:

– Не находишь ли ты, моя дорогая Мод, что твой кавалер мог бы быть на два дюйма выше ростом? Пикколо быстро ответил:

– Наполеон и Цезарь не хвастались высоким ростом!

– Ого! – сказал Барнум.

А Мод тотчас же подхватила:

– Милый па! Лучше умный человек небольшого роста, чем большой и глупый болван!

В конце ужина, когда все вставали из-за стола, Барнум крепко хлопнул клоуна по плечу и сказал:

– Послушайте, Пикколо, в Будапеште я только что купил большой цирк-шапито, вместе с конюшней, костюмами и со всем реквизитом, а в Вене я взял в долгую аренду каменный цирк. Так вот, предлагаю вам: переправьте цирк из Венгрии в Вену, пригласите, кого знаете из лучших артистов, – я за деньгами не постою, – выдумайте новые номера и сделайте этот цирк первым, если не в мире, то по крайней мере в Европе. Словом, я вам предлагаю место директора...

Они пожали друг другу руки, а Барнум, потрепав Батисто по спине, лукаво прибавил:

–... А дальше мы посмотрим...

Ну, а потом танцевали кадрили, польку и вальсы: Барнум с мадам Момино, Пикколо с прекрасной Мод, атлет Атлант с мадемуазель Жозефин, наездницей-гротеск, мохнатый фотограф Петров с девицей «каучук». Все танцевали. Как цыгане всегда готовы петь, так цирковые любят танцы... люди темпа! Рассказывали, что во время кадрили мадемуазель Барнум по секрету подарила клоуну колечко с отличным рубином... А рубин, как всем известно, означает любовь внезапную и пламенную...

– Что же? Они, конечно, поженились?

– Ну, уж этого я не знаю... Думаю, что да. Впрочем, в ту пору я был в таком возрасте, что ловил нашего фокстерьера за хвост под столом не нагибаясь.

Время идти в цирк. Оба Джеретти быстро собираются. Синьора Джеретти делает мне большую честь: позволяет донести ее картонку до цирка. Заодно я беру билет на давно знакомое представление. Что поделаешь? И во мне, как в Хохликове, Иване, течет пензенская кровь.

Если уж слушать, Ника, то слушай внимательно. Такой уговор. Оставь, милая девочка, в покое скатерть и не заплетай бахрому в косички...

Звали ее Ю-ю. Не в честь какого-нибудь китайского мандарина Ю-ю и не в память папирос Ю-ю, а просто так. Увидев ее впервые маленьким котенком, молодой человек трех лет вытаращил глаза от удивления, вытянул губы трубочкой и произнес: «Ю-ю». Точно свистнул. И пошло – Ю-ю.

Сначала это был только пушистый комок с двумя веселыми глазами и бело-розовым носи-ком. Дремал этот комок на подоконнике, на солнце; лакал, жмурясь и мурлыча, молоко из блюдечка; ловил лапой мух на окне; катался по полу, играя бумажкой, клубком ниток, собственным хвостом... И мы сами не помним, когда это вдруг вместо черно-рыже-белого пушистого комка мы увидели большую, стройную, гордую кошку, первую красавицу и предмет зависти любителей.

– Ника, вынь указательный палец изо рта. Ты уже большая. Через восемь лет – невеста. Ну что, если тебе навяжется эта гадкая привычка? Приедет из-за моря великолепный принц, станет свататься, а ты вдруг – палец в рот! Вдохнет принц тяжело и уедет прочь искать другую невесту. Только ты и увидишь издали его золотую карету с зеркальными стеклами... да пыль от колес и копыт...

Выросла, словом, всем кошкам кошка. Темно-каштановая с огненными пятнами, на груди пышная белая манишка, усы в четверть аршина, шерсть длинная и вся лоснится, задние лапки в широких штанинах, хвост как ламповый ерш!..

Ника, спусти с колеи Бобика. Неужели ты думаешь, что щенячье ухо это вроде ручки от шарманки? Если бы так тебя кто-нибудь крутил за ухо? Брось, иначе не буду рассказывать...

Вот так. А самое замечательное в ней было – это ее характер. Ты заметь, милая Ника: живем мы рядом со многими животными и совсем о них ничего не знаем. Просто – не интересуемся. Возьмем, например, всех собак, которых мы с тобой знали. У каждой – своя особенная душа, свои привычки, свой характер. То же у кошек. То же у лошадей. И у птиц. Совсем как у людей...

Ну, скажи, видала ли ты когда-нибудь еще такую непоседу и егозу, как ты, Ника? Зачем ты нажимаешь мизинцем на веко? Тебе кажутся две лампы? И они то съезжаются, то разъезжаются? Никогда не трогай глаз руками...

И никогда не верь тому, что тебе говорят дурного о животных. Тебе скажут: осел глуп. Когда человеку хотят намекнуть, что он недалек умом, упрям и ленив, – его деликатно называют ослом. Запомни же, что, наоборот, осел – животное не только умное, но и послушное, и приветливое, и трудолюбивое. Но если его перегрузить свыше его сил или вообразить, что он скаковая лошадь, то он просто останавливается и говорит: «Этого я не могу. Делай со мной что хочешь». И можно бить его сколько угодно – он не тронется с места. Желал бы я знать, кто в этом случае глупее и упрямее: осел или человек? Лошадь – совсем другое дело. Она нетерпелива, нервна и обидчива. Она сделает даже то, что превышает ее силы, и тут же подохнет от усердия...

Говорят еще: глуп, как гусь... А умнее этой птицы нет на свете. Гусь знает хозяев по походке. Например, возвращаешься домой среди ночи. Идешь по улице, отворяешь калитку, проходишь по двору – гуси молчат, точно их нет. А незнакомый вошел во двор – сейчас же гусиный переполох: «Га-га-га! Га-га-га! Кто это шляется по чужим домам?»

А какие они... Ника, не жуй бумагу. Выплюнь... А какие они славные отцы и матери, если бы ты знала. Птенцов высиживают поочередно – то самка, то самец. Гусь даже добросовестнее гусыни. Если она в свой досужный час заговорится через меру с соседками у водопойного корыта, по женскому обыкновению, – господин гусь выйдет, возьмет ее клювом за затылок и вежливо потащит домой, ко гнезду, к материнским обязанностям. Вот как-с!

И очень смешно, когда гусиное семейство изволит прогуливаться. Впереди он, хозяин и защитник. От важности и гордости клюв задрал к небу. На весь птичник глядит свысока. Но беда неопытной собаке или легкомысленной девочке, вроде тебя, Ника, если вы ему не уступите дороги: сейчас же зазмеит лад землею, зашипит, как бутылка содовой воды, разинет жесткий клюв, а назавтра Ника ходит с огромным синяком на левой ноге, ниже колена, а собачка все трясет ущемленным ухом.

А за гусем – гусенята, желто-зеленые, как пушок на цветущем вербном барашке. Жмутся друг к дружке и пищат. Шеи у них голенькие, на ногах они не тверды – не веришь тому, что вы-

растут и станут как папаша. Маменька – сзади. Ну, ее просто описать невозможно – такое вся она блаженство, такое торжество! «Пусть весь мир смотрит и удивляется, какой у меня замечательный муж и какие великолепные дети. Я хоть и мать и жена, но должна сказать правду: лучше на свете не сыщешь». И уж переваливается с боку на бок, уж переваливается... И вся семья гу-синая – точь-в-точь как добрая немецкая фамилия на праздничной прогулке.

И отметить еще одно, Ника: реже всего попадают под автомобили гуси и собачки таксы, похожие на крокодилов, а кто из них на вид неуклюжее, – трудно даже решить.

Или, возьмем, лошадь. Что про нее говорят? Лошадь глупа. У нее только красота, способность к быстрому бегу да память мест. А так – дура дурой, кроме того еще, что близорука, капризна, мнительна и непривязчива к человеку. Но этот вздор говорят люди, которые держат лошадь в темных конюшнях, которые не знают радости воспитать ее с жеребьячьего возраста, которые никогда не чувствовали, как лошадь благодарна тому, кто ее моет, чистит, водит ко-ваться, поит и задает корм. У такого человека на уме только одно: сесть на лошадь верхом и бо-яться, как бы она его не лягнула, не куснула, не сбросила. В голову ему не придет освежить ло-шади рот, воспользоваться в пути более мягкой дорожкой, вовремя попоить умеренно, покрыть попонкой или своим пальто на стоянке... За что же лошадь будет его уважать, спрашиваю я те-бя?

А ты лучше спроси у любого природного всадника о лошади, и он тебе всегда ответит: ум-нее, добрее, благороднее лошади нет никого, – конечно, если только она в хороших, понимаю-щих руках.

У арабов – лучшие, какие только ни на есть, лошади. Но там лошадь – член семьи. Там на нее, как на самую верную няньку, оставляют малых детей. Уж будь спокойна, Ника, такая ло-шадь и скорпиона раздавит копытом, и дикого зверя залягает. А если чумазый ребяенок уползет на четвереньках куда-нибудь в колючие кусты, где змеи, лошадь возьмет его нежненько за ворот рубашонки или за штанишки и оттащит к шатру: «Не лазай, дурачок, куда не следует».

И умирают иногда лошади в тоске по хозяину, и плачут настоящими слезами.

А вот как запорожские казаки пели о лошади и об убитом хозяине. Лежит он мертвый сре-ди поля, а

Вокруг его кобыльчина ходе,
Хвостом мух отгоняв,
В очи ему заглядае,
Пырська ему в лице.

Ну-ка? Кто из них прав? Воскресный всадник или природный?..

Ах, ты все-таки не позабыла про кошку? Хорошо, возвращаюсь к ней. И правда: мой рас-сказ почти исчез в предисловии. Так, в Древней Греции был крошечный городишко с огром-нейшими городскими воротами. По этому поводу какой-то прохожий однажды пошутил: смот-рите бдительно, граждане, за вашим городом, а то он, пожалуй, ускользнет в эти ворота.

А жаль. Я бы хотел тебе рассказать еще о многих вещах: о том, как чистоплотны и умны оклеветанные свиньи, как вороны на пять способов обманывают цепную собаку, чтобы отнять у нее кость, как верблюды... Ну, ладно, долой верблюдов, давай о кошке.

Спала Ю-ю в доме, где хотела: на диванах, на коврах, на стульях, на пианино сверх нотных тетрадок. Очень любила лежать на газетах, подползши под верхний лист: в типографской краске есть что-то лакомое для кошачьего обоняния, а кроме того, бумага отлично хранит тепло.

Когда дом начинал просыпаться, – первый ее деловой визит бывал всегда ко мне и то лишь после того, как ее чуткое ухо улавливало утренний чистый детский голосок, раздававшийся в комнате рядом со мною.

Ю-ю открывала мордочкой и лапками неплотно затворяемую дверь, входила, вспрыгивала на постель, тыкала мне в руку или в щеку розовый нос и говорила коротко: «Муррм».

За всю свою жизнь она ни разу не мякнула, а произносила только этот довольно музы-кальный звук «муррм». Но было в нем много разнообразных оттенков, выражавших то ласку, то тревогу, то требование, то отказ, то благодарность, то досаду, то укор. Короткое «муррм» всегда означало: «Иди за мной».

Она прыгивала на пол и, не оглядываясь, шла к двери. Она не сомневалась в моем пови-

новении.

Я слушался. Одевался наскоро, выходил в темноватый коридор. Блестя желто-зелеными хризолитами глаз, Ю-ю дожидалась меня у двери, ведущей в комнату, где обычно спал четырех-летний молодой человек со своей матерью. Я приотворял ее. Чуть слышное признательное «мрм», S-образное движение ловкого тела, зигзаг пушистого хвоста, и Ю-ю скользнула в детскую.

Там – обряд утреннего здраванья. Сначала – почти официальный долг почтения – прыжок на постель к матери. «Муррм! Здравствуйте, хозяйка!» Носиком в руку, носиком в щеку, и кончено; потом прыжок на пол, прыжок через сетку в детскую кроватку. Встреча с обеих сторон нежная.

«Муррм, муррм! Здравствуй, дружок! Хорошо ли почивал?»

– Ю-юшенька! Юшенька! Восторгательная Юшенька!

И голос с другой кровати:

– Коля, сто раз тебе говорили, не смей целовать кошку! Кошка – рассадник микробов...

Конечно, здесь, за сеткой, вернейшая и нежнейшая дружба. Но все-таки кошки и люди суть только кошки и люди. Разве Ю-ю не знает, что сейчас Катерина принесет сливки и гречневую размазню с маслом? Должно быть, знает.

Ю-ю никогда не попрошайничает. (За услугу благодарит кротко и сердечно.) Но час прихода мальчишки из мясной и его шаги она изучила до тонкости. Если она снаружи, то непременно ждет говядину на крыльце, а если дома – бежит навстречу говядине в кухню. Кухонную дверь она сама открывает с непостижимой ловкостью. В ней не круглая костяная ручка, как в детской, а медная, длинная. Ю-ю с разбегу подпрыгивает и виснет на ручке, обхватив ее передними лапками с обеих сторон, а задними упирается в стену. Два-три толчка всем гибким телом – кляк! – ручка поддалась, и дверь отошла. Дальше – легко.

Бывает, что мальчуган долго копается, отрезая и взвешивая. Тогда от нетерпения Ю-ю зацепляется когтями за закраину стола и начинает раскачиваться вперед и назад, как циркач на турнике. Но – молча.

Мальчуган – веселый, румяный, смешливый ротозей. Он страстно любит всех животных, а в Ю-ю прямо влюблен. Но Ю-ю не позволяет ему даже прикоснуться к себе. Надменный взгляд – и прыжок в сторону. Она горда! Она никогда не забывает, что в ее жилах течет голубая кровь от двух ветвей: великой сибирской и державной бухарской. Мальчишка для нее – всего лишь кто-то, приносящий ей ежедневно мясо. На все, что вне ее дома, вне ее покровительства и благоволения, она смотрит с царственной холодностью. Нас она милостиво приемлет.

Я любил исполнять ее приказания. Вот, например, я работаю над парником, вдумчиво отщипывая у дынь лишние побеги – здесь нужен большой расчет. Жарко от летнего солнца и от теплой земли. Беззвучно подходит Ю-ю.

«Мрум!»

Это значит: «Идите, я хочу пить».

Разгибаюсь с трудом. Ю-ю уже впереди. Ни разу не обернется на меня. Посмею ли я отказаться или замедлить? Она ведет меня из огорода во двор, потом на кухню, затем по коридору в мою комнату. Учтиво отворяю я перед нею все двери и почтительно пропускаю вперед. Придя ко мне, она легко вспрыгивает на умывальник, куда проведена живая вода, ловко находит на мраморных краях три опорных точки для трех лап – четвертая на весу для баланса, – взглядывает на меня через ухо и говорит:

«Мрум. Пустите воду».

Я даю течь тоненькой серебряной струйке. Изящно вытянувши шею, Ю-ю поспешно лижет воду узким розовым язычком.

Кошки пьют изредка, но долго и помногу. Иногда для шутливой опыты я слегка завинчиваю четырехлапую никелевую рукоятку. Вода идет по капельке.

Ю-ю недовольна. Нетерпеливо переминается в своей неудобной позе, оборачивает ко мне голову. Два желтых топаза смотрят на меня с серьезным укором.

«Муррум! Бросьте ваши глупости!..»

И несколько раз тычет носом в кран.

Мне стыдно. Я прошу прощения. Пускаю воду бежать как следует.

Или еще:

Ю-ю сидит на полу перед оттоманкой; рядом с нею газетный лист. Я вхожу. Останавливаюсь. Ю-ю смотрит на меня пристально неподвижными, немигающими глазами. Я гляжу на нее. Так проходит с минуту. Во взгляде Ю-ю я ясно читаю:

«Вы знаете, что мне нужно, но притворяетесь. Все равно просить я не буду».

Я нагибаюсь поднять газету и тотчас слышу мягкий прыжок. Она уже на оттоманке. Взгляд стал мягче. Делаю из газеты двухскатный шалашик и прикрываю кошку. Наружу – только пушистый хвост, но и он понемногу вытягивается, вытягивается под бумажную крышу. Два-три раза лист хрустнул, шевельнулся – и конец. Ю-ю спит. Ухожу на цыпочках.

Бывали у меня с Ю-ю особенные часы спокойного семейного счастья. Это тогда, когда я писал по ночам: занятие довольно изнурительное, но если в него втянуться, в нем много тихой отрады.

Царапаешь, царапаешь пером, вдруг не хватает какого-то очень нужного слова. Остановился. Какая тишина! Шипит еле слышно керосин в лампе, шумит морской шум в ушах, и от этого ночь еще тише. И все люди спят, и все звери спят, и лошади, и птицы, и дети, и Колины игрушки в соседней комнате. Даже собаки и те не лают, заснули. Косят глаза, расплываются и пропадают мысли. Где я: в дремучем лесу или на верху высокой башни? И вздрогнешь от мягкого упругого толчка. Это Ю-ю легко вскочила с пола на стол. Совсем неизвестно, когда пришла.

Поворочается немного на столе, помнется, облюбовывая место, и сядет рядышком со мною, у правой руки, пушистым, горбатым в лопатках комком; все четыре лапки подобраны и спрятаны, только две передние бархатные перчаточки чуть-чуть высовываются наружу.

Я опять пишу быстро и с увлечением. Порою, не шевеля головою, брошу быстрый взор на кошку, сидящую ко мне в три четверти. Ее огромный изумрудный глаз пристально устремлен на огонь, а поперек его, сверху вниз, узкая, как лезвие бритвы, черная щелочка зрачка. Но как ни мгновенно движение моих ресниц, Ю-ю успевает поймать его и повернуть ко мне свою изящную мордочку. Щелочки вдруг превратились в блестящие черные круги, а вокруг них тонкие каемки янтарного цвета. Ладно, Ю-ю, будем писать дальше.

Царапает, царапает перо. Сами собою приходят ладные, уклюжие слова. В послушном разнообразии строятся фразы. Но уже тяжелеет голова, ломит спину, начинают дрожать пальцы правой руки: того и гляди, профессиональная судорога вдруг скорчит их, и перо, как заостренный дротик, полетит через всю комнату. Не пора ли?

И Ю-ю думает, что пора. Она уже давно выдумала развлечение: следит внимательно за строками, вырастающими у меня на бумаге, водит глазами за пером, и притворяется перед самой собою, что это я выпускаю из него маленьких, черных, уродливых мух. И вдруг хлоп лапкой по самой последней мухе. Удар меток и быстр: черная кровь размазана по бумаге. Пойдем спать, Ю-юшка. Пусть мухи тоже поспят до завтра.

За окном уже можно различить мутные очертания милого моего ясеня. Ю-ю сворачивается у меня в ногах, на одеяле.

Заболел Ю-юшкин дружок и мучитель Коля. Ох, жестока была его болезнь; до сих пор страшно вспоминать о ней. Тут только я узнал, как невероятно цепок бывает человек и какие огромные, неподозреваемые силы он может обнаружить в минуты любви и гибели.

У людей, Ника, существует много прописных истин и ходячих мнений, которые они принимают готовыми и никогда не потрудятся их проверить. Так, тебе, например, из тысячи человек девятьсот девяносто девять скажут: «Кошка – животное эгоистическое. Она привязывается к жилью, а не к человеку». Они не поверят, да и не посмеют поверить тому, что я сейчас расскажу про Ю-ю. Ты, я знаю, Ника, поверишь!

Кошку к больному не пускали. Пожалуй, это и было правильным. Толкнет что-нибудь, уронит, разбудит, испугает. И ее недолго надо было отучать от детской комнаты. Она скоро поняла свое положение. Но зато улеглась, как собака, на голом полу снаружи, у самой двери, уткнув свой розовый носик в щель под дверью, и так пролежала все эти черные дни, отлучаясь только для еды и кратковременной прогулки. Отогнать ее было невозможно. Да и жалко было. Через нее шагали, заходя в детскую и уходя, ее толкали ногами, наступали ей на хвост и на лапки, отшвыривали порою в спешке и нетерпении. Она только пискнет, даст дорогу и опять мягко, но настойчиво возвращается на прежнее место. О таком кошачьем поведении мне до этой поры не приходилось ни слышать, ни читать. На что уж доктора привыкли ничему не удивляться,

но даже доктор Шевченко сказал однажды со снисходительной усмешкой:

– Комичный у вас кот. Дежурит! Это курьезно...

Ах, Ника, для меня это вовсе не было ни комично, ни курьезно. До сих пор у меня осталась в сердце нежная признательность к памяти Ю-ю за ее звериное сочувствие...

И вот что еще было странно. Как только в Колиной болезни за последним жестоким кризисом наступил перелом к лучшему, когда ему позволили все есть и даже играть в постели, – кошка каким-то особенно тонким инстинктом поняла, что пустоглазая и безногая отошла от Колины изголовья, защелкав челюстями от злости. Ю-ю оставила свой пост. Долго и бесстыдно отсыпалась она на моей кровати. Но при первом визите к Коле не обнаружила никакого волнения. Тот ее мял и тискал, осыпал ее всякими ласковыми именами, назвал даже от восторга почему-то Юшкевичем! Она же вывернулась ловко из его еще слабых рук, сказала «мрм», спрыгнула на пол и ушла. Какая выдержка, чтобы не сказать: спокойное величие души!..

Дальше, милая моя Ника, я тебе расскажу о таких вещах, которым, пожалуй, и ты не поверишь. Все, кому я это ни рассказывал, слушали меня с улыбкой – немного недоверчивой, немного лукавой, немного принужденно-учливой. Друзья же порою говорили прямо: «Ну и фантазия у вас, у писателей! Право, позавидовать можно. Где же это слыхано и видано, чтобы кошка собиралась говорить по телефону?»

А вот собиралась-таки. Послушай, Ника, как это вышло.

Встал с постели Коля худой, бледный, зеленый; губы без цвета, глаза ввалились, ручки на свет сквозные, чуть розоватые. Но уже говорил я тебе: великая сила и неистощимая – человеческая доброта. Удалось отправить Колю для поправки, в сопровождении матери, верст за двести в прекрасную санаторию. Санатория эта могла соединяться прямым проводом с Петроградом и, при некоторой настойчивости, могла даже вызвать наш дачный городишко, а там и наш домашний телефон. Это все очень скоро сообразила Колина мама, и однажды я с живейшей радостью и даже с чудесным удивлением услышал из трубки милые голоса: сначала женский, немного усталый и деловой, потом бодрый и веселый детский.

Ю-ю с отъездом двух своих друзей – большого и маленького – долго находилась в тревоге и в недоумении. Ходила по комнатам и все тыкалась носом в углы. Ткнется и скажет выразительно: «Мик!» Впервые за наше давнее знакомство я стал слышать у нее это слово. Что оно значило по-кошачьи, я не берусь сказать, но по-человечески оно ясно звучало примерно так: «Что случилось? Где они? Куда пропали?»

И она озиралась на меня широко раскрытыми желто-зелеными глазами; в них я читал изумление и требовательный вопрос.

Жилье она себе выбрала опять на полу, в тесном закутке между моим письменным столом и тахтой. Напрасно я звал ее на мягкое кресло и на диван – она отказывалась, а когда я переносил ее туда на руках, она, посидев с минутку, вежливо спрыгивала и возвращалась в свой темный, жесткий, холодный угол. Странно: почему в дни огорчения она так упорно наказывала самое себя? Не хотела ли она этим примером наказать нас, близких ей людей, которые при всем их всемогуществе не могли или не хотели устранить беды и горя?

Телефонный аппарат наш помещался в крошечной передней на круглом столике, и около него стоял соломенный стул без спинки. Не помню, в какой из моих разговоров с санаторней я застал Ю-ю сидящей у моих ног; знаю только, что это случилось в самом начале. Но вскоре кошка стала прибегать на каждый телефонный звонок и, наконец, совсем перенесла свое место жилья в переднюю.

Люди вообще весьма медленно и тяжело понимают животных; животные – людей гораздо быстрее и тоньше. Я понял Ю-ю очень поздно, лишь тогда, когда однажды среди моего нежного разговора с Колей она беззвучно прыгнула с пола мне на плечи, уравнилась и протянула вперед из-за моей щеки свою пушистую мордочку с настороженными ушами.

Я подумал: «Слух у кошки превосходный, во всяком случае, лучше, чем у собаки, и уж гораздо острее человеческого». Очень часто, когда поздним вечером мы возвращались из гостей, Ю-ю, узнав издали наши шаги, выбегала к нам навстречу за третью перекрестную улицу. Значит, она хорошо знала своих.

И еще. Был у нас знакомый очень непоседливый мальчик Жоржик, четырех лет. Посетив нас в первый раз, он очень досаждал кошке: трепал ее за уши и за хвост, всячески тискал и носился с нею по комнатам, зажав ее поперек живота. Этого она терпеть не могла, хотя по своей

всегдашней деликатности ни разу не выпустила когтей. Но зато каждый раз потом, когда приходил Жоржик – будь это через две недели, через месяц и даже больше, – стоило только Ю-ю услышать звонкий голосишко Жоржика, раздававшийся еще на пороге, как она стремглав, с жалобным криком бежала спасаться: летом выпрыгивала в первое отворенное окно, зимою ускользала под диван или под комод. Несомненно, она обладала хорошей памятью.

«Так что же мудреного в том, – думал я, – что она узнала Колин милый голос и потянулась посмотреть: где же спрятан ее любимый дружок?»

Мне очень захотелось проверить мою догадку. В тот же вечер я написал письмо в санаторию с подробным описанием кошкиного поведения и очень просил Колю, чтобы в следующий раз, говоря со мной по телефону, он непременно вспомнил и сказал в трубку все прежние ласковые слова, которые он дома говорил Ю-юшке. А я поднесу контрольную слуховую трубку к кошкиному уху.

Вскоре получил ответ. Коля очень тронут памятью Ю-ю и просит передать ей поклон. Говорить со мною из санатории будет через два дня, а на третий соберутся, уложатся и выедут домой.

И правда, на другой же день утром телефон сообщил мне, что со мной сейчас будут говорить из санатории. Ю-ю стояла рядом на полу. Я взял ее к себе на колени – иначе мне трудно было бы управляться с двумя трубками. Зазвенел веселый, свежий Колин голосок в деревянном ободке.

Какое множество новых впечатлений и знакомств! Сколько домашних вопросов, просьб и распоряжений! Я едва-едва успел вставить мою просьбу:

– Дорогой Коля, я сейчас приставлю Ю-юшке к уху телефонную трубку. Готово! Говори же ей твои приятные слова.

– Какие слова? Я не знаю никаких слов, – скучно отозвался голосок.

– Коля, милый, Ю-ю тебя слушает. Скажи ей что-нибудь ласковое. Поскорее.

– Да я не зна-аю. Я не по-омню. А ты мне купишь наружный домик для птиц, как здесь у нас вешают за окна?

– Ну, Коленька, ну, золотой, ну, добрый мальчик, ты же обещал с Ю-ю поговорить.

– Да я не знаю говорить по-кошкиному. Я не умею. Я забы-ыл.

В трубке вдруг что-то щелкнуло, крикнуло, и из нее раздался резкий голос телефонистки:

– Нельзя говорить глупости. Повесьте трубку. Другие клиенты ждут.

Легкий стук, и телефонное шипение умолкло.

Так и не удался наш с Ю-ю опыт. А жаль. Очень интересно мне было узнать, отзовется ли наша умная кошка или нет на знакомые ей ласковые слова своим нежным «муррум».

Вот и все про Ю-ю.

Не так давно она умерла от старости, и теперь у нас живет кот-воркот, бархатный живот. О нем, милая моя Ника, в другой раз.

Пуделиный язык

Семья Мурмановых жила уже шесть лет в Париже, выплеснутая туда гражданской войной. Она состояла всего из двух человек: мужа и жены; детей им судьба не послала. Они очень обрадовались, когда, в начале седьмого года, собралась, после долгих письменных уговоров, и, наконец, в самом деле приехала к ним в Париж сестра Евгении Львовны, Ирина, с шестилетней дочкой Кирой. Кирочка сначала дичилась в новой, чужой и непонятной для нее обстановке. Была она похожа на хорошенького дикого зверька, вроде ласки или горностаюшки, впервые вылезшего из родного дома на огромный свет божий. И любопытно, и забавно, и страшно. Зоркие глазки жадно смотрят, острые ушки чутко слушают, маленькое тельце дрожит от волнения. Но чуть раздастся скрип, чуть мелькнет тень – зверек свернулся и уже готов юркнуть в норку.

Дети каждый день растут, каждый день меняются и каждое утро просыпаются новыми людьми.

Кира весьма скоро огляделась, освоилась и обвыкла. Характер у нее был живой, предприимчивый, открытый и смелый. А тут еще у нее нашелся такой легкий товарищ, союзник и затейник, как дядя Аркадий: лучшего ей было не сыскать. Ее мама пожимала плечами и говорила в нос:

– Нет, Аркадий, ты мне Киру вконец испортишь. Пожалуйста, не смейся. Я серьезно. Тебе не шесть лет, и ей не сорок, чтобы проказить вместе по целым дням! Была она женщина высокого роста, строгая, рассудительная. Все рассчитывала и знала наперед. Как сказала, что приедет на полгода, так и прожила в Париже полгода, а потом уехала обратно в Россию. Там, видите ли, у нее осталось много дорогого: рояль, арфа, ноты, давние знакомства, любимый город, привычная квартира... Совсем ничего в ней не чувствовалось общего с младшей сестрой. Та вся состояла из доброты, ласки и очаровательной лени...

Дядя Аркадий и Кира не только тесно и нежно подружились, но от материнских выговоров стали как бы заговорщиками. Свой у них образовался язык, свои маленькие секреты, пожалуй, своя особая жизнь.

Ну, разве взрослые могли бы догадаться, что в этом милом и смешном союзе дядя Аркадий Васильевич потерял не только свое имя и отчество, но даже и родственное звание дяди? Для них двух, исключительно для них, он носил загадочное имя – Феофан.

Началось это с того, что однажды дядя Аркадий прочитал девочке какие-то детские стишки. Они понравились. Прочитали еще раз и еще. Там, между прочим, были две смешные строчки:

С Феофаном шутки плохи:
Он не любит, если блохи.

Эти две строчки остались в памяти и так часто повторялись вслух, что взрослые вышли наконец из терпения.

– Да оставьте вы вашего дурацкого Феофана в покое. Надоели.

Но однажды, когда два друга, после обеда, сидели в своем любимом, уютном уголке, на широчайшем кожаном диване в гостиной, Кира вдруг вытаращила глаза – черные бусинки – и спросила:

- А почему он не любит, если?..
- Не знаю. Такой уж он непонятный человек.
- А ты его видел?
- Каждый день вижу.
- Где?
- У нас дома.
- А я его видела?
- Всегда видишь.
- А теперь?
- И теперь.

Кира закусила нижнюю губку. Потом спросила доверчивым шепотом:

– Скажи, может быть, ты сам и есть Феофан?

Дядя нагнулся совсем близко к ее маленькому ушку и еле слышно шепнул:

– Да, Кирочка. Это я – Феофан. Только «им» не надо знать. Пусть это будет между нами тайна. Понимаешь?

Черные глаза девочки засияли от восторга.

- Да, да. Никому! Никогда. А ты мне позволишь звать тебя потихоньку Феофаном?
- Хорошо. Зови. Но только помни...
- О да! Мы потихоньку... От них секрет?
- Страшный секрет.
- Страшный?
- Да.

Новоявленный Феофан высоко поднял брови и низко опустил их.

– Ах, мой милый, собственный Феофан! Дай, я тебя крепко поцелую. Вот так. Что за прелесть, когда между двумя друзьями, большим и маленьким, есть тайна, да еще и страшная. Чудо! Для всего света они были Аркадий Васильевич и Кира и лишь только наедине – Кира и Феофан.

Таких дружеских интимных делишек у них водилось много, и обоим им от них было удовольствие и радость. Точно жили они, совсем отгородившись от взрослых. Но самым увлекательным было то время, когда они научились говорить на языке черных пуделей!

Каждый день перед завтраком они ходили вдвоем гулять по аллеям и холмам того большого сквера, который разбит у подножия театра Трокадеро. На обратном пути заходили в магазины. Иногда покупали на улице дешевые, но пресмешные парижские игрушки или воздушный шар.

Каждый раз, выходя на прогулку, они заставляли против ворот на мостовой старенькую зеленщицу. У нее была небольшая ручная тележка, нагруженная капустой, салатом, пучками моркови, свеклы и порея, связками петрушки. К тележке сбоку был обычно привязан большой лохматый черный пудель. Он яростно лаял, кидаясь на всех проходящих, после отдыхал, стоял умильно щуря глаза, дрожа высунутым красным языком и часто дыша, а потом опять принимался лаять. Когда же зеленщица перевозила свою тележку с места на место, пудель влезал грудью в постромку и изо всех своих собачьих сил помогал хозяйке.

– Милый Феофан, – сказала однажды Кира, глядя на собаку. – Я догадалась, почему пудель так лает. Он голодный и просит покушать.

– Возможно. Давай пойдем на кухню, посмотрим для него чего-нибудь, – согласился Феофан.

Нашли кусок вчерашнего пирога с мясом. Снесли на улицу и дали пуделю. Собака вмиг его проглотила и в знак благодарности залаяла отчаянно-весело. Так у них с этого дня и повелось: идя на прогулку, непременно захватить с собою угощение для собаки. Старушка этому не препятствовала. Как-то даже сказала Кире:

– Приласкайте его, малютка. Он очень добрый и умный.

Кира погладила пуделя. Он запрыгал на цепи и завизжал от восторга. Случилось, что Мурманов был занят срочным делом и гулять с Кирой ему было некогда.

– Как же так? – протянула Кира надутым голосом, прижимаясь к дяде. – Как же так, Феофан? Ведь пудель на нас обидится.

– Не могу, никак не могу, Кирочка... Впрочем, ты, когда пойдешь гулять с горничной, так возьми на кухне какую-нибудь косточку и снеси ему. Кстати, и от меня поклонись.

– Мне одной неловко, без тебя, Феофан!

– Иди, иди, милая девочка. Я не могу оторваться от работы...

Через два часа, погуляв, Кира вернулась домой. Дядя окончил занятия и ждал ее.

– Ну, что, Кира? – спросил он. – Отдала косточку?

– Да, Феофан. Он был очень доволен.

– Что же он сказал?

– Он сказал... Знаешь, Феофан, он ничего не сказал.

– Ни слова?

– Ни слова.

– Как же это так? Странно.

– Правда, странно?

– Н-да. Удивительно. Что же он делал?

– Ничего. Только хвостом помахал.

– Ага! Хвостом? Да это же и есть, Кира, пуделиный разговор. Пудели только хвостом и разговаривают.

– Хвостом? Правда, Феофан?

– Истинная правда. Ну, покажи-ка, как он сделал хвостом.

Кира быстро прочертила в воздухе указательным пальцем три длинные линии.

– Так, так и так.

Феофан обрадовался и захохотал.

– Как же ты не поняла, Кирочка? Это значит: «благодарю тебя, Кира»

– А потом он еще замахал. Так, так, так, так и так.

– Очень просто: передай от меня поклон Феофану.

– Ах, как прекрасно! Феофан, а я умею говорить по-пуделиному?

– Умеешь, Кирочка. «Они», конечно, не умеют, а мы с тобой будем свободно разговаривать.

– Да? В самом деле? Ужасно хорошо! Ну, вот, например, что я сейчас сказала?

Она с увлечением начертила в воздухе несколько невидимых линий.

– Очень ясно: «Феофан, принеси мне сегодня вечером шоколадок». Верно?

– Не совсем, Феофан. И эклерку.

– Ах, правда, ошибся. Шоколадок и пирожное эклер.

– Вот, это так. А теперь скажи ты что-нибудь.

– Изволь. Раз, два, три, четыре. Поняла?

– Поняла. Это значит: «Будем всегда говорить по-пуделиному, а нас никто из «них» не поймет».

– Да. Ну, однако, пойдем завтракать, Кира, а то «они» рассердятся...

С тех пор и вошел у Феофана с Кирой в моду пуделиный язык. Оказалось, что на нем было говорить гораздо удобнее и приятнее, чем на человеческом, а главное, этот язык богаче, чем человеческое слово. На нем было возможно передавать вещи, совсем недоступные человеческим средствам.

Взрослые скоро обратили внимание на эти таинственные беззвучные переговоры. Раз за обедом Ирина Львовна сказала в нос:

– Аркадий и Кира, что это вы все тычете пальцами в воздух? Что за новое дурацкое занятие?

Аркадий, под очками, широко и удивленно раскрыл глаза. Кирочка же сказала, сделав губки трубочкой:

– Я ничего, мама, я так себе, играла только. И она обменялась с Феофаном быстрым лукавым взглядом.

Тетя Женя добродушно рассмеялась.

– Я на днях возвращалась домой и вдруг вижу картину. Стоят они оба, Аркадий и Кира, перед собакой... Знаете, тут у зеленщицы есть такой черный пудель? Стоят и делают пальцами какие-то заклинания. Я подумала, уж не с ума ли они оба сошли или, может быть, разговаривают на собачьем языке?

Но Кира возразила с усиленной наивностью и с упреком:

– Тетя Женя, разве же пудели разговаривают? Как тебе это в голову пришло? И опять два мгновенных, искрящихся смехом взгляда.

– Аркадий, Аркадий, – вздохнула Ирина Львовна. – Совсем ты мне испортил вконец мою Киру. Что я с ней буду делать в Петербурге?

Твердый был характер у Ирины Львовны, а слово ее – крепче алмаза. Как порешила покинуть Париж поздней осенью, так и стала в начале октября собираться в дальнюю дорогу. Ни милое гостеприимство Мурмановых, ни уговоры Аркадия Васильевича, ни просьбы тети Жени, ни Кирочкины слезы – не переломили ее сурового решения. Вышло даже так, что уехала она с Кирой на три дня раньше, чем сама назначила. Причиной этой спешки был все тот же удивительный пуделиный язык.

Приехала однажды к Мурмановым очень важная знакомая барыня, Анна Викентьевна (для нее нарочно были заказаны к обеду устрицы, лангусты, дичь и цветы. Она любила изысканный стол). Была эта дама очень, даже чрезвычайно полна (Кирочке все хотелось обойти ее кругом: сколько выйдет шагов, – но не осмелилась). На груди у нее не висела, а лежала, как на подушке, большая брошка из синей эмали с золотом. Когда Анна Викентьевна говорила, то брошка подпрыгивала у нее на груди, а говорила она много, быстро, громко, без передышки и других не слушала.

За обедом Кире было скучно: говорила дама все про взрослое, про неинтересное. Потом она обиделась: Феофан, против обыкновения, совсем не уделял ей внимания. Он не отводил глаз от Анны Викентьевны и только в такт ее речи то кивал, то покачивал, то потряхивал головой, выражая то удивление, то сочувствие, то согласие. А Кире уже давно не терпелось задать ему один очень важный и неотложный вопрос и, конечно, на пуделином языке. Поэтому, пользуясь редкими секундами, когда лицо Феофана случайно обращалось в ее сторону, Кира принималась быстро чертить пальцем ломаные линии, но из осторожности делала это в самом уменьшенном виде, на пространстве между носом и подбородком. И вдруг, позабыв всякую сдержанность, она сказала громко, с огорчением и упреком:

– Да дядя же Аркадий. Я тебе все говорю, а ты все не видишь. Смотри! – И она проворно начертила: – Раз, два, три, четыре, пять.

– Оставь, Кирочка, – отмахнулся рукой Мурманов. – Потом когда-нибудь. Теперь я ничего не понимаю. И не время.

Кирочка потеряла душевное равновесие и точно с горы покатилась:

– Нет, время! И ты отлично понимаешь. Я тебя спрашиваю: почему у этой толстой тети на груди прицеплена синяя тарелочка? Чтобы ей суп не капал на платье? Да?

Все замолкли, опутив глаза на скатерть. Наступила тишина. Наконец Анна Викентьевна сказала необычайно нежным, но дрожащим голосом:

– Какая милая девочка! Какая острая и воспитанная! Она у вас далеко пойдет.

При этом лицо у нее было цвета темного кирпича. Обед закончился не особенно весело, и после него дама очень скоро уехала. Ну, и попало же обоим – и дяде и племяннице – от Ирины Львовны за пуделиный язык! Дядя Аркадий был умный и хитрый: он все помалкивал, а Кира сорвалась и нагрубил:

– И ничего я дурного не сделала. С подвязанной тарелкой вовсе удобнее, чем с салфеткой, а дама твоя глупая, толстая и противная. Вот тебе!

На это последовал краткий военный приговор:

– В угол носом. Марш!

И рука мамы, с вытянутым пальцем, указала место наказания.

– И пойду! – отрезала Кира, мотнув стриженной головенкой. – А твоя дама – дура!

В гостиной, между шкафом и любимым кожаным диваном, где стояла «в угол носом» Кира, было полутемно, свет проникал туда из столовой. Неразборчиво доносились до Киры из тетиной комнаты голоса старших: сердитый мамин, спокойный дяди Аркадия, лениво-ласковый тети Жени. Потом взрослые затихли. Чьи-то осторожные шаги послышались в гостиной. Подошел дядя Аркадий и молча стал рядом с Кирой, которая уже успела наплакаться.

– Что, Феофан? – прошептала девочка.

– Да вот, пришел постоять с тобою в углу носом. Обое мы виноваты: и я и ты. Кира глубоко, в несколько раз, вздохнула, как всегда вздыхают дети после слез.

– Мама очень сердитая?

– Нет, ничего. Отошла. Только, вместо субботы, собирается ехать завтра. Девочка просунула ручку под дядин локоть и прижалась к нему.

– Мне жалко тебя, Феофан. Мне тебя очень жалко. Давай в последний раз поговорим по-пуделиному. Ну, смотри, что я написала на стенке?

– Знаю. «Феофан, ты обо мне будешь всегда помнить?»

– Верно. Теперь ты пиши...

– Зачем писать? Ты и так знаешь, что никогда не забуду.

– Ну, будет вам, дети, шушукаться, – послышался сзади спокойный голос Кириной мамы, – Идите на воздух, прогуляйтесь немного. Завтра рано вставать. Так и уехала Кира, славная девочка, буйная голова, доброе сердце, знаток пуделиного языка. Дядя Аркадий очень был огорчен разлукой, но держался крепко, как настоящий мужчина. Только осунулся и побледнел немного.

Спустя некоторое время встретился он на улице с одним своим приятелем. Встречи их в громадном Париже были редки, но радостны для обоих. Как и всегда бывало в этих случаях, зашли они в испанскую бodega (род маленького трактира) и спросили себе по рюмке хереса. И еще у них было привычное обыкновение: подготавливать друг для друга редкие строки из неисчерпаемого Пушкина, которого они оба любили всей душой. Приятель Мурманова читал торжественным голосом:

Стамбул гяуры нынче славят,
А завтра кованой пятой,
Как змия спящего, раздавят,
И прочь пойдут – и так оставят:
Стамбул заснул перед бедой.

Но тут и обожаемый Пушкин не помог, и душевный разговор не вязался. Уже настало время проститься. Замолчали. И вдруг Мурманов голосом, проникнутым глубокой печалью, произнес:

– Бедный я, одинокий я Феофан! Приятель поднял голову. В голубых глазах Мурманова, под стеклами, дрожали слезы.

– Аркадий Васильевич, милый, что с вами? Вот тут-то Феофан и рассказал мне всю эту ис-

торию, которую, в неполном и несовершенном виде, передаю здесь.

Синяя звезда

Давным-давно, с незапамятных времен, жил на одном высоком плоскогорье мирный пастушеский народ, отделенный от всего света крутыми скалами, глубокими пропастями и густыми лесами. История не помнит и не знает, сколько веков назад взобрались на горы и проникли в эту страну закованные в железо, чужие, сильные и высокие люди, пришедшие с юга.

Суровым воинам очень понравилась открытая ими страна с ее кротким народом, умеренно теплым климатом, вкусной водой и плодородною землей. И они решили навсегда в ней поселиться. Для этого совсем не надо было ее покорять, ибо обитатели не ведали ни зла, ни орудий войны. Все завоевание заключалось в том, что железные рыцари сняли свои тяжелые доспехи и поженились на местных красивейших девушках, а во главе нового государства поставили своего предводителя, великодушного, храброго Эрна, которого облекли королевской властью, наследственной и неограниченной. В те далекие наивные времена это еще было возможно.

Около тысячи лет прошло с той поры. Потомки воинов до такой степени перемешались через перекрестные браки с потомками основных жителей, что уже не стало между ними никакой видимой разницы ни в языке, ни в наружности: внешний образ древних рыцарей совершенно поглотился народным эрнотеррским обличьем и растворился в нем. Старинный язык, почти забытый даже королями, употребляли только при дворе и то лишь в самых торжественных случаях и церемониях или изредка для изъяснения высоких чувств и понятий. Память об Эрне Первом, Эрне Великом, Эрне Святом, осталась навеки бессмертной в виде прекрасной, неувядающей легенды, сотворенной целым народом, подобной тем удивительным сказаниям, которые создали индейцы о Гайавате, финны о Вейенемейне, русские о Владимире Красном Солнышке, евреи о Моисее, французы о Шарлемане.

Это он, мудрый Эрн, научил жителей Эрнотерры хлебопашеству, огородничеству и обработке железной руды. Он открыл им письменность и искусства. Он же дал им начатки письменности и закона: религия заключалась в чтении молитвы на непонятном языке, а основной закон был всего один: *в Эрнотерре никто не смеет лгать*. Мужчины и женщины были им признаны одинаково равными в своих правах и обязанностях, а всякие титулы и привилегии были им стерты с первого дня вступления на престол. Сам король носил лишь титул «Первого слуги народа».

Эрн Великий также установил и закон о престолонаследии, по которому наследовали престол перворожденные: все равно будь это сын или дочь, которые вступали в брак единственно по своему личному влечению. Наконец он же, Эрн Первый, знавший многое о соблазнах, разврате и злобе, царящих там внизу, в покинутых им образованных странах, повелел разрушить и сделать навсегда недостижимой ту горную тропу, по которой впервые вскарабкались с невероятным трудом наверх он сам и его славная дружина.

И вот под отеческой, мудрой и доброй властью королей Эрнов расцвела роскошно Эрнотерра и зажила невинной, полной, чудесной жизнью, не зная ни войн, ни преступлений, ни нужды в течение целых тысячи лет.

В старом тысячелетнем королевском замке еще хранились, как память, некоторые предметы, принадлежавшие при жизни Эрну Первому: его латы, его шлем, его меч, его копье и несколько непонятных слов, которые он вырезал острием кинжала на стене своей охотничьей комнаты. Теперь уже никто из эрнотерранов не смог бы поднять этой брони хотя бы на дюйм от земли или взмахнуть этим мечом, хотя бы даже взяв его обеими руками или прочитать королевскую надпись. Сохранились также три изображения самого короля: одно – профильное, в мельчайшей мозаике, другое – лицевое, красками, третье – изваянное в мраморе.

И надо сказать, что все эти три портрета, сделанные с большой любовью и великим искусством, были предметом постоянного огорчения жителей, обожавших своего первого монарха. Судя по ним, не оставалось никакого сомнения в том, что великий, мудрый, справедливый, святой Эрн отличался исключительной, выходящей из ряда вон некрасивостью, почти уродством лица, в котором, впрочем, не было ничего злобного или отталкивающего. А между тем эрнотерры всегда гордились своей национальной красотой и безобразную наружность первого короля прощали только за легендарную красоту его души.

Закон наследственного сходства у людей знает свои странные капризы. Иногда ребенок рождается не похожим ни на отца с матерью, даже ни на дедов и прадедов, а внезапно на одного из отдаленнейших предков, отстоящих от него на множество поколений. Так и в династии Эрнов летописцы отмечали иногда рождение очень некрасивых сыновей, хотя эти явления с течением истории становились все более редкими. Правда, надо сказать, что эти уродливые принцы отличались как нарочно, замечательно высокими душевными качествами: добротой, умом, веселостью. Таковая справедливая милость судьбы к несчастным августейшим уродам примиряла с ними эрнотерров, весьма требовательных в вопросах красоты линий, форм и движений.

Добрый король Эрн XXIII отличался выдающейся красотой и женат был по страстной любви на самой прекрасной девушке государства. Но детей у них не было очень долго: целых десять лет, считая от свадьбы. Можно представить себе ликование народа, когда на одиннадцатом году он услышал долгожданную весть о том, что его любимая королева готовится стать матерью. Народ радовался вдвойне: и за королевскую чету и потому, что вновь восстанавливался по прямой линии славный род сказочного Эрна. Через шесть месяцев он с восторгом услышал о благополучном рождении принцессы Эрны XIII. В этот день не было ни одного человека в Эрнотерре, не испившего полную чашу вина за здоровье инфанты.

Не веселились только во дворце. Придворная повитуха, едва принявши младенца, сразу покачала головой и горестно почмокала языком. Королева же, когда ей принесли и показали девочку, всплеснула ладонями и воскликнула:

– Ах, боже мой, какая дурнушка! – И залилась слезами. Но, впрочем только на минутку. А потом, протянувши руки сказала:

– Нет, нет, дайте мне поскорее мою крошку, я буду любить ее вдвое за то, что она бедная так некрасива.

Чрезвычайно был огорчен и августейший родитель.

– Надо же было судьбе оказать такую жестокость! – говорил он.

– О принцах-уродах в нашей династии мы слыхали, но принцесса-дурнушка впервые появилась в древнем роде Эрнов! Будем молиться о том, чтобы ее телесная некрасивость уравновесилась прекрасными дарами души, сердца и ума.

То же самое повторил и верный народ, когда услышал о некрасивой наружности новорожденной инфанты.

Девочка меж тем росла по дням и дурнела по часам. А так как она своей дурноты еще не понимала, то в полной беззаботности крепко спала, с аппетитом кушала и была превеселым и прездоровым ребенком. К трем годкам для всего двора стало очевидным ее поразительное сходство с портретами Эрна Великого. Но уже в этом нежном возрасте она обнаруживала свои прелестные внутренние качества: доброту, терпение, кротость, внимание к окружающим, любовь к людям и животным, ясный, живой, точный ум и всегдашнюю приветливость.

Около этого времени королева однажды пришла к королю и сказала ему:

– Государь мой и дорогой супруг. Я хочу просить у вас большой милости для нашей дочери.

– Просите, возлюбленная моя супруга, хотя вы знаете сами, что я ни в чем не могу отказать вам.

– Дочь наша подрастает и, по-видимому, бог послал ей совсем необычный ум, который перегоняет ее телесный рост. Скоро наступит тот роковой день, когда добрая, ненаглядная Эрна убедится путем сравнения в том, как исключительно некрасиво ее лицо. И я боюсь, что это сознание принесет ей очень много горя и боли не только теперь, но и во всей ее будущей жизни.

– Вы правы, дорогая супруга. Но какою же моею милостью думаете вы отклонить или смягчить этот неизбежный удар, готовящийся для нашей любимой дочери?

– Не гневайтесь, государь, если моя мысль покажется вам глупой. Необходимо, чтобы Эрна никогда не видела своего отражения в зеркале. Тогда, если чей-нибудь злой или неосторожный язык и скажет ей, что она некрасива, – она все-таки никогда не узнает всей крайности своего безобразия.

– И для этого вы хотели бы?

– Да... Чтобы в Эрнотерре не осталось ни одного зеркала!

Король задумался. Потом сказал:

– Это будет большим лишением для нашего доброго народа. Благодаря закону моего вели-

кого пращура о равноправии полов женщины и мужчины Эрнотерры одинаково кокетливы. Но мы знаем глубокую любовь к нам и испытанную преданность нашего народа королевскому дому и уверены, что он охотно принесет нам эту маленькую жертву. Сегодня же я издам и оповещу через геральдов указ наш о повсеместном изъятии и уничтожении зеркал, как стеклянных, так и металлических, в нашем королевстве.

Король не ошибся в своем народе, который в те счастливые времена составлял одну тесную семью с королевской фамилией. Эрнотерране с большим сочувствием поняли, какие деликатные мотивы руководили королевским повелением, и с готовностью отдали государственной страже все зеркала и даже зеркальные осколки. Правда, шутники не воздержались от веселой демонстрации, пройдя мимо дворца с взлохмаченными волосами и с лицами, вымазанными грязью. Но когда народ смеется, даже с оттенком сатиры, монарх может спать спокойно.

Жертва, принесенная королю поданными, была тем значительнее, что все горные ручьи и ручейки Эрнотерры были очень быстры и потому не отражали предметов.

Принцессе Эрне шел пятнадцатый год. Она была крепкой, сильной девушкой и такой высокой, что превышала на целую голову самого рослого мужчину. Была одинаково искусна как в вышивании легких тканей, так и в игре на арфе... В бросании мяча не имела соперников и ходила по горным обрывам, как дикая коза. Доброта, участие, справедливость, сострадание изливались из нее, подобно лучам, дающим вокруг свет, тепло и радость. Никогда не уставала она в помощи больным, старым и бедным. Умела перевязывать раны и знала действие и природу лечебных трав. Истинный дар небесного царя земным королям заключался в ее чудесных руках: возлагая их на золотушных и страдающих падучей, она излечивала эти недуги. Народ боготворил ее и повсюду провожал благословениями. Но часто, очень часто ловила на себе чуткая Эрна бегучие взгляды, в которых ей чувствовалась жалость, тайное соболезнование...

«Может быть я не такая, как все?» – думала принцесса и спрашивала своих фрейлен:

– Скажите мне, дорогие подруги, красива я или нет?

И так как в Эрнотерре никто не лгал, то придворные девицы отвечали ей чистосердечно:

– Вас нельзя назвать красавицей, но бесспорно вы милее, умнее и добрее всех девушек и дам на свете. Поверьте, то же самое скажет вам и тот человек, которому суждено будет стать вашим мужем. А ведь мы, женщины плохие судьи в женских прелестях.

И верно: им было трудно судить о наружности Эрны. Ни ростом, ни телом, ни сложением, ни чертами лица – ничем она не была хоть отдаленно похожа на женщин Эрнотерры.

Тот день, когда Эрне исполнилось пятнадцать лет, – срок девической зрелости по законам страны, – был отпразднован во дворце роскошным обедом и великолепным балом. А на следующее утро добросердечная Эрна собрала в ручную корзину кое-какие редкие лакомства, оставшиеся от вчерашнего пира, и, надев корзину на локоть, пошла в горы, мили за четыре, навестить свою кормилицу, к которой она была очень горячо привязана. Против обыкновения, ранняя прогулка и чистый горный воздух не веселили ее. Мысли все вращались около странных наблюдений, сделанных ее на вчерашнем балу. Душа Эрны была ясна и невинна, как вечный горный снег, но женский инстинкт, зоркий глаз и цветущий возраст подсказали ей многое. От нее не укрылись те взгляды томности, которые устремляли друг на друга танцевавшие юноши и девушки. Но ни один такой говорящий взор не останавливался на ней: лишь покорность, преданность, утонченную вежливость читала она в почтительных улыбках и низких поклонах. И всегда этот неизбежный, этот ужасный оттенок сожаления! Неужели я в самом деле так безобразна? Неужели я урод, страшилище, внушающее отвращение, и никто мне не смеет сказать об этом?

В таких печальных размышлениях дошла Эрна до дома кормилицы и постучалась, но не получив ответа, открыла дверь (в стране еще не знали замков) и вошла внутрь, чтобы обождать кормилицу; это она иногда делала и раньше, когда ее не заставляла.

Сидя у окна, отдыхая и предаваясь грустным мыслям, бродила принцесса рассеянными глазами по давно знакомой мебели и по утвари, как вдруг внимание ее привлекла заповедная кормилицына шкатулка, в которой та хранила всяческие пустяки, связанные с ее детством, с девичеством, с первыми шагами любви, с замужеством и пребыванием во дворце: разноцветные камушки, брошки, вышивки, ленточки, печатки, колечки и другую наивную и дешевую мелочь; принцесса еще с раннего детства любила рыться в этих сувенирах, и хотя знала наизусть их интимные истории, но всегда слушала их вновь с живейшим удовольствием. Только показалось ей немного странным, почему ларец стоит так на виду; всегда берегла его кормилица в потаенном

месте, а когда, бывало, ее молочная дочь вдоволь насмотрится, завертывала его в кусок нарядной материи и бережно прятала.

«Должно быть, теперь очень заторопилась, выскочила на минутку из дома и забыла спрятать» – подумала принцесса, присела к столу, небрежно положила укладочку на колени и стала перебирать одну за другой знакомые вещички, бросая их поочередно себе на платье. Так добралась Эрна до самого дна и вдруг заметила какой-то косоугольный, большой плоский осколок. Она вынула его и посмотрела. С одной стороны он был красный, а с другой – серебряный, блестящий и как будто бы глубокий. Присмотрелась и увидела в нем угол комнаты с прислоненной метлой... Повернула немного – отразился старый узкий деревянный комод, еще немножко... и выплыло такое некрасивое лицо, какого принцесса и вообразить никогда бы не сумела.

Подняла она брови кверху – некрасивое лицо делает то же самое. Наклонила голову – лицо повторило. Провела руками по губам – и в осколке отразилось это движение. Тогда поняла вдруг Эрна, что смотрит на нее из странного предмета ее же собственное лицо. Уронила зеркальце, закрыла глаза руками и в горести пала головою на стол.

В эту минуту вошла вернувшаяся кормилица. Увидала принцессу, забытую шкатулку и сразу обо всем догадалась. Бросилась перед Эрной на колени, стала говорить нежные жалкие слова. Принцесса же быстро поднялась, выпрямилась с сухими глазами, но с гневным взором и приказала коротко:

– Расскажи мне все.

И показала пальцем на зеркало. И такая неожиданная, но непреклонная воля зазвучала в ее голосе, что простодушная женщина не посмела ослушаться, все передала принцессе: об уродливых добрых принцах, о горе королевы, родившей некрасивую дочь, о ее трогательной заботе, с которой она старалась отвести от дочери тяжелый удар судьбы, и о королевском указе об уничтожении зеркал. Плакала кормилица при своем рассказе, рвала волосы и проклинала тот час, когда, на беду своей ненаглядной Эрне, утаила она по глупой женской слабости осколок запретного зеркала в заветном ларце.

Выслушав ее до конца, принцесса сказала со скорбной улыбкой:

– В Эрнотерре никто не смеет лгать!

И вышла из дома. Встревоженная кормилица хотела было за нею последовать. Но Эрна приказала сурово:

– Останься.

Кормилица повиновалась. Да и как ей было ослушаться? В этом одном слове она услышала не всегдашний кроткий голос маленькой Эрны, сладко сосавшей когда-то ее грудь, а приказ гордой принцессы, предки которой господствовали тысячу лет над ее народом.

Шла несчастная Эрна по крутым горным дорогам, и ветер трепал ее легкое длинное голубое платье. Шла она по самому краю отвесного обрыва. Внизу, под ее ногами, темнела синяя мгла пропасти и слышался глухой рев водопадов, как бы повисших сверху белыми лентами. Облака бродили под ее ногами в виде густых хмурых туманов. Но ничего не видела и не хотела видеть Эрна, скользившая над бездной привычными легкими ногами. А ее бурные чувства, ее тоскливые мысли на этом одиноком пути? Кто их смог бы понять и рассказать о них достоверно? Разве только другая принцесса, другая дочь могучего монарха, которую слепой рок постиг бы столь внезапно и незаслуженно...

Так дошла она до крутого поворота, под которым давно обвалившиеся скалы нагромодились в обычном беспорядке, и вдруг остановилась. Какой-то необычный звук донесся до нее снизу, сквозь гул водопада. Она склонилась над обрывом и прислушалась. Где-то глубоко под ее ногами раздавался стонущий и зовущий человеческий голос. Тогда, забыв о своем огорчении, движимая лишь волнением сердечной доброты, стала спускаться Эрна в пропасть, перепрыгивая с уступа на уступ, с камня на камень, с утеса на утес с легкостью молодого оленя, пока не утвердилась на небольшой площадке, размером немного пошире мельничного жернова. Дальше уже не было спуска. Правда, и подняться наверх уже стало невозможным, но самозабвенная Эрна об этом даже не подумала.

Стонущий человек находился где-то совсем близко, под площадкой. Легши на камень и свесивши голову вниз, Эрна увидела его. Он полулежал-полувисел на заостренной вершине утеса, уцепившись одной рукой за его выступ, а другой за тонкий ствол кривой горной сосенки; левая нога его упиралась в трещину, правая же не имела опоры. По одежде он не был жителем Эр-

нотерры, потому что принцесса ни шелка, ни кружев, ни замшевых краг, ни кожаных сапог со шпорами, ни поясов, тисненых золотом, никогда еще не видала.

Она звонко крикнула ему:

– Огей! Чужестранец! Держитесь крепко, а я помогу вам.

Незнакомец со стоном поднял бледное лицо, черты которого ускользали в полутьме, и кивнул головой. Но как же могла помочь ему великодушная принцесса? Спуститься ниже для нее было и немыслимо и бесполезно. Если бы была веревка!.. Высота всего лишь в два крупных человеческих роста отделяла принцессу от путника. Как быть?

И вот, точно молния озарила Эрну одна из тех вдохновенных мыслей, которые сверкают в опасную минуту в головах смелых и сильных людей. Быстро скинула она с себя свое прекрасное голубое платье, сотканное из самого крепкого и прекрасного льна; руками и зубами разорвала его на широкие длинные полосы, ссучила эти полосы в тонкие веревки и связала их одну с другой, перевязав еще несколько раз для крепости посередине. И вот, лежа на грубых камнях, царапая о них руки и ноги, она спустила вниз самодельную веревку и радостно засмеялась, когда убедилась, что ее не только хватило, но даже оказался большой запас. И увидев, что путник, с трудом удерживая равновесие, между расщелиной и сосновым стволом, ухитрился привязать конец веревки к своему поясу из буйволово́й кожи, Эрна начала осторожно вытягивать веревку вверх. Чужеземец помогал ей в этом, цепляясь руками за каждые неровности утеса и подтягивая кверху свое тело. Но когда голова и грудь чужеземца показались над краем площадки, то силы оставили его, и Эрне лишь с великим трудом удалось втащить его на ровное место.

Так как обоим было слишком тесно на площадке, то Эрне пришлось, сидя, положить голову незнакомца к себе на грудь, а руками обвить его ослабевшее тело.

– Кто ты, о волшебное существо? – прошептал юноша побелевшими устами. – Ангел ли, посланный мне с неба? Или добрая фея этих гор? Или ты одна из прекрасных языческих богинь?

Принцесса не понимала его слов. Зато говорил ясным языком нежный, благодарный и восхищенный взор его черных глаз. Но тотчас длинные ресницы сомкнулись, смертельная бледность разлилась по лицу. И юноша потерял сознание на груди принцессы Эрны.

Она же сидела, поневоле не шевелясь, не выпуская его из объятий и не сводя с его лица синих звезд своих глаз. И тайно размышляла Эрна:

«Он так же некрасив, этот несчастный путник, как я, как и мой славный предок Эрн Великий. По-видимому, все мы трое люди одной и той же особой породы, физическое уродство которой так резко и невыгодно отличается от классической красоты жителей Эрнотерры. Но почему взгляд его, обращенный ко мне, был так упоительно сладок? Как жалки перед ним те умильные взгляды, которые вчера бросали наши юноши на девушек, танцующих с ними? Они были как мерцание свечки сравнительно с сиянием горячего полуденного солнца. И отчего же так быстро бежит кровь в моих жилах, отчего пылают мои щеки и бьется сердце, отчего дыхание мое так глубоко и радостно? Господи! Это твоя воля, что создал ты меня некрасивой, и я не ропщу на тебя. Но для него одного я хотела бы быть красивее всех девиц на свете!»

В это время послышались голоса. Кормилица, правда, не скоро оправилась от оцепенения в которое ее поверг властный приказ принцессы. Но, едва, оправившись, она тотчас же устремилась вслед своей дорогой дочке. Увидев, как Эрна спускалась прыжками со скал, и услышав стоны доносившиеся из пропасти, умная женщина сразу догадалась в чем дело и как ей надо поступить. Она вернулась в деревню, всполошила соседей и вскоре заставила их всех бежать бегом с шестами, веревками и лестницами к обрыву. Путешественник был бесчувственным невинно извлечен из бездны, но, прежде чем вытаскивать принцессу, кормилица спустила ей на бечевке свои лучшие одежды. Потом чужой юноша был по приказанию Эрны отнесен во дворец и помещен в самой лучшей комнате. При осмотре у него оказалось несколько тяжелых ушибов и вывих руки; кроме того, у него была горячка. Сама принцесса взяла на себя уход за ним и лечение. Этому никто не удивился: при дворе знали ее сострадание к больным и весьма чтили ее медицинские познания. Кроме того, больной юноша, хотя и был очень некрасив, но производил впечатление знатного господина.

Надо ли длинно и подробно рассказывать о том, что произошло дальше? О том, как благодаря неусыпному уходу Эрны иностранец очнулся, наконец, от беспамятства и с восторгом узнал свою спасительницу. Как быстро стал он поправляться здоровьем. Как нетерпеливо ждал он каждого прихода принцессы и как трудно было Эрне с ним расставаться. Как они учились друг у

друга словам чужого языка. Как однажды нежный голос чужестранца произнес сладостное слово «амо!» и как Эрна его повторила робким шепотом, краснея от радости и стыда. И существует ли хоть одна девушка в мире, которая не поймет, что слово «амо» значит «люблю», особенно когда это слово сопровождается первым поцелуем?

Любовь – лучшая учительница языка. К тому времени, когда юноша, покинув постель, мог прогуливаться по аллеям дворцового сада, они уже знали друг о друге все, что им было нужно. Спасенный Эрною путник оказался единственным сыном могущественного короля, правившего богатым и прекрасным государством – Францией. Имя его было Шарль. Страстное влечение к путешествиям и приключениям привело его в недоступные грозные горы Эрнотерры, где его покинули робкие проводники, а он сам, сорвавшись с утеса, едва не лишился жизни. Не забыл он также рассказать Эрне о гороскопе, который составил для него при рождении великий французский предсказатель Нострадамус и в котором стояла, между прочим, такая фраза:

«... и в диких горах на северо-востоке увидишь сначала смерть, потом же синюю звезду; она тебе будет светить всю жизнь».

Эрна тоже, как умела передала Шарлю историю Эрнотерры и королевского дома. Не без гордости показала она ему однажды доспехи великого Эрна. Шарль оглядел их с подобающим почтением, легко проделал несколько фехтовальных приемов тяжелым королевским мечом и нашел, что портреты пращура Эрны изображают человека, которому одинаково свойственны были красота, мудрость и величие. Прочитавши же надпись на стене, вырезанную Эрном Первым, он весело и лукаво улыбнулся.

– Чему вы смеетесь, принц? – спросила обеспокоенная принцесса.

– Дорогая Эрна, – ответил Шарль, целуя ее руку, – причину моего смеха я вам непременно скажу, но только немного позже.

Вскоре принц Шарль попросил у короля и королевы руку их дочери: сердце ее ему уже давно принадлежало. Предложение его было принято. Совершеннолетние девушки Эрнотерры пользовались полной свободой выбора мужа, и, кроме того, молодой принц во всем своем поведении являл несомненные знаки учтивости, благородства и достоинства.

По случаю помолвки было дано много праздников для двора и для народа, на которых веселились вдоволь и старики и молодежь. Только королева-мать грустила потихоньку, оставаясь одна в своих покоях. «Несчастные! – думала она. – Какие безобразные у них родятся дети!».

В эти дни, глядя вместе с женихом на танцующие пары, Эрна как-то сказала ему:

– Мой любимый! Ради тебя я хотела бы быть похожей хоть на самую некрасивую из женщин Эрнотерры.

– Да избавит тебя бог от этого несчастья, о моя синяя звезда! – испуганно возразил Шарль. – Ты прекрасна!

– Нет, – печально возразила Эрна, – не утешай меня, дорогой мой. Я знаю все свои недостатки. У меня слишком длинные ноги, слишком маленькие ступни и руки, слишком высокая талия, чересчур большие глаза противного синего, а не чудесного желтого цвета, а губы, вместо того чтобы быть плоскими и узкими, изогнуты наподобие лука.

Но Шарль целовал без конца ее белые руки с голубыми жилками и длинными пальцами и говорил ей тысячи изысканных комплиментов, а глядя на танцующих эрнотерранов хохотал как безумный.

Наконец праздники окончились. Король с королевой благословили счастливую пару, одарили ее богатыми подарками и отправили в путь. (Перед этим добрые жители Эрнотерры целый месяц проводили горные дороги и наводили временные мосты через ручьи и провалы.) А спустя еще месяц принц Шарль уже въезжал с невестой в столицу своих предков.

Известно уже давно, что добрая молва опережает самых быстрых лошадей. Все население великого города Парижа вышло навстречу наследному принцу, которого все любили за доброту, простоту и щедрость. И не было в тот день не только не одного мужчины, но даже ни одной женщины, которые не признали бы Эрну первой красавицей в государстве, а следовательно на всей земле. Сам король, встречая свою будущую невестку в воротах дворца, обнял ее, запечатлел поцелуй на ее чистом челе и сказал:

– Дитя мое, я не решаюсь сказать, что в тебе лучше: красота или добродетель, ибо обе мне кажутся совершенными...

А скромная Эрна, принимая эти почести и ласки думала про себя:

«Это очень хорошо, что судьба меня привела в царство уродов: по крайней мере никогда мне не представится предлог для ревности».

И этого убеждения она держалась очень долго, несмотря на то, что менестрели и трубадуры славили по всем концам света прелести ее лица и характера, а все рыцари государства носили синие цвета в честь ее глаз.

Но вот прошел год, и к безнадежному счастью, в котором протекал брак Шарля и Эрны прибавилась новая чудесная радость: у Эрны родился очень крепкий и очень крикливый мальчик. Показывая его впервые своему обожаемому супругу, Эрна сказала застенчиво:

– Любовь моя! Мне стыдно признаться, но я... я нахожу его красавцем, несмотря на то, что он похож на тебя, похож на меня и ничуть не похож на наших добрых соотечественников. Или это материнское ослепление?

На это Шарль ответил, улыбаясь весело и лукаво:

– Помнишь ли ты, божество мое, тот день, когда я обещал перевести тебе надпись, вырезанную Эрном Мудрым на стене охотничьей комнаты?

– Да, любимый!

– Слушай же. Она была сделана на старом латинском языке и вот что гласила: «Мужчины моей страны умны, верны и трудолюбивы: женщины – честны, добры и понятливы. Но – прости им бог – и те и другие безобразны».

Звериный урок

Сказка

После долгих дней страшной засухи, пошли наконец благословенные дожди. Леса освежились. Обмелевшие речки и ручейки наполнились живой бегучей сладкой водой. Изнывавшие от жажды лесные дикие звери вдоволь напились и, кто из них умел и мог, с наслаждением купались в прохладной воде.

Стадо диких слонов однажды вечером возвращалось с водопоя по Великой звериной тропе, протоптанной десятками звериных поколений. Впереди весело бежал разыгравшийся молодой слоненок, пятнадцати лет от роду и ста пудов весом.

Вдруг он остановился, услышав чей-то ворчливый голос, раздававшийся из-под его ног. Это говорил муравей, тащивший на себе обломок прошлогодней веточки:

– Ослеп ты, что ли, огромный кусок мяса? Уж эти мне молодые слоны, вечно суются под ноги.

Слоненок от удивления выпучил маленькие красные глаза, насторобил уши и продолжал стоять. Но шедшая сзади старая мать-слониха закричала на него:

– Или ты оглох? Извинись скорее и сойди с тропы.

– Прости, старший брат мой, – пробормотал сконфуженный слоненок, осторожно сходя с дороги.

Муравей ничего не ответил. А молодой слон, уждав время, когда слониха опять пришла в доброе расположение духа, спросил ее учтиво:

– Скажи мне, о мать моя, почему же он такой сердитый? И мать объяснила ему:

– Он тащил на себе такую тяжесть, что если бы ее увеличить во столько раз, во сколько ты больше, тяжелее и глупее муравья, да положить эту тяжесть на тебя, то она расплющит тебя так же легко, как – смотри – я давлю ногою этого скорпиона.

Инна

Рассказ бездомного человека

Ах, этот Киев! Чудесный город, весь похожий на сдобную, славную попадью с маслеными глазами и красным ртом. Как мне забыть эти часы, когда, возбужденный теплым тополевым за-

пахом весенней ночи, я ходил из церкви в церковь, не минуя единоверцев, греков и старообрядцев. Ах, красота женских лиц, освещаемых снизу живым огнем, этот блеск белых зубов, и прелесть улыбающихся нежных губ, и яркие острые блики в глазах, и тонкие пальчики, делающие восковые катышки.

Точно со стороны, точно мальчишка, выключенный из игры, я видел, что всем беспричинно хотелось смеяться и приплясывать. И мотивы ирмосов были все такие древне-веселые: трам, трам, тра ля ля. И все смеялись: смеялись новой весне, воскресенью, цветам, радостям тела и духа. Один я походил на изгнанника, который смотрит сквозь заборную щелку, таясь от всех, на чужое веселое празднество.

Ее звали Инна. Это потом, по расследованию отцов церкви, оказалось, что имена Инна, Пинна, Римма и Алла – вовсе не женские, а, наоборот, очень мужские имена. Тогда же она была для меня единственная, несравненная, обожаемая Инна. Три года назад мне казалось, что она питает ко мне взаимность. Но совсем неожиданно для меня мне было отказано от их дома. Отказано очень вежливо, без недоразумений и ссоры. Сделала это с грустным видом маменька, толстая дама, большая курительница и специалистка в преферансе. Я сам понял это так, что по моей молодости, скудному жалованью и отсутствию перспектив в будущем я никак уж не гожусь в женихи девушке, очень красивой, хорошо воспитанной и с порядочными средствами. Я покорился. Что же мне было делать? Не лезть же с объяснениями или насильственно втираться в дом, где оказался лишним? Но образ Инны застрял в моем сердце и не хотел уходить оттуда. Дешевых амуров я никогда не терпел. Должен признаться, что в первое время я все норовил попадать в те места, где она чаще всего бывала, чтобы хоть на секундочку увидеть ее. Но однажды, когда на пристани знаменитого Прокопа она, окруженная веселой молодежью, садилась в лодку и мельком заметила меня – я заметил, как недовольно, почти враждебно сдвинулись ее прелестные, союзные, разлетистые брови, с пушком на переносице. Тогда мне стыдно стало, что я ее преследую, вопреки ее желанию, и я перестал.

Однако каждый раз на великую заутреню я в память наших прошлых пасх приходил в ее любимую церковь – Десятинную, самую древнюю в Киеве, откопанную из старых развалин, и ждал на паперти ее выхода после обедни. Казалось мне, что здесь, среди нищих, я вне укора и презрения. Я ведь был тогда очень верующим и всегда умилялся над одним из пасхальных песнопений:

Воскресения день
И просветимся торжеством,
И друг друга обьемем.
Рцем, братие,
И ненавидящим нас
Простим...

Да! еще издалека-издалека я видел, как она замечала меня сквозь толпу, но проходила она всегда мимо меня с опущенными ресницами. Что же? Не выпрашивать же мне было у нее пасхальный поцелуйчик? Хотя мнилось мне порою, что какая-то складка жалости трогала ее розовые уста. Так и в эту святую ночь, выждав время, стал я на Десятинной паперти, подождал и дождался. Встретились мы с ней глазами... Испугался я вдруг и как-то сам себе стал противен со своей назойливостью. Повернулся и пошел, куда глаза глядят.

Взобрался я, помню, по длинной плитяной лестнице с широкими низкими ступенями на самый верх Владимирской горки, господствующей над всем городом, и уселся совсем близко около высокого и очень крутого обрыва, на скамье. У моих ног расстилался город. По двойным цепям газовых фонарей я видел, как улицы поднимались по соседним холмам и как вились вокруг них. Сияющие колокольни церквей казались необыкновенно легкими и точно воздушными. В самом низу, прямо подо мною, сине белела еще не тронувшаяся река, с черневшимися на ней зловещими проталинами. Около реки, там, где летом приставали барки, уличные огни сбились в громадную запутанную кучу: точно большая процессия с заниженными фонарями внезапно остановилась на одном месте. Светила чуть ущербленная луна. В трепетном воздухе, в резких, глубоких тенях от домов и деревьев, в дрожащих переливах колокольного звона чувствовалась весенняя нежность.

Вдруг я услышал торопливые и легкие шаги. обернулся – вижу, идет стройная женщина. «Ну, – думаю, – должно быть, любовное свидание, надо уходить», – и поднялся со скамейки.

И вдруг слышу голос, от которого сердце мое сначала облилось кипятком, а потом запыр-гало. Инна!

– Пойдите! Куда вы? – говорит она и немного задыхается. – Как вы скоро шагаете, я за вами бегу от самой Десятинной церкви. Но, во-первых, Христос воскрес.

Я едва успел снять шляпу. Она трижды истошно поцеловала меня, потом поцеловала еще в лоб и погладила руками мою щеку.

– Сядем, – сказала она. – У меня времени совсем чуть-чуть. И так боюсь, что дома уже беспокоятся. А я хочу вам очень много сказать. Судите меня, но и простите.

И вот передо мною предстала ужасная, подлейшая история, которая когда-либо происхо-дила на свете.

В ту самую пору, когда я еще был вхож в Иннин дом, где меня как будто бы охотно терпе-ли, существовал у меня дружок, самый закадычный – Федя. Мы даже долго жили в одной ком-нате. Радость, горе, кусок хлеба, бутылка пива – все пополам. Никаких секретов друг от друга. Ведь молодость тем и приятна, что в ней так отзывчива, бескорыстна и внимательна дружба, а кроме того, друг – он же и наперсник, и охотный слушатель всех твоих секретов и замыслов. Словом, с этим Федей я делился всеми милыми, сладкими тайнами, которые были связаны с Инной. Знал он все наши встречи, разговоры, очаровательные, многозначительные лишь для меня одного словечки, случайные долгие взоры и рукопожатия. Не скрывал я от него и нашей переписки: совершенно детские невинные записочки о дне пикника в Борщаговке или Китаеве, благодарность за цветы и ноты, приглашение в театр или в цирк. Все в этом роде.

И вдруг Федя съезжает внезапно из наших меблирашек, а потом и вовсе исчезает с моих глаз... Я тогда совсем не обратил внимания на то, что вместе с его исчезновением пропали и Иннины записочки. Я думал тогда, что наша общая номерная прислуга, бабка Анфиса, глухая и полуслепая женщина, к тому же и весьма глупая, взяла и выкинула их как ненужные клочки в мусор; я даже и в мусоре рылся, но напрасно.

И вот вдруг Инна получает письмо, не написанное, а составленное из вырезанных из газеты печатных букв. Подпись же внизу, чернилами, безукоризненно похожа на мою. Федя, надо вам сказать, очень часто, от нечего делать, шутя, подделывал мое факсимиле. Текст письма был са-мый омерзительный. Смесь низкого писарского остроумия, грязных намеков и нецензурных слов. Все это в духе отвратительного издевательства над Инной, над нашими чувствами и над всей ее семьей. Но подпись, подпись была совершенно моя. А кроме того, все письмо насквозь было основано на тех фактах и словечках, которые при всей их детской чистоте и невинности были известны лишь Инне и мне, вплоть до чисел и дней.

Зачем он это сделал – понять не могу. Просто из дикого желания сделать человеку беспри-чинную пакость.

В ту-то пору мне и показали на дверь. Кого я мог тогда винить?

Федя же оказался совсем негодяем, давним преступником, специалистом по шантажам и подлогам. Он успел попасть в руки правосудия, сначала в Одессе, а потом, недавно, в Киеве. Все его бумаги перешли к судебному следователю. Среди них сохранились не только Иннины запи-сочки, но и Федькины дневники. Это странно, но давно известно: профессиональные преступ-ники весьма часто ведут свои дневники-мемуары, которые потом их же уличают. Это своего ро-да болезнь, вроде мании величия.

Следователь, друг семьи, изъяс из следствия все, что касалось Инны, ибо в остальном ма-териале нашлось достаточно данных, чтобы закатать Федьку на три года в тюрьму. Однако из его дневников можно было с ясностью установить его авторство в псевдонимном письме, под-писанном моим именем.

Обо всем этом рассказала мне Инна. Я слушал ее, сгорбившись на скамейке, а она участ-ливо вытирала мне платком слезы, катившиеся по моему лицу, я же целовал ее руки.

– А вот теперь, – продолжала она, я невеста Ивана Кирилловича, этого самого следователя. Я не скрою, я любила вас немного, но три года, целых три года обиды, огорчения и недоверия, испепелили во мне все, что было у меня к вам хорошего и доброго. Но никогда, слышите ли, ни-когда я в жизни не забуду того, как вы были мне верны, несмотря на не заслуженное вами стра-дание. Дорогой мой, обнимите меня крепко, как брат. И давайте на всю жизнь останемся братом

и сестрой. Мы поцеловались еще раз.

– Не трудитесь провожать меня, – сказала она. – И помните: во всяком горе, нужде, несчастье, болезни – мы самые близкие родные.

Она ушла. Я долго еще сидел на Владимирской горке. Душа моя была ясна и спокойна. Всемогущая судьба прошла надо мною.

Тень Наполеона

Рассказ¹⁸

– Как вам сказать, – отчасти вы правы, а отчасти нет. Видите ли: истина, как мне кажется, всегда лежит не в крайностях общественного мнения, а где-то поближе к середине.

Это, конечно, верно, что бывали губернаторы, как будто живьем вытащенные из щедринских «помпадуров». Не отрицаю этого. Однако справедливость никогда не мешает. Можно назвать имена и таких губернаторов, которые в своих так называемых «сатрапиях» делали искренние попытки проявить энергичную творческую деятельность. Не все же екатерининские картонные декорации и бутафорские пейзажи. Но опять-таки скажу, что порою самому прямому и честному губернатору никак нельзя было обойтись без бутафории. Да, вот скажу про себя самого.

Был я в 1906 году назначен начальником одной из западных губерний. Нужно сказать, что в ту пору новоиспеченные губернаторы, отправляясь к месту своего служения, не брали с собой, ничего, кроме легкого багажа: зубочистка, портсигар и смена белья. Все равно через два-три дня тебя или переведут, или отзовут с причислением к министерству, или прикажут тебе написать прошение об отставке по болезни. Ну, конечно, учитывалась и возможность быть разорванным бомбой террористов... Но бомбы мы уже давно привыкли учитывать, как бытовое явление.

Представьте себе – я ухитрился просидеть на губернаторском кресле с 1906 по 1913 год. Теперь, издали, гляжу на это явление, как на непостижимое чудо, длившееся целых семь лет.

Властью я был облечен почти безграничной. Я – сатрап, я – диктатор, я – конквистадор, я – гроза правосудия... И все-таки не было дня, чтобы я, схватившись за волосы, не готов был кричать о том, что мое положение хуже губернаторского. И только потому не кричал, что сам был губернатором. Под моим неусыпным надзором и отеческим попечением находились национальности: великорусская, польская, литовская и еврейская; вероисповедания: православное, католическое, лютеранское, униатское и староверческое. Теоретически я должен был обладать полной осведомленностью в отраслях – военных, медицинских, церковных, коммерческих, ветеринарных, сельскохозяйственных, не считая лесоводства, коннозаводства, пожарного искусства и еще тысячи других вещей.

А оттуда, сверху, из Петербурга, с каждой почтой шли предписания, проекты, административные изобретения, маниловские химеры, ноздревские планы. И весь этот чиновничий бред направлялся под мою строжайшую ответственность. Как у меня все проходило благополучно – не постигаю сам. За семь лет не было ни погромов, ни карательной экспедиции, ни покушения. Воистину – божий промысел!

Я здесь был ни при чем. Я только старался быть терпеливым. От природы же я – человек хладнокровный, с хорошим здоровьем, не лишенный чувства юмора. Но вот теперь о бутафории.

Настал 1912 год, и, стало быть, на двадцать шестое августа приходилась столетняя годовщина славного Бородинского боя.

Нам, губернаторам, было уже заранее известно, что в высших сферах решили праздновать этот великий день на месте сражения и с наипущим торжеством. Это бы еще ничего и даже скорее возвышенно и патриотично. Но я знал, что там, наверху, всегда обязательно перестараяются. Так оно и случилось. Какой-то быстрый государственный ум подал внезапную мысль: собрать на

¹⁸ В этом рассказе, который написан со слов подлинного и ныне еще проживающего в эмиграции бывшего губернатора Л., почти все списано с натуры, за исключением некоторых незначительных подробностей. (Примеч. А. И. Куприна.)

бородинских позициях возможно большее количество ветеранов, принимавших участие в приснопамятном сражении, а также просто древних старожил, которые имели случай видеть Наполеона.

Проект этот был, во всяком случае, не хуже и не лучше такого, например, проекта, как завести ананасные плантации в Костромской губернии. Известно, бумага все терпит. Ведь бородинскому ветерану-то надлежало бы иметь, по крайней мере, сто двадцать лет. Однако в Петербурге выдумка эта была принята с живейшим удовольствием.

Вот по этому-то поводу и приехал ко мне однажды генерал Ренненкампф, тот самый знаменитый курляндский вождь исторического рейда во время японской кампании. Огненный взгляд, звенящие шпоры, быстрая лаконическая речь, вспыльчивость и – рыцарь перед дамами.

– Ваше превосходительство, – сказал он мне, – я объездил всю Ковенскую губернию, показывали мне этих Мафусаилов, и – черт! – ни один никуда не годится. Или врут, как лошади, или ничего не помнят, черти! Но как же, черт возьми, мне без них быть. Ведь для них же – черт! – уже медали чеканятся на монетном дворе! Сделайте милость, ваше превосходительство, выручайте! На вас одного надежда. Ведь в вашей Сморгони Наполеон пробыл несколько дней. Может быть, на ваше счастье, найдутся здесь два-три таких глубоких – черт! – старца, которые еще, черт бы их побрал, сохранили хоть маленький остаток памяти. Вовеки вашей услуги не забуду!

Я как администратор не мог ему не посочувствовать. Заявил:

– Ваше превосходительство, Павел Карлович, от души вхожу в ваше положение. Даю слово: сделаю все, что смогу. Кстати, есть у меня один такой исправник, для которого, кажется, не существует ничего невозможного.

Генерал обрадовался, жал мне руки, разливался в признательности.

– Теперь я за вами как за каменной горой. А исправнику скажите, что я его из памяти не выброшу.

Проводив Ренненкампфа, вызвал я к себе из уезда исправника по фамилии Каракаци. Он вовсе не был греком, как можно было бы судить по его фамилии. Не без гордости любил он рассказывать, что по отцу происходит от албанских князей, а по матери сродни монахским Гримальди. И правда, было в нем что-то разбойничье.

Житейский лист его был очень ординарен. Гвардейская кавалерия. Долги. Армейская кавалерия. Карты. Таможенная стража. Скандал. Жандармский корпус. Провалился на экзамене. Последний этап – уездный исправник. И обладал он стремительностью в шестьсот лошадиных сил. И такой же изобретательностью.

Передал я ему мой разговор с генералом. Он весь как боевой конь.

– Ваше превосходительство, для вас хоть из-под земли вырою. Не извольте беспокоиться. Самых замечательных стариканов доставлю. Они у меня не только Наполеона, а самого Петра Великого вспомнят!

– Нет уж, – говорю ему, – вы уж лучше без лишнего усердия. Довольно нам будет и Наполеона.

– Слушаю, ваше превосходительство! И улетел.

Всегда казалось, что он не ходит и не ездит, а летает. Такой он был быстрокрылый. А через полмесяца получаю я от Ренненкампфа телеграмму лаконическую, в его характере, только без обычных «чертей»: «Спасибо. Старик конфета. Приезжайте. Жму».

Последнее слово должно было, вероятно, означать «жду», но телеграфист перепутал.

Я поехал, прихватив с собой на всякий случай Каракаци. Ах! одна эта поездка в сопровождении чудотворного исправника составила бы толстый юмористический сборник.

Например. Подъехали мы к какой-то речонке, к месту, где должен был находиться паром. Но речонка разлилась, паром сорвало и снесло по течению. И путь наш был прерван на неопределенное время. Но Каракаци не теряется. Он, кажется, не потерялся бы ни в пампасах, ни в льяносах, ни в северной тайге. Кто знает, может быть, только по ошибке природа не сделала его знаменитым путешественником или ковбоем.

Мы едем вдоль берега версты две-три. Находим рыбачий челн и, отослав назад лошадей, переправляемся через реку. Но тут – другая беда: нет никакого экипажа. Рыбаки говорят, что самое близкое жилье, где можно достать телегу, отстоит на десять верст. А уж наступают сумерки. Но вдруг зоркий взгляд следопыта Каракаци замечает под прибрежными косматыми

ивами допотопную еврейскую балагулу, тот древний длинный фургон с круглым верхом, в котором евреи разъезжали по местным базарам в количестве десяти – пятнадцати человек.

Вскоре я слышу довольно крупный разговор, в котором переключаются теноровые голоса евреев с рокочущим баритоном Каракаци. С каждой минутой спор делается все громче. Евреи не хотят уступать балагулы. У них свой путь и свои срочные коммерческие дела.

Я вовремя вспомнил о своем сани и лежащих на мне обязанностях: не я ли должен исследовать причину всякого народного волнения и предпринять все меры для его прекращения.

Приближаюсь и на ходу спрашиваю с ласковой внушительностью:

– В чем дело, друзья мои, что случилось?

Но Каракаци поспешно выступает мне навстречу:

– Ваше превосходительство, не извольте беспокоиться. Это благодарное население, которое собралось здесь, чтобы выразить вам свою признательность.

Ничего не поделаешь: пришлось сделать исправнику легкое внушение, а с пассажирами балагулы вступить в полюбовную сделку. Конечно, они запросили колоссальную, по их масштабу, сумму – полтора рубля, и мы простились самым любезным образом.

Великолепен был и наш торжественный въезд в уездный город Сморгонь. До конца жизни не забуду!..

Ритуал прибытия губернатора был установлен столетиями. И в нем никогда не делалось никаких изменений. Обычно исправник встречал начальника губернии на городской границе, рапортовал ему о благополучии, подсаживал его в коляску или в другой почетный экипаж, а затем мчался впереди, стоя на легкой пролетке, полу обернувшись лицом к высокой особе, в героической позе.

Но когда мы вылезли из нашего доисторического фургона на базарной площади, то оказалось, что площадь совсем пуста. Не только никакой кареты, коляски, или ландо, или хотя бы извозчика – даже ни одной телеги нет. Что делать? Однако Каракаци всегда на высоте.

– Прошу великодушного прощения, ваше превосходительство! Все из-за проклятого паромы! Извольте подождать одну минуту! Я сейчас!

Ровно через пять минут передо мною выросла славная рослая пегая лошадь, впряженная в лакированную одиночку («эгоистка» – так звали раньше этот экипаж). Впереди сидел франтоватый кучер, опоясанный красным тугим поясом. С сиденья легко спорхнул Каракаци.

– Пожалуйста, ваше превосходительство! Извиняюсь за столь домашний выезд. Обстоятельства бывают – увы! – сильнее человека! Эй, кучер! В Лондонскую гостиницу! Жива!

Я по человеколюбию произношу:

– Да садитесь же, поедem вместе.

Но поздно. Я уже подхвачен доброй рысью пегашки.

И вот только я выезжаю на длинную Санкт-Петербургскую улицу, где проложены узенькие рельсы, как наш путь пересекает картина подлинно из апокалипсиса. Во весь дух мчится конка. Впереди – верховой мальчик-форейтор, орущий пронзительным дискантом. Вожатый бешено нахлестывает пару кляч. Клячи несутся даже не галопом, а каким-то диким карьером, расстилая животы по земле.

Вагон, как пьяный, шатается из стороны в сторону, а в вагоне, как неодушевленные бревна, катаются туда-сюда пассажиры. На задней же площадке – о, чудо! – в классической обер-полицмейстерской позе стоит задом к движению, рука под козырек, исправник Каракаци. И все это кошмарное видение, перегоняя нас, исчезает в облаке пыли...

Только что я остановился у подъезда гостиницы «Лондон», как по лестнице скатывается изумительный Каракаци.

– Ваше превосходительство, имею честь доложить, что во вверенном мне уезде все обстоит благополучно!

На другой день, после завтрака у Ренненкампа, мы отправились поговорить с тем замечательным старцем, которого генерал с таким удовольствием называл «конфетой». Нас сопровождало значительное общество: местные учителя, члены городской ратуши, гарнизонные офицеры и т. д. Старик сидел на завалинке (она там называлась «присьба»).

При виде нас он медленно встал и оперся подбородком на костыль. Он был уже не седой, а какой-то зеленый. Голова у него слегка тряслась, а голос был тонкий. Впоследствии мы узнали, что он – из староверов. Начался экзамен.

– Ну-ка, дедушка, рассказывай, – громко и бодро приказал Ренненкампф.

– Да что же рассказывать-то, – точно по складам зашептал старик. – Стар я, забыл, почитай, все.

– А ты, дедушка, вспомни, постарайся! – еще громче сказал Ренненкампф. – Вот, говорят, что отечественную войну помнишь? Наполеона видел?

– Наполеона? Как же, батюшка, видел, видел. Вот как тебя вижу, совсем близехонько.

– Ну, вот ты нам про него и расскажи. Ты не бойся, тебя начальство отблагодарит. Ну, как же ты его видел, Наполеона-то?

– Как видел? А тут вот, тут видел, где гумно. Там тогда хата стояла новая. С балконом хата. А на том балконе стоял Наполеон. А я тут же стоял под крыльцом. Конечно, маленький я был, совсем мальчишка, мало понимал еще. Шесть лет тогда мне было. Значит, Наполеон стоял, а мимо него все войска шли. Все войска, все войска, все войска. Ужасно как много войсков! А потом он по ступенькам-то вниз сошел и меня рукой по голове погладил и сказал мне что-то по-французски, совсем непонятно: «Хочешь, мальчик, поступить в солдаты?»

Старик говорил с большим трудом и точно стонал после каждого слова. Порою его было не слышно.

– Ну, дедушка, а как он был одет, Наполеон-то? Старик сначала оглянул толпу, точно кого-то разыскивая мутными глазами, потом сказал не особенно уверенно:

– Одет-то был как? Да обыкновенно одет: серенький сюртучишко на нем и, значит, шляпа о трех углах. А больше никак не был одет.

– Прекрасно! Восхитительно! – воскликнул Ренненкампф, разводя руками. – Великое спасибо, ваше превосходительство. Молодец, молодец, господин исправник! Не забуду! С таким изумительным стариком мы в грязь лицом не ударим. Не правда ли, ваше превосходительство?

Но тут-то лукавый подтолкнул начальника городского училища. Такой он был худощавый, как-то скривленный набок и козелковатая бородка.

– Ваше превосходительство, – обратился он к Ренненкампфу. – Я, как педагог... исторический момент... редчайший случай... прошу разрешения задать один вопрос.

– Пожалуйста, пожалуйста, – великодушно разрешил Ренненкампф.

– Дедушка, – крикнул старику в ухо педагог. – Не можешь ли ты сказать нам: какой из себя был император Наполеон?

– Чего это? – переспросил старик. Тут пришел на помощь сам Ренненкампф. Он сказал своим резким командирским голосом:

– Ты скажи нам – какой был Наполеон наружностью? Большого роста или маленького, толстый или худой? Вообще какой он был из себя?

Тут и случилось что-то странное. Старик на мгновение точно оживился и даже немного выпрямился. Он откашлялся, и голос его стал тверже и яснее.

– Какой он был-то? – произнес он. – Наполеон-тот? А вот какой он был: ростом вот с эту березу, а в плечах сажень с лишком, а борода – по самые колени и страх какая густая, а в руках у него был топор огромнейший. Как он этим топором махнет, так, братцы у десяти человек головы с плеч долой! Вот он какой был! Одно слово – ампиратырь!

Что тут произошло, трудно описать.

– Это безобразие! – рявкнул Ренненкампф так страшно, что у всех присутствующих подогнулись ноги, а храбрый потомок Гримальди побледнел и пошатнулся.

И много еще прошло времени, пока сердитый генерал не излил свои гнев. Но потом все-таки успокоился.

– Ничего, – сказал он, – мы его еще натаскаем. Времени впереди много. А без старика – никак не обойдешься. Господин исправник, вы ему репетитор, вы и будете в ответе!..

Тут грозный генерал не договорил и лишь выстрелил в Каракаци огненным лучом своего взгляда, пронзив его насквозь, а потом, обернувшись ко мне и вытирая платком лоб, Павел Карлович воскликнул решительно:

– Ну уж если эти петербургские господа вздумают к трехсотлетию дома Романовых откапывать современников, то, слуга покорный, – отказываюсь! Подаю в отставку! Да-с!

Часто писатели жалуются на недостаток или исчерпанность тем. А между тем живые интересные рассказы сами бегут за умелым наблюдателем повсюду: в театре, в метро, на улице, на рынке, в ресторане, в церкви, на пароходе; словом, на каждом шагу. Бегут и еще напрашиваются: «Возьмите нас, пожалуйста! Мы сироты!» Иные из них – размером так на десять строк – полны столь густой эссенции, что их хватило бы на целый роман. Ведь капля чистого анилина окрашивает в зелено-фиолетовый цвет целую ванну для взрослого человека.

1. Черепаха

Казино в Монте-Карло. Вечер. Все столы тесно облеплены. Долговязый, усатый, длиннорукий итальянец делает свои ставки, перегибаясь через передние ряды. Он суетлив и горячится. Больше всего его раздражает жена, короткая, толстая, добрая женщина. Она все шепчет ему беспрестанно на ухо советы. Он отмахивается от нее, как от мухи. Наконец остатки терпения вовсе покидают его.

– Ты говоришь – двенадцать? На! Он ставит на этот номер сразу все свои жетоны. На! Шарик пущен. Минута тишины. Короткая женщина тыкает в кого-то от «сглаза» выпрямленными двумя пальцами: мизинцем и указательным.

– Тринадцать! – возглашает крупье, – нечет, черное, первая половина... Итальянец мгновенно оборачивается к жене. Его лицо пылает яростью, сжатые кулаки подняты над головой и трясутся.

– О! Тарртаруга! – вопит он на весь зал.

– О! мой дорогой! – лепечет она воркующим голосом. – О, mio carissimo! – И нежно трется щекой о его рукав.

2. Шторм

Когда миновали Евпаторию, поднялся ветер, вскоре перешедший в настоящий шторм. Пароход «Св. Николай», эту старую калошу, мотает с борта на борт и с носа на корму. Всех пассажиров укачало. Все умирают; одни умирают в салоне, другие в каютах, третьи в коридорах. Единственная неприятная сторона морского пути.

Один только маленький, очень юркий человек не теряет присутствия духа. Он вытащил всю свою семью на палубу, вместе с подушками и одеялами. Семья – человек из восьми, от старых: тещи и мамыши – до грудного младенца. Все они, кроме младенца, лежат покоем и стонущими голосами, на чем свет стоит, ругают старательного маленького главу семьи.

А он так трогателен! Ведь и его самого берет проклятая морская болезнь. Но он держится героически. Вот что-то приказала ему предсмертным голосом одна из толстых старух, и он стремглав летит зигзагообразно к трапу, мгновенно проваливается в нутро парохода, так же быстро показывается на палубе и, едва успев бросить семье какие-то шарфы и теплые платки, вихрем несется к борту. Там он секунды на две перегибается через буковый поручень в виде вопросительного знака и уже опять спешит к милой семье, встречающей его горькими упреками за то, что он ее постоянно покидает. Затем его посылают за лимоном, затем за валерьянкой. Затем, как некий жонглер, он приносит две рюмки коньяка, стараясь не расплескать. Ах! он совсем бы был готов забыть о себе, если бы не эта всемогущая власть моря, которая ежеминутно и беспощадно напоминает о себе и все-таки не в силах сокрушить воли этого пигмея.

У него простое, доброе, веснушчатое лицо. Я думаю, что он, не задумываясь, бросился бы за борт, чтобы спасти утопающего, и в панической толпе сумел бы сохранить ребенка. Энергия и прелесть характера создали бы ему тихую уютную жизнь и мирный отдых в старости. Но всю жизнь свою он обречен провести, подобно выючному верблюду, с мозолями на всех сочленениях, питаясь чертополохом и бранью.

3. Философ

Соотечественник в вагоне подземной дороги. Оба мы читаем одну и ту же газету. Как-то сам собою зацепляется разговор. Соотечественник высок, массивен, лохмат и весь как будто расстегнут, начиная от души и кончая штанами, которые он постоянно поддерживает обеими ру-

ками вверх. Случайно дошли до перелома морали после войны. Об этом вопросе соотечественник не может говорить сидя. Он вытягивается во весь рост, простирая руки, как мельничные крылья. Ему нет никакого дела до того, что он кричит на весь вагон, да еще по-русски. Чужое мнение – один из тех пустяков, которых он не замечает.

– Все дело в нарастающей злобе! – восклицает он. – Зло – это вовсе не отвлеченное понятие! Зло – это одна из тех вещественных эманации, которые вырабатывает человеческий мозг и посылает в пространство. Будущая телехимия откроет природу зла. Она даже взвесит его и, наверно, найдет, что удельный вес зла в своей сфере гораздо тяжелее удельного веса ртути. Злоба, отчаяние, страдания так грозно и так густо обволокли землю и давят ее такой тяжестью, что их не рассеют никакие ураганы. Оттого-то малая война порождает большую, а большая великую. И вот уже больше, кажется, некуда идти. Капут мирозданию. И нет никакого разрешения. Вы знаете, как перед грозой бывает душно и томно и как тяготит ожидание. Но вот пошел дождь, сверкнула молния, загрохотал гром. Прошла гроза, и сразу стало так свежо, так радостно дышать – блаженство! Что же произошло? Да просто: положительное электричество земли встретилось с отрицательным электричеством облаков, и, во славу божию, они оба разрядились с пальбой и иллюминацией. А для зла, понимаете ли? Не существует никакой разрядки. Оно только и делает, что накапливается и нависает грузом. Вон Шопенгауэр говорит, что лишь зло позитивно, а добро негативно, потому что оно состоит только в неделании зла. Врет колбасник! По его выходит, что и камень добр, и деревянный чурбан добр, ибо они не делают зла? И каждый холодный, равнодушный ко всему на свете человек тоже добр, ибо ни разу не соприкоснулся с Уложением о наказаниях? Отрицательная величина вовсе не величина, а ересь! Но есть, есть, богом клянусь – есть могучая, прекрасная, великая сила для потребления и нейтрализации зла как физической субстанции (в это время поезд свистит и замедляет ход). Это – горячая любовь к человеку, это живое, осязаемое добро, разливаемое охотно и радостно повсюду, это добро воинственное, невзирая на его целительную мягкость и мужественную скромность (дверцы вагона раздвигаются). Это вам не клистирная филантропия-с, а радостный, сладкий, самоотверженный и легкий подвиг! Вот что разрядит вековые залежи зла! Он выпрыгивает из вагона и, вместе с перроном, начинает уплывать налево, налево...

Но я еще вижу, как, поддерживая одной рукой сползающие штаны, а другою размахивая над головой, он кричит мне вслед: «Подвиг! Подвиг любви! Положительная сила!»

В вагоне все косятся на меня, а я раздумываю: «Сумасшедший? Пророк? Философ?»

4. Четыре рычага

«Aux quatre leviers»¹⁹ – вот как бы на месте хозяина назвал я кабачок на углу улиц Успения и Доктора Бланш.

Здесь, на этом перекрестке, расположены на двадцати квадратных аршинах: церковь, родовспомогательная клиника и трактир, которые вместе обслуживают ход четырех вечных рычагов жизни: рождение, любовь, насыщение и смерть – весь круговорот человеческой зыбкой жизни.

Но, увы! хозяин, к сожалению, не могильщик и не шлифовщик оптических стекол – он очень далек от философии, что, однако, не мешает ему быть достойным буржуа.

Сегодня утром послали меня в этот кабачок купить немолотого кофею. Пока мне отвешивали покупку, я увидел очень простое и трогательное зрелище. На крошечном, усыпанном гравием дворике родильного дома как-то растерянно и неуклюже топтались двое мужчин. Видно было, что они незнакомы. Один – высокий с непокрытой головой; длинные, светлые волосы гладко зачесаны назад; общее впечатление: медлительный, недоверчивый, чувствительный и обидчивый человек. Другой – сангвиник; у него блестяще-черные волосы с легкой проседью, красные щеки, блестящие черные глаза; низкий и широкий, он строением похож на плотный крепкий куб; мягкая шляпа надвинута на самую переносицу, а из-под ее полей торчат в стороны жесткие, прямые усы, на которых легко уселись бы две канарейки.

Невольно казалось, что оба связаны неразрывно общей тревогой и в то же время мучи-

¹⁹ «У четырех рычагов» (фр.).

тельно стесняются друг друга. Право же, в эти минуты они напоминали мне двух мальчуганов, которые ранним росистым утром на берегу резвой речонки нерешительно пробуют голыми ступнями студеную воду, и каждый выжидает момента, когда у другого хватит храбрости бултыхнуться.

Так они довольно долго толкались, мялись и крутились по скрежетавшему гравия, то преследуя, то избегая друг друга, беспомощные и нетерпеливые. Наконец кубический сангвиник отважился первый.

Он круто повернулся; мелкими, но быстрыми шагами вышел на улицу; оглянулся зорко налево и направо (все в порядке, улица пуста), пересек наискосок улицу и затем, не умеряя спешного хода, не оборачиваясь назад, вошел через каменные ворота в церковную ограду, в глубине которой весело зеленели кусты. Светловолосый, как будто привязанный невидимой ниткой, послушно шел за ним. Он шагал редко, но длинно и притом так высоко поднимал длинные ноги, что поразительно напоминал большую птицу из породы голенастых, идущую пешком. Они одновременно поднялись по трем каменным ступеням. Брюнет первый открыл тяжелую боковую дверь церкви, любезно попридержал ее для блондина, и дверь закрылась за ними.

Через десять минут они вышли на улицу, теперь уже в полном согласии, быстрым взором убедились в том, что никто их не заметил, и дружелюбно направились к кабачку. Ведь они-то, наверно, друг друга никогда не выдадут; и ничто не повредит их репутации мужественных граждан и свободных мыслителей, чуждых суевериям и предрассудкам.

Мне до этого нет никакого дела. Но только я ведь отлично знаю, что делали в храме и сангвиник и флегматик. Каждый из них безмолвно взывал к богу: – Если я и прогневал тебя неверием и другими многими и тяжкими грехами, то излей на меня, на меня одного, справедливый гнев твой, но их обоих пощади: и ее, рождающую, и его, еще не рожденного. Покарай меня проказою, сумасшествием, внезапной мучительной смертью, но их, всемогущий и всепрощающий, пощади! Смешны иногда люди.

5. Ёлка в капельке

Хорошо вспоминается из детства рождественская елка: ее темная зелень сквозь ослепительно-пестрый свет, сверкание и блеск украшений, теплое сияние парафиновых свечей и особенно – запахи. Как остро, весело и смолисто пахла вдруг загоревшаяся хвоя! А когда елку приносили впервые с улицы, с трудом пропихивая ее сквозь распахнутые двери и портьеры, она пахла арбузом, лесом и мышами. Этот мышистый запах весьма любила трубохвостая кошка. Наутро ее можно было всегда найти внутри нижних ветвей: подолгу подозрительно и тщательно она обнюхивала ствол, тыкаясь в острую хвою носом: «Где же тут спряталась мышь? Вот вопрос». Да и догоревшая свечка, заколебавшаяся длинным дымным огнем, пахнет в воспоминании приятной копотью.

Чудесны были игрушки, но чужая всегда казалась лучше. Прижав полученный подарок обеими руками к груди, на него сначала и вовсе не смотришь: глядишь серьезно и молча, исподлобья, на игрушку ближайшего соседа. У господского Димы – целый поезд, с вагонами всех трех классов, с заводным паровозом. У прачкиного Васьки – деревянный конь: голова серая, в темных яблоках, глаза и шея дикие, ноздри – раскаленные угли, а вместо туловища толстая палка. Оба мальчугана завидуют друг другу.

– Посмотри, Дима, – изнывает от чужого счастья кривобокая, кисло-сладкая гувернантка, – вот дырочка, а вот ключик. Заводить надо так: раз-раз-раз-раз... У-у! поехали, поехали!..

Но Дима не глядит на роскошный поезд. Блестящие глаза не отрываются от Васьки, который вот уже оседлал серого в яблоках, стегнул себя кнутиком по штанишкам, и вот пляшет на месте, горячится, ржет ретивый конь, и вдруг галопом вкось, вкось!.. У Димы катастрофа: крушение поезда, вагоны падают набок, паровоз торчит вверх колесами, а колеса еще продолжают вертеться с легким шипением.

– Ах, Дима! Зачем же толкать паровозы ногами? Как тебе не стыдно?..

– Не хочу паровоза, хочу Васькину вошадь! Отдайте ему паровоз, а мне вошадь! Хочу вошадь!

Но гордый Васька гарцует, молодецки избоченившись на коне, и небрежно кидает:

– Ишь ты какой! Захотел тоже!..

Что говорить, волшебна, упоительна елка. Именно упоительна, потому что от множества огней, от сильных впечатлений, от позднего времени, от долгой суеты, от гама, смеха и жары дети пьяны без вина, и щеки у них кумачово-красны. Но много, ах как много мешают взрослые. Сами они играть не умеют, а сами суются: какие-то хороводы, песенки, колпаки, игры. Мы и без них ужасно отлично устроимся. Да вот еще дядя Петя с козлиной бородкой и козлиным голосом. – Сел на пол, под елкой, посадил детей вокруг и говорит им сказку. Не настоящую, а придумал. У, какая скука, даже противно. Нянька, та знает взаправдушные.

6. Московский снег

Сегодня с утра сыплется на Париж, безмолвно и неумоимо, сплошной снег, сыплется хлопьями величиной с детскую пятерню и, едва прикоснувшись к земле, мгновенно кружится, обесцвечивается и тает. Но все крыши домов сияют плоской, ровной, покатою белизною, а ветви платанов, лип и каштанов Булонского леса согнулись под тяжестью снежных горбатых охапок.

Лесу идет этот строгий, холодный, бело-траурный убор. Чужому городу – нет. Слишком этот город зябок, южен и непривычен к холоду и снегу. И темная, вечная, вырезная зелень плющевых изгородей смотрит враждебно сквозь тихую струящуюся завесу из снежных звезд.

А я вот стою на безлюдном перекрестке, рассеянно гляжу на идущий крупный снег, задумался немного... и в моем воображении всплыла оснеженная Москва дивных, невозвратных лет.

Мы едем на извозчике, укутав ноги волчьей полостью, я, юнкер военного Александровского училища, находящийся в суточном отпуске, и Марья Михайловна Полубояринова, барышня из Пензы, заезжая гостя в Москве. Она отличная музыкантша, она совсем взрослая девица, богатая, красивая и самостоятельная. Конечно, я влюблен в нее еще с рождества, влюблен безнадежно и до безумия, но ни за что, никогда и никому не признаюсь в этом чувстве, составляющем мой преступный грех, мое несчастье, причину моего сладкого двухнедельного одурения. Я только изредка осмеливаюсь взглядывать боком на ее муфточку, осыпанную снегом, на ее голубой вязаный капор, откуда изредка блеснет оживленный, темный глаз, покажется разрумяненная щечка или высунется розовый кончик носика. Но зато я крепко поддерживаю ее рукою, обвитой вокруг тонкой, гибкой, нежной талии. Это мое такое же неоспоримое право, как моя священная обязанность давать в публичных местах дорогу, очередь и сидение женщинам, детям и старикам.

Ехать нам очень далеко: в театр Корша, где мы сегодня увидим «Мещанина во дворянстве» с Давыдовым в роли Буржуа. Снег падает густо, и сквозь него сказочны и ярки огни газовых фонарей. И так мягка его пелена, что совсем беззвучно скользят по ней бесчисленные сани, бегут непрерывно друг другу навстречу, и в этом быстром, оживленном и в то же время безмолвном уличном движении есть какая-то неопиcуемая, тайная зимняя прелесть. Иногда между нами вдруг просунется сзади мотающая, дымящая лошадиная голова и обдаст нас влажным теплом и крепким конским запахом.

Уже не знаешь, по каким улицам едешь: все кругом – так оживлено, приподнято, фантастично и все так быстро движется. Вот из узенького переулочка или тупика мелькнула церковка, маленькая, кирпично-красная под покрывающей ее снежной шапкой. Как рубин, светится огонек лампадки над входом в нее, и вдруг на минуту широко отворяется церковная дверь: теплый блеск свечей, яркое сверкание золотой иконы, густая черная толпа на переднем плане и чуть слышное, радостное пение. Какое множество людей и вещей пронесется перед глазами. Под ясно освещенным навесом уличного ларька ряды малиновых, красных, желтых яблок и сам фруктовщик, в белом переднике, черноволосый, чернобородый, румяный, с широкой улыбкой белых зубов и пурпуровых губ. Золотой крендель. Золотой окорок. Разноцветные бутылки в винном погребе. Круглые, цветные шары в аптеке. Приказчики, посыльные, солдаты, дети, афиши. И мягкий пушистый снег без конца. Как переполнены у меня зрение, обоняние, слух и душа!.. (Только вот направо поглядываю я краешком глаза, с воровской опаской.) Как хорошо жить в этом государстве, в этом великом городе, среди народа, говорящего этим простым и роскошным языком!..

Приехали. Белая от снега борода, белые усы, белая шапка склоняются с высоты козел.

– Гривенничек, прибавили бы, ваше сиятельство? Хорошо ехал!..

Так стою я под падающим снегом на парижском перекрестке и будоражу в памяти прошедшее...

7. Московская пасха

Московские бульвары зеленеют первыми липовыми листочками. От вкрадчивого запаха весенней земли щекотно в сердце. По синему небу плывут разметанные веселые облачки; когда смотришь на них, то кажется, что они кружатся, или это кружится пьяная от весны голова?

Гудит, дрожит, поет, заливается, переливается над Москвой неумолчный разноголосый звон всех ее голосистых колоколов.

Каждый московский мальчик, даже сильно захудалый, самый сопливый, самый обойденный судьбою, имеет в эти пасхальные дни полное, неоспоримое, освященное веками право залезть на любую колокольню и, жадно дождавшись очереди, звонить, сколько ему будет угодно, пока не надоест, в любой из колоколов, хотя даже в самый огромный, если только хватит сил раскатать его сорокапудовый язык и мужества выдержать его оглушающий, сотрясающий все тело медный густой вопль. Стаи голубей, диких и любительских, носятся в голубой, чистой вышине, сверкая одновременно крыльями при внезапных поворотах, и то темнея, то серебрясь, почти растаивая на солнце. Как истово-нарядна, как старинно-красива коренная, кондовая, прочная, древняя Москва. На мужчинах темно-синие поддевки и новые картузы, из-под которых гладким кругом лежат на шее ровно обстриженные, блестящие маслом волосы... Выпущенные из-под жилеток косоворотки радуют глаз синим, красным, белым и канареечным цветом или веселым узором в горошек. Как румяны лица, как свежи и светлы глаза у женщин и девушек, как неистово горят на них пышные разноцветные морозовские ситцы, как упоительно пестрят на их головах травками и розанами палевые кашемировые платки и как степенны на старухах прабабушкины шали, шоколадные, с желтыми и красными разводами в виде больших вопросительных знаков!..

И все целуются, целуются, целуются... Сплошной чмок стоит над улицей: закрой глаза – и покажется, что стая чечеток спустилась на Москву. Непоколбим и великолепен обряд пасхального поцелуя. Вот двое осанистых, степенных бородачей издали приметили друг друга, и руки уже распространились, и лица раздались вширь от сияющих улыбок. Наотмашь опускаются картузы вниз, обнажая расчесанные на прямой пробор густоволосые головы. Крепко соединяются руки. «Христос воскрес!» – «Воистину воскрес!» Головы склоняются направо – поцелуи в левые щеки, склоняются налево – в правые, и опять в левые. И это все не торопясь, важеват.

– Где заутреню отстояли?

– У Спаса на Бору. А вы?

– Я у Покрова в Кудрине, у себя.

Воздушные шары покачиваются высоко над уличным густым движением на невидимых нитках разноцветными упругими, легкими весенними гроздьями. Халва и мармелад, пастила, пряники, орехи на лотках. Мальчишки на тротуарах, у стен катают по желобкам яйца и кокаются ими. Кто кокнул до трещины, – того и яйцо. Пасхальный стол, заставленный бутылками и снедью. Запах гиацинтов и бархатных жонкилий. Солнцем залита столовая. Восторженно свиристы канарейки. Юнкер Александровского училища в новеньком мундирчике, в блестящих лакированных сапогах, отражающихся четко в зеркальном паркете, стоит перед милой лукавой девушкой. На ней воздушное платье из белой кисеи на розовом чехле. Розовый пояс, роза в темных волосах.

– Христос воскрес, Ольга Александровна, – говорит он, протягивая яичко, расписанное им самим акварелью с золотом.

– Воистину!

– Ольга Александровна, вы знаете, конечно, православный обычай...

– Нет, нет, я не христосуюсь ни с кем.

– Тогда вы плохая христианка. Ну, пожалуйста. Ради великого дня!

Полная важная мамаша покачивается у окна под пальмой в плетеной качалке. У ног ее лежит большой рыжий леонбергер.

– Оля, не огорчай юнкера. Поцелуйся.

– Хорошо, но только один раз, больше не смейте. Конечно, он осмелился.

О, каким пожаром горят нежные, атласные, прелестные щеки. Он смотрит: ее милые, розовые губы полуоткрыты и смеются, но в глазах влажный и глубокий блеск.

– Ну, вот и довольно с вас. Чего хотите? Пасхи? Кулича? Ветчины? Хереса?..

А радостный, пестрый, несмолкаемый звон московских колоколов льется сквозь летние рамы окон...

Завирайка

Собачья душа

Это было не только до эмиграции, но даже до революции, даже еще года за четыре до великой войны; право, мне иногда кажется, что случилась эта история лет сто или двести назад.

Я тогда зарылся на всю зиму в новгородскую лесную глушь, в запущенное барское имение Даниловское. В моем распоряжении был старинный деревянный дом в два этажа и в четырнадцать больших комнат. Отопить его весь – нечего было и думать, хотя дрова были свои и в любом количестве. Поэтому топил я ежедневно только одну комнату, самую из них малую, в которой жил, работал и спал; топил ее собственноручно, так же как сам и подметал ее, и ставил себе самовар, и оттаивал воду для умывания. Никто из соседнего крестьянства не соглашался идти ко мне для услуг или на кухню: ни бабы, ни мужики, ни парнишки, хотя у меня с деревенскими и были прекрасные отношения, хотя крестьянство здесь и считалось бедноватым, хотя я и сулил за пустячную службу царскую плату, подумайте: целых три рубля в месяц.

Обегали вовсе не меня, а именно тот большой, старый, серый с белыми колоннами дом, в котором я жил. Во всех соседских деревнях: в Трестенке, Бородине, Никифорове, Осиповке, Высотине, Свистунах да, пожалуй, во всем Устюженском уезде, – каждый мужик твердо знал и крепко верил, что в даниловском доме на чердаке находится черный гроб, а в гробе этом лежит огромная страшная мертвая нога и что по ночам нога эта ходит по всему дому и горько плачет, вызывая о погребении.

Сколь эти рассказы ни казались вздорными, однако – странно сказать – в них была доля истины. Однажды, роясь на чердаке среди пыльного векового мусора, я наткнулся на солидный черный ящик с застежками, формой похожий не то на футляр для какого-то музыкального инструмента, а, пожалуй, и на гроб. Я открыл его. В нем действительно лежала нога, но вовсе не мертвая, а искусственная, прекрасно сработанная, со ступней, все как следует, и обтянутая превосходной толстой голландской замшей. Тут же я нашел и костыль к ней. Судя по размерам этих вещей, я убедился, что ими пользовался когда-то человек большого на редкость роста. Позднее я даже узнал, кому из героев войны 1812 года она служила при жизни: генералу Кривцову, другу Пушкина. Он потерял свою естественную ногу в бою под Кульмом. Это ему писал Пушкин: «Ты без ноги, а я женат, или почти...»

Как бы то ни было, благодаря «Мертвой Ноге» я в этом огромном доме был осужден на одиночество, в условиях Робинзона до его встречи с Пятницей. Зато я смело мог бы держать все двери в доме раскрытыми настежь, если бы, конечно, не глубокая зима и не пронзительные ветры, которые и без того гуляли по двум этажам и по чердаку ветхого столетнего дома, воя в трубах, визжа в щелях, свистя в дырявых рамах. Признаюсь, порою по ночам и мне становилось жутковато... Кроме меня, обитал в усадьбе, через двор от меня, в маленьком низеньком флигельке, управляющий Арапов; там же ютилась экономка, она же и стряпуха, престарелая Елена Степановна; да еще по утрам рубил дрова, крикая и кашляя, какой-то дедушка Иван; где он ночевал – не знаю; похож он был на рождественского деда Мороза.

Арапов ко мне по вечерам никогда не заглядывал. Он тоже слышал о «Ноге». Его боязливость меня удивляла: был он раньше, во время японской войны, храбрым матросом, принимал участие в Цусимском бое, спасал свою жизнь вплавь после того, как корабль взорвали, и был выловлен из воды японцами, взявшими его в плен.

Я у него обедал и ужинал. Днем он иногда забегал ко мне – у меня находился склад пороха, дробы, шомполов, пистонов и разных машинок для снаряжения патронов. Но он очень бывал недоволен, когда я предлагал ему лично удостовериться в том, что в черном ящике лежит обык-

новенное изделие рук человеческих из дерева и замши. Он каждый раз отворачивался, отмахивался, тряс головой и кричал:

– Умоляю вас, умоляю, не надо!.. Видеть не могу мертвецов!..

Ничего я с ним не мог поделывать.

Но был Арапов страстным охотником и, что еще важнее, хорошим товарищем на охоте. А охотиться мы стали не только для удовольствия, но и по нужде. Ежедневная каша с пустыми щами и солонина надоели. Мяса негде было достать. Между тем всякому известно, что заяц, прошипованный салом и чесноком да сжаренный в сметане, представляет собою вовсе не дурное блюдо. Счастье наше было, что мужики зайца не едят, считают его дикою кошкой и веруют, что взят он был Ноем в ковчег в качестве одной из нечистых пар. Иначе зайцы давно бы перевелись на Руси.

Я приехал в Даниловское позднею осенью, в ту пору, когда в лесах опавший лист уже слежался на тропинках и почернел. Охота в такое время называется охотою по *чернотропу*, весьма интересна. Но – беда! – собак в Даниловском совсем не было, за исключением, конечно, тех негодных дворняг и дворняжек, которыми так богата бывала каждая русская усадьба. Едучи в Даниловское (уже не в первый раз), я надеялся достать хоть неважного выжлеца, хоть плохонькую выжловку у Александра Семеновича Трусова, у этого «Великого Охотника», у этого «Длинного Карабина», «Кожаного Чулка» и «Следопыта», у этого кротчайшего из людей, который убил в своей жизни шестьдесят четыре медведя, десятки рысей и лосей, сотни волков и лис и тысячи зайцев. Но еще в Васьегонске узнал я от ямщика, Сергея Пятнышкова, что волею божьей Александр Семенович скончался в прошлом мае, а огорченная вдова всю его знаменитую охоту распродала, чтобы не тревожить сердца видом бывших мужниных воспитанников и любимцев. Что за охота без гончей? Да, я знаю, есть любители *«тропить»* зайца. Найдут свежий его след на снегу: две лапки рядом, две лапки одна за другой, и идут по следу, как по тропке, пока не найдут лежачего и не застрелят его. Ведь он бежит только ночью, а весь день лежит. Но так охотятся – извините за выражение – шкурятники. У них много терпения, но вдохновения и поэзии ни на грош... Вот мы с Араповым и мечтали все о выжлеце. И как с кем встретимся или кто в Даниловское наедет, непременно клянчим: «Может, о гончей собачке где прослышите, так постарайтесь, душенька, для нас. И мы вам, когда понадобится, за услугу услугой, не считая того, что зайчишек вам будем при всякой оказии посылать».

Провинция, уезд, деревня – это особая страна: там мельчайшие слухи и вести растекаются во все стороны не хуже радиотелеграфа. Уже осень стала совсем холодной, густой по утрам иней серебрил поля и пудрил деревья, и мороз тонким ледяным лаком затягивал морщинистые пруды. Наконец, однажды ночью пошел снег, и, проснувшись, мы увидели из окон белую зиму. Первая пороша! Как дрожат охотничьи сердца при звуках этих двух слов!

В эту же первую порошу как раз и случилось чудо. К обеденному времени заехал в Даниловское из деревни Круглицы (десять верст от нас) круглицкий почт-директор, он же почтмейстер, он же единственный чиновник и единственный почтальон почтового отделения, козлобродый, длинный и многодетный Голованов. У меня по тем сонным местам и временам была невиданно большая корреспонденция. Поэтому Голованов, вместо того чтобы, по тамошнему обычаю, посылать мне почту с любым попутным ямщиком, предпочитал привозить ее лично. Впрочем, может быть, были и другие причины такой любезности.

Он по скромности долго отнекивался, но все-таки мы усадили его за стол, разогрели солонину, нашелся кусок старой железной колбасы, графинчик водки и бутылка пива. Тут-то, придя в радужное настроение, почт-директор хлопнул себя по коленам и воскликнул:

– Да! Чтобы не забыть! Говорят, вы для охоты собачку приискиваете? Так вот, у нас в Козлах, на выселках, живет вдовая женщина, вроде как однодворка, и у нее имеется довольно ладный кобелек, гончак, годов двух, не боле. Это от самого покойного Александра Семеныча ей подарок, щенком еще выпросила. Теперь на чепе он сидит. Она, может, и согласится продать? Попробуйте. Если хотите, я с ней поговорю? А то поедемте сейчас со мною.

Мы попили чайку и поехали на головановской двухколесной трясучке. Езды всего было полтора часа до крошечной усадьбы, стоявшей сбоку деревни, как бы на отлете. Мы въехали в широкий чистый двор. Там, у столба, привязанный на длинной цепи, метался и отчаянно лаял отличный гончий пес, блестяще-черный, с густорыжими подпалинами, рослый и широкогрудый. Я никогда не похваляюсь, что подойду к любой цепной собаке. Но если по одному взгляду и по

звуку голоса я определяю, что лает пес умный, неозлобленный и незабитый, то иду без всякого колебания. В этих случаях надо только не забыть, что, протягивая собаке руку, следует держать ее вверх ладонью, притом широко открытой, чтобы собака убедилась, что камня в ней не спрятано. Старая женщина, вышедшая на крыльцо, крикнула:

– Ты поберегись, кормилец! Он тебя загрызет! Но собака не тронула меня. Обнюхала руку и, туго натянув цепь, уперлась мне в грудь мускулистыми передними лапами. Кусок солонины, который я предусмотрительно взял с собою, был принят благосклонно и проглочен мгновенно, а хвост выразил самую размашистую признательность. И тут-то я обратил внимание на глаза этой собаки. Они были ярко-рыжего цвета, живые и серьезные. Их взгляд был тверд, доверчив и проныцателен, без малейшего оттенка угодливости. Они не бегали, не моргали, не прятались. Казалось, они настойчиво спрашивали меня: «Зачем я живу здесь, посаженный на цепь? Зачем ты пришел ко мне? Ведь не со злом?» Так умеют смотреть лишь лохматые пастушьи собаки в горах.

Затем я познакомился с хозяйкой, Анной Ивановной. Узнав, что я хочу купить пса, она раскудаhtалась: «Ах, да как же это! Ах, да я не знаю. Уж больно пес-то хорош. Завирайка-то. Таким псам цены нет, если на охотника. Ведь из трусовской псарни собачка, самого Александра Семеныча. Порода-то какая...» Потом сделала скорбное лицо, помолчала, вздохнула и спросила с сомнением: – Трешницу не дадите?

Три рубля я охотно дал. Предлагала она еще и цепь за один рубль. От цепи я отказался. Но из вежливости набавил этот рубль за старый, никуда не годный ошейник. Тут вдова сразу повеселела и не хотела меня отпустить без того, чтобы я не попробовал ее домашнего пива. Пришлось выпить с нею ковшик густой, как кисель, солодовой бурды, помянув добрым словом память покойного «Великого Охотника» Трусова. Расстались мы приятелями. «Если тебе собака не на цепь, а для охоты, то лучшего кобеля не найти нигде».

Я пошел домой пешком, ведя Завирая на веревке. Но он шел со мной так послушно, охотно и весело, что я спустил его на свободу. Он с явным наслаждением бежал впереди, роясь носом в молодом снегу, спугивая с дороги воробьев. Но стоило мне свистнуть или окликнуть его по имени – он тотчас же останавливался и поворачивался ко мне поднятой кверху мордой с внимательными яркими глазами. Я махал рукой, говорил: «Иди», – и он опять пускался вперед. «Что за чудный пес!» – ликовал я.

Но в воротах я принужден был снова взять его на веревку, потому что со всех концов усадьбы сбегалось все собачье население: и Патрашка, и Жучка, и Султан, и Рябчик, и Кадошка, и Барбоска, и Чирипчик, и Серко, и – кладбищенского сторожа – Чубарик, помесь таксы и борзой. У собак есть рыцарское правило: собаку лежащую или на привязи не трогают. Однако лай и руготню даниловские собачонки поднимали ужасающую. Завирайка прижимался ко мне боком, нервно приподымал верхнюю губу, показывал из нее белый огромный клык и, оборачиваясь на меня, ясно говорил выразительными глазами: «А что? Не задать ли им трепку?»

Арапов был в восторге. Ему только не понравилось простонародное имя – Завирай. «Гораздо лучше бы, – говорил он. – назвать его Милордом, или Фиделем, или Жужой». Дело в том, что он состоял подписчиком «Петербургского листка» и больше всего на свете обожал великосветские романы княгини Бебутовой. Но я не уступил.

Зато мне пришлось уступить ему в другом. Я уже, глядя на Завирайку, лакомился мыслью, что нашел в нем для моего Робинзона житья в четырнадцати нежилых комнатах своего Пятницу. Однако Арапов правильно указал на то, что, во-первых, гончую собаку трудно приучить к комнатной опрятности, а во-вторых, в тепле собака изнеживается, теряет чутье и на охоте легко простуживается. Мы решили постелить для Завирая сена под навесом у кухни. Впоследствии, когда зима установилась прочно и настали холода, мы сделали из снега большой трехсторонний вал, примкнув его к стене флигеля и оставив узенький вход. Сверху мы покрыли это сооружение крышей из соломы. Конечно, со временем все усадебные псы устроили в этом домике, под кровительством Завирая, общую уютную спальню и чувствовали в ней себя превосходно. Бывало, в жестокий мороз, вечером, просунешь руку внутрь сквозь солому, и, просто прелесть, какая там бывала живая густая теплота. Одним словом – собачий рай.

В тот день нам не пришлось охотиться: день стоял теплый, и снег раскис, а назавтра хватил холодок, сделалась гололедица. Потом пошли метели. Все не везло нам с погодой.

Дней через десять повалил наконец тихий, крупный, мохнатый снег. Из-за его сплошной сетки не стало видно ни деревень, ни леса. Шел он целый день и к вечеру вдруг перестал, точно

улегся спать в глубокой тишине, неподвижности и тьме.

Утром, чуть свет, мы вышли в поле. Был легкий холодок. Солнце взошло, точно праздничное. От него снег казался розовым, а тени деревьев нежно-голубыми. Заячьих следов было великое множество, а вокруг стогов снег прочно был притоптан лапками «жировавших» ночью зайцев.

Но Завирайка... Завирайка совсем огорчил нас. Напрасно мы наводили его на самые свежие, еще казавшиеся теплыми следы, тщетно мы его тыкали в них носом, указывали руками направление, уговаривали и умоляли его. Он глядел, высоко подняв голову, то на меня, то на Арапова и говорил настойчивым взором: «Я готов слушаться, но объясните цель. Зачем?»

Так промучились мы с ним три дня. Говорил иногда Арапов: «Запустить бы ему заряд картечи под левую лопатку. Да жаль, он и патрона не стоит... Вообще никуда не годный пес». Но – врал впопыхах, со злости. Вне охоты относился к собаке заботливо.

А на четвертый день вот что произошло.

Только вышли мы из усадьбы на малую горушку, где начинались крестьянские выгоны, как Завирай остановился и начал нюхать снег, яростно болтая хвостом. Помню, Арапов сказал: «Должно быть, дурак, мышь земляную почуял». Но в ту же секунду из снега выскочил столбом огромный палевый русак и помчался вперед, точно бешеный. Вряд ли за ним угналась бы и борзая собака.

Завирай был великолепен.

Он не растерялся, не замаялся, не потерял ни одного мгновения: он в ту же секунду бросился за русаком, и скоро мы потеряли его из вида. Еще прошла минута – мы услышали его голос... Знаете, как гончая лает, идя за зайцем? Она, бедная, все жалуется: «Аи, ой, аи! Батюшки, меня обижают! Что мне, ай, ай, бедной, делать? Ай, ай, ай!» Слышно было, что Завирайкины лай повернут направо.

Тут была рука Арапова, и он начал, изготовив ружье, продвигаться вправо. Гон Завирайки становился все тише, почти умолк, но вдруг едва слышно возобновился и сразу стал слышным и яростным.

Я стоял со стороны, и мне все было слышно и видно. Я видел, как Арапов прицелился. Потом из кустов выскочил светло-бурый заяц. Тотчас же белый дымок вырвался из араповского ружья, и одновременно с ним заяц перекувыркнулся через голову и лег в снег. Потом раздался слабый – пук! – это был выстрел. И потом уже из кустов вырвался громко плачущий Завирай.

Он с разбега ткнулся в заячье тело и тут же присел на зад. Когда мы подошли к нему, он представлял комически печальное зрелище: наморщенная морда опущена вниз, уши висят, общий вид скорбный – ну, ни дать ни взять лицемерная вдова. Но когда я ему бросил заячью лапку, тот самый сустав, который дамы употребляют для румян, – он поймал ее на лету, сочно хрустнул ею и мгновенно проглотил. И с этого момента он сделался первоклассным гончим псом. В то же утро он без всяких наших намеков и указаний стал сам разыскивать заячьи следы, гнал зайцев чутко и безошибочно; и с охотничьей страстью умел соединять хладнокровный расчет. Он выгнал на нас в этот день еще четырех зайцев; одного из них во второй раз положил Арапов, другого – я. И над каждым из них он неизменно (как и всегда потом) устраивал фигуру грустной вдовы... Вскоре он стал знаменитостью на весь уезд, но слава не испортила его кроткого и чистого характера. А сейчас я расскажу об одном случае, в котором Завирай проявил такую преданную дружбу, такую силу доброй воли и такую сообразительность, какие и среднему человеку сделали бы большую честь.

Зима переламывалась. Откуда-то издали стало попахивать весной. Мы с Араповым выбрали одно весеннее утро, чтобы, может быть, в последний раз до будущей осени пойти по зайцам. Завирая не надо было приглашать. Он пошел с нами со всегдашней своей сдержанной, серьезной радостью.

И, конечно, увязалась за нами вся эта непрошенная, бестолковая деревенская собачня: и кладбищенский Чубарик, и Серко, и Султан, и Кадошка с Барбоской, и Султан с Патрашкой, – словом, все, кто только умел и мог мешать охоте. Работал-то всегда один только Завирайка со свойственной ему неутомимой и требовательной энергией. Независимые дворняжки охотились сами по себе. Они обнюхивали ежовые, кротовые и мышь норы и пробовали их разрывать лапами, лаяли на свежий птичий и заячий помет. Очень скоро мы их перегоняли, и они совсем терялись из вида. «Вообще, – говорил не раз Арапов, – эту сволочь надо бы давным-давно пере-

стрелять». Но – шутил. Он был добрейшим малым. Однако в этот день мы не увидели ни разу даже заячьего хвоста. Все поля, лужайки, лесные тропки были сплошь избеганы и перетоптаны зайцами, но определить, новые это следы или старые – не было никакой возможности. Завирайка рылся носом в снегу и отчаянно фыркал. Бросив след, он опять возвращался к нему, снова нюхал, недоумевая, и потом, повернувшись к нам, устремлял на нас свои ярко-рыжие глаза. Он будто бы говорил нам: «Ну хорошо, ну пошли мы за зайцами, но где же, о мудрецы, о огненные люди, где наши зайцы?» Мы зашли далеко. Стало уже смеркаться. Мягкий снег липнул на валенках, и они промокли. Мы решили пойти домой. Прощайте, зайцы, до будущего чернотропа. Завирай разочарованно бежал впереди.

На выгоне, как и всегда, присоединилась к нам вся свора анархических дворняг. Им трудно было идти. Рыхлый снег забивался твердыми комками под лапы, и надо было эти комки ежеминутно выкусывать.

Мы уже почти подходили к усадьбе, как вдруг беззвучно начал падать с темного неба густой крупный снег. В несколько минут он покрыл все следы: и заячьи, и человечесьи, и санные, и так же скоро перестал.

Дома я переоделся. Мне оставалось еще полчаса до ужина и до обычного преферанса вдвоем, «по-гусарски». Я просматривал старинную книгу Светония «Двенадцать цезарей», с двумя параллельными текстами, французским и латинским.

В окно мне постучали. Я прильнул к стеклу и увидел Арапова. Он тревожно вызывал меня. Я знал, что ночью он не решится войти в большой дом, по причине мертвой ноги, и потому, наскоро надев тулупчик, вышел на двор. Арапов был очень обеспокоен:

– Пожалуйста... Я не знаю, что мне делать с Завирайкой. Если бы не зима, я подумал бы, что он взбесился. Посмотрите-ка.

Завидев меня, Завирай бросился ко мне. Он прыгал ко мне на плечи, рвал полы моего тулупчика и тянул меня, упираясь передними ногами в снег и мотая головой.

– Мне кажется, что он почуял волка, – догадался я. – Подождите, я перезаряжу ружье картечью, и пойдем, куда он поведет.

Увидев ружье, Завирай радостно запрыгал. Он побежал вперед, но при выходе из усадьбы остановился и поджидал нас, нетерпеливо махая хвостом. Мы шли за ним. Очевидно, он держал верный, памятный ему путь: это была та самая дорога, которой мы только что возвращались с охоты, – теперь гладкая и чистая от свежего снега.

– Подождите-ка, – сказал Арапов. – Подержите немного Завирая. Я посмотрю следы.

И через несколько минут он крикнул мне:

– Ясно, как палец! Туда и сюда ведут Завирайкины следы. Надо думать, что после прихода домой он сбегал куда-то и вернулся назад.

Конечно, не волк волновал Завирая, иначе он скулил бы. Мы продолжали следовать за ним, и он теперь вел нас спокойно и уверенно, отлично поняв, что мы его слушаемся.

Так мы прошли верст пять-шесть и, наконец, издали услышали тонкий, тихий, жалобный визг. Он становился с каждым шагом все яснее, пока мы не убедились, что это визжит небольшая собачка. Скоро при мутном свете расплывчатого месяца мы увидели небольшой снежный бугор. Завирайка начал ретиво метаться от этого бугра к нам и обратно и весело лаял. Когда мы подошли совсем близко, то без труда нашли бедного злополучного Патрашку. Оказывается, он попал в заячий капкан, поставленный в подлеске бородинскими мужиками.

Заячий капкан, конечно, не мог бы переломить собачью ногу, и, не будь снег талым, Патрашка дотасился бы как-нибудь до усадьбы. Но легкий, сырой, мягкий снег с каждым новым волочащимся шагом Патрашки все более и более набухал на капкане, пока не обратился в огромный ком, которого небольшая собачка уже не могла стронуть с места.

Мы высвободили Патрашку, и он, прихрамывая и повизгивая, заковылял позади нас в усадьбу.

Завирайка всю дорогу не мог успокоиться и отчаянно весело лаял. Он кидался передними лапами на грудь то ко мне, то к Арапову и все норовил лизнуть нас в губы и тотчас же бежал назад к Патрашке, чтобы облизать его с хвоста и с головы. Милая, бескорыстная собачья радость!

За ужином мы долго говорили об этом происшествии. Странно: мы – люди, мы – цари вселенной, мы, умеющие считать до тысячи, не заметили по дороге отсутствия Патрашки, а Зави-

райка – всего только собака – сообразил эту нехватку, уже придя домой. И что заставило его пойти на розыски приятеля: сознательный ум или темный, но верный инстинкт?

Скрипка Паганини

Кому не известна легенда о том, как великий скрипач и композитор Николо Паганини, родом венецианец, продал дьяволу свою душу за волшебную скрипку? В это предание верил даже такой безбожник, скептик и насмешник, как славный поэт Генрих Гейне. Зато мало кто знает о том, как закончилась эта богопротивная сделка и кто в ней оказался победителем: человек или враг человечества? Среди венгерских бродячих цыган ходит одно смутное предание. Верить ему или не верить – это уж как хотите.

Очень немилосердна была судьба к молодому Николо в тот год, когда долги, неудачи и сотни мелких неприятностей заставили его бежать из Венеции в Вену, где он – странствующий музыкант – играл на свадьбах или обходил со своей дешевой скрипкой кабаки последнего разбора. В приличные гостиницы его не пускали по причине его плохой одежды, состоявшей из лохмотьев.

Но особенно тяжелый, проклятый день выпал для него 21 октября. С самого утра шел непрерывный холодный дождь со снегом. Дырявые башмаки артиста так промокли, что обратились в кисель и хлюпали на каждом шаге, брызжа фонтанами грязи, и сам Паганини был весь мокрый и грязный, как черный пудель, вылезший из болота.

Падал на город мутный, желтый, зловещий вечер. Едва светили сквозь дождь редкие фонари. В такие погоды людские сердца неохотно раскрываются навстречу чужому горю и чужой бедности, между тем как бедняк вдвойне ощущает холод, голод и сиротливость.

В течение всего дня Паганини не заработал ни гроша. Только уже поздно вечером пьяный лудильщик дал ему недопитую кружку пива, стряхнув в нее, кстати, пепел из своей трубки. А в другом месте подкутивший студент швырнул ему три крейцера и сказал:

– Вот тебе плата за то, чтобы ты перестал играть! Паганини взял эту злую подачку и заскрежетал зубами: «Ладно! Когда я буду знаменит – попомнишь ты у меня эти три крейцера!»

Надо сказать, что, вопреки всем несчастьям, Паганини никогда не сомневался в своем гении. «Мне бы только порядочную одежду, благоприятный случай да хорошую скрипку – и я удивлю весь мир!» Из последнего трактира его просто-напросто выбросили на улицу, потому что он оставлял за собой целые озера воды. На три крейцера Паганини купил маленький белый хлебец и ел его без удовольствия, идя по дороге к дому. Когда же он, усталый, с трудом взобрался на верхний этаж, в свою голую чердачную клетушку, то смертное отчаяние и бешеная злоба охватили его мрачную душу. Ударом ноги он отшвырнул свою жалкую отсыревшую скрипачонку в угол и, бия себя в грудь кулаками, возвопил:

– Дьявол! Дьявол! Если ты не глупая бабья выдумка, если ты воистину существуешь, то приди ко мне сейчас же! Дешево продается гордая человеческая душа вместе с творческим гением. Поспеши же! Иначе какая тебе будет корысть от повесившегося бедняка?

И дьявол немедленно явился. Явился вовсе не в серном дыме, не с отвратительным запахом козла, не с раздвоенными копытцами вместо ступней, без малейших признаков хвоста, – в скромном виде старенького нотариуса или стряпчего, в сером опрятном камзоле со старинными желтоватыми кружевами. Чернильница, гусиное перо и подержанная контрактная книга – все это находилось при нем и было не спеша, деловито разложено на хромоногом столе. Ярko вспыхнул огонь в масляной лампе.

– Видите, юноша, – начал спокойно дьявол. – Я к вам явился без всякого балаганного шума и треска, без всяких адских запахов и костюмов, и расписки непременно кровью я от вас не потребую. Оставим эту дурацкую бутафорию скудному и болезненному воображению средневековья. Наш век – век вежливости, прозы и арифметики. Не буду скрывать от вас, что нам, чертям, гораздо выгоднее и удобнее в нашей торговле услужливость и честность, чем наивный обман. Поэтому не удивитесь тому, что в нашей сделке я буду не только покупателем, но, если понадобится, то иногда и вашим адвокатом. Итак: что вы желаете получить за вашу душу?

– Денег! Золота! Без конца золота!

– Видите, вот вам уже и понадобилась моя юридическая помощь. Ничего нет легче, как потребовать от дьявола денег. Это всякий лопухий молодой дурак сумеет заказать. Ну, а что вы

скажете насчет славы?

– Пустяки! Славу можно купить за деньги. Надо только не особенно скупиться.

– Нет, мой друг, вы говорите опрометчиво. Золотом можно купить только льстецов. Но такая слава не перешагнет за пределы того круга, который составляют ваши льстецы и в центре которого находитесь вы, оглушенный низкими похвалами прихвостней. Нет, вы лучше скажите мне о чем-нибудь другом. Например, о любви.

– Черт возьми! Да ведь любовь уже наверно покупается легче всего!

– Всякая? Вы так думаете? Напрасно, совсем напрасно, мой молодой Николо! Если бы всякая любовь продавалась, то уж давным-давно земной шар и вся вселенная были бы в совершеннейшей и вечной власти дьявола и нам, его сотрудникам, приходилось бы только жиреть в бездействии на казенных харчах. Хотите, я вам скажу один страшный секрет? Хотите знать, почему дьявол так несчастен? Потому что он всеми своими силами хочет любить, но не может... Нет, юноша, если вы хотите заключить со мною сделку, выгодную и почетную для обеих сторон, то остановитесь на ваших первых, скромных условиях: хорошая одежда, удачный случай и прекрасная скрипка.

Паганини раздумывал в течение нескольких минут и потом сказал нерешительно:

– От своего намерения я не отступаю. Мне кажется, что вы как будто бы правы, господин стряпчий. Но только не слишком ли дешевую плату я потребовал впопыхах за мою бессмертную душу, заранее осужденную на бесконечные муки? Стряпчий молча нагнулся, вытащил из-под стола большой, старинный, потертый на углах футляр из буйволового кожи и бережно передал его Паганини.

– Можете сами поглядеть на скрипку и даже испробовать ее. Это – бесплатно.

Паганини почтительно отстегнул бронзовые золоченые застёжки футляра, вынул и расстелил на столе три покрывала, которые окутывали инструмент: замшевое, бархатное и шелковое, – и вот волшебная скрипка, высоко поднятая вверх, показалась во всей своей красоте, так пленительно похожая своим строением на фигуру нагой, совершенно сложенной женщины, с ее маленькой головкой, длинной, тонкой шеей, покатыми плечиками и гармоничным переходом нежной талии в плавные мощные бедра.

– Это не Страдивариус, – воскликнул восхищенный Паганини, – но это также не Амати, не Гварнеро и не Гваданини! Это идеал скрипки, дальше которого человек не пойдет, не может пойти! Так, значит, вы позволите мне немного поиграть на ней?

– Да... пожалуйста, – как-то вяло, нехотя и скудно согласился черт. – Я вам сказал.

Струны скрипки были уже настроены, и смычок в меру натерт калофонием. Когда же Паганини заиграл на ней могучую пламенную импровизацию, то он сам впервые понял – какой крылся в нем великий талант, заглушенный до сей поры нищенским прозябанием. И он сказал почти весело:

– Хозяин, я к вашим услугам, и благодарю вас за умные советы. Но почему, скажите мне, – если это только вам не трудно, – почему вы как будто приуныли и омрачились, точно обиделись на меня?

– Если говорить по правде, – сказал черт, поднимаясь со стула, – меня немного огорчает то, что вы оказались бесконечно талантливее, чем я мог предположить. Однако слово есть слово. Скрипка эта – ваша, владейте ею пожизненно. Вот вам небольшой мешочек с золотом; это на первое время. Завтра к вам придут: портной с придворным костюмом и лучший венский парикмахер, а через день вы выступите на том музыкальном состязании, которое торжественно устраивает сам эрцгерцог. Теперь, будьте любезны, подпишитесь вот в этой строке. Так. Хорошо. Мерси и до свидания, молодой человек.

– До скорого? – спросил лукаво венецианец Паганини.

– Вот этого я уже не знаю, – ответил сухо черт. – Я думаю, что до положенного вам срока, не ближе. Ведь вы у меня не просили долголетия?.. Мои комплименты, маэстро!

Дьявол ни в чем не обманул скрипача. Все случилось по предвиденному им плану. После музыкального турнира у наследника престола сразу вошла в зенит звезда Паганини, засияла ослепительно и не бледнеет даже до наших времен. Но сам Николо Паганини стал несчастнейшим человеком на свете. Неудовлетворенные страсти, ненасытимое честолюбие, бешеная жадность к деньгам и вместе с нею отвратительная, самая мелочная скупость; зеленая зависть не только к прежним артистам, не только к современникам, но и к будущим великим скрипачам

отравили и испепелили его душу. Нередко он писал свои музыкальные сочинения в таких трудных нотных комбинациях, которые исполнить на скрипке мог только один он, но невольное признание безграничности искусства говорило ему, что некогда придет другой музыкант и сыграет легче его диавольские шарады и пойдет дальше него. И этого, будущего, он заранее ненавидел.

Сделавшись миллионером, он все-таки собирал на улице бумажки, обрывки веревок и всякую другую труху, а дневное его пропитание никогда не превышало одного талера.

Сколько прекраснейших женщин, упоенных его сверхъестественным искусством, приходило к нему, чтобы отдать ему себя, свое сердце, судьбу и кровь, и всегда он брезгливо отворачивался от них, убежденный, что они хотят его золота. А одной знатной даме, супруге председателя государственного совета, жаждавшей разделить с ним и славу, и богатство, и любовь, и позор развода, он сказал, бросив на стол мелкие монеты: «Передайте вашему мужу эти три крейцера. Он мне их дал когда-то за то, чтобы я не играл больше на скрипке; вас же я прошу уйти, я сейчас занят упражнениями...»

Сколько истинных друзей и почитателей он оттолкнул грубыми словами: «Ты гонишься за моими деньгами или стремишься попасть на буксир моей славы». Воистину он был жалок и страдал глубоко, и не было ему утешения. Ибо не верил он никому.

Когда же настал срок его смерти и пришел к нему Серый Нотариус, то Паганини спокойно сказал ему:

– Хозяин, я готов. Но скажу вам, что в жизни моей не было радости.

Серый Нотариус устало возразил:

– Да, признаться, и у меня от вас не было никакого барыша. Оба мы заключили невыгодную для нас сделку. Поглядите на список контрактов. Там вашего имени нет совсем. Оно стерлось, оно кем-то вычеркнуто. Кем-то, кого мы не смеем называть.

– Что же я стану теперь делать? – снисходительно спросил Паганини.

– Ровно ничего, – ответил Серый Нотариус. – Ровно ничего, мой друг. Я поquitался с вами уже тем, что не пропускал ни одного вашего концерта. Это мне у моего начальства было поставлено в минус. Но и вы, в свою очередь, поquitались с тем, чье имя неназывается. Видите ли, настоящее искусство не от нас, а от Него, а кто сочтет эти счета? Прощайте. Теперь навсегда. Скрипку я оставляю у вас. Ах, нет! Не страшитесь за меня. Это только маленькие служебные неприятности. Прощайте же...

Наутро нашли великого Паганини мертвым; лоб его и морщины были, как и при жизни, горды и суровы. На устах же его лежала блаженная, счастливая улыбка. Дьявольская скрипка пропала навсегда.

Геро, Леандр и пастух

Я думаю, что всем на свете известно старое, трогательное предание о Леандре и Геро. Но далеко не все знают тот вариант, который можно услышать лишь от очень старых анатолийских греков.

Леандр жил по одну сторону Геллеспонта, в греческом городе Абидосе; Геро – по другую, на малоазийском берегу, в городе Сестосе. Леандр был прославленным атлетом, одинаково непобедимым в борьбе, беге, плавании, метании диска и стрельбе из лука; Геро была младшей жрицей в храме Артемиды. Оба они были так прекрасны телом, лицом и душою, как только могут быть прекрасны невинная девушка в шестнадцать лет и пылкий юноша в девятнадцать. В один из тех великих дней, когда Абидос устраивал атлетические состязания, Геро и Леандр увиделись на стадионе и с первого взгляда страстно полюбили друг друга: именно так приходит к людям настоящая любовь. В тот же вечер, покинув роскошное пиршество, они, незаметно для любопытных взоров, сошлись в цветущей апельсиновой роще, где сказали друг другу сладкие слова любви и обменялись первыми целомудренными ласками. Но нет в мире такой радости, на дне которой не таилась бы капля печали.

Во время этого нежного свидания с огорчением узнали молодые любовники о том, как трудно, почти невозможно было им стать мужем и женой. Геро, как жрица, не могла оставить храм ранее достижения двадцатипятилетнего возраста, не навлекши на себя бесчестия, а отец Леандра, знатный аристократ и первый богач Абидоса, уже давно и твердо порешил женить сво-

его сына, через год, на единственной дочери еще более богатого коринфского купца, с которым он вел большие торговые дела.

Среди глубоких вздохов, непрерывных поцелуев и соленых слез согласились влюбленные терпеливо ждать той счастливой поры, когда два великие бога – бог любви и бог случая – ниспошлют им радость соединиться навеки, а до этого дня неизменно любить друг друга.

– Но как же мы будем видеться? – уныло спросил Леандр. – Ведь в обоих городах нас знает каждый человек.

– Тогда будем видеться ночью, мой дорогой, – стыдливо предложила Геро. Леандр покачал головой.

– Разве тебе неизвестно, о душа души моей, что по ночам гавани как Абидоса, так и Сестоса заграждаются цепями и ни одна лодка не пропускается в пролив?

– Так что же? – быстро возразила Геро. – Разве ты не лучший пловец в Абидосе, а следовательно, и во всей Греции и во всем свете?

– Ах, и правда! – вскричал восхищенный атлет. – Это не пришло мне в голову. Я уже переплыл Геллеспонт четыре раза, всегда без особых затруднений.

Они крепко обнялись и условились, что на другой день Леандр переплывет пролив, а Геро около полуночи будет ждать около той старой, полуразрушенной башни, которая, по преданию, построена была древними могучими циклопами.

На другой день, ранней ночью, тайно выскользнула прекрасная Геро из жилых помещений храма, дрожа от любви, от страха и от ночной свежести, пришла к старинной, обомшелой башне и стала терпеливо дожидаться.

Необычайно долго тянулись минуты и часы. Сердце девушки стучало так громко, что, казалось, его биение было слышно даже в Абидосе. Проходило мимо башни козье стадо, а за ним шел пастух, знакомый всему Сестосу, высокий, жилистый старик, похожий на большого похотливого козла или на крепкого, лукавого сатира, с сединою в вьющихся волосах и в короткой курчавой бороде.

– Эй, девчонка! – сказал он низким голосом. – Твой любовник или очень запоздает, или вовсе не придет, а ты, сидя на холодных камнях, заполучишь жесточайшую боль в костях. Возьми-ка мою шерстяную милоть да сядь на нее и закутайся ею.

– Уйди, уйди, противный! – сердито закричала Геро. – Фу! от тебя даже издали пахнет козлом!

– Козлом? – насмешливо спросил пастух. – А почему ты знаешь, что не богом? Да ты, девчонка, не бойся меня. Я ничего не делаю насильно, я только заманиваю. И притом зелени не терплю, пускай ею наслаждаются мои козлы! Ну, вот я и отошел. А чтобы тебе не было так тоскливо дожидаться твоего красавчика, я сыграю тебе хорошенькую песенку.

Пастух сел на камень и стал играть на свирели одну песню за другой, а каждая песня была милее предыдущей, и так нежны, так сладки, так чисты были звуки легкого инструмента, что, заслушавшись, забыла прекрасная Геро свою тоску. Она даже сказала:

– Послушай, старый козел, сыграй эту песенку еще раз. Время же бежало и бежало. Стал светлеть воздух. Пастух все играл да играл. Вдруг девушка сказала:

– Эй ты, сатир! И правда, дай-ка мне твое покрывало, я вся дрожу. Порозовело море от дальней утренней зари, стали ясно видны ближние, а потом дальние предметы. Опасно было для Геро оставаться дольше вне ограды храма, и она печально пошла домой.

К полудню она получила через верного человека восковую дощечку, на которой Леандр писал о том, что одно дело плыть днем, а другое – ночью. Он плыл всю ночь, потеряв направление и место, руководясь только чутьем и своей любовью, а к утру очутился опять у абидосского берега. Леандр просил Геро, чтобы в последующую ночь она развела бы на вершине башни костер из сухих кустарников и из деревянных обломков, которых много валяется на берегу. Покорная любви и ее волнениям, опять пришла прелестная Геро к циклопической башне и опять застала там пастуха. Дул сильный восточный ветер. Началась буря. Белые шипящие валы набегали на берег и, яростно бухая об него, растекались широко по земле. Шел резкий, злой дождь.

– Пастух, пастух! – взмолилась беспомощная Геро. – Ты, правда, ужасная уродина, но ведь ты добрый и, надеюсь, не откажешь помочь мне зажечь костер на верху башни.

– Сигнал для милого? Не так ли? – смеясь, спросил пастух. – Отчего же? Во всех делах любви я везде и всегда самый усердный помощник.

Геро невольно удивлялась, с какой быстротой и ловкостью работал старый пастух, за ним не угнались бы четверо молодых. По внутренним каменным ступеням он живо натаскал множество деревянных остатков от судов и лодок. Девушка подавала ему снизу вереск и сучья иссохших прибрежных кустарников.

– Не смей щипать меня! – визжала она порою.

– Прости, я нечаянно, – говорил пастух смиренно. Когда же они развели большой и яркий огонь на вершине башни и спустились вниз, то сказал козий начальник:

– Вот что, моя девочка, дождь и буря усиливаются с каждой минутой. Сидя здесь, ты так размокнешь, что твой милый найдет вместо тебя мокрую кашу. Пойдем-ка, я знаю здесь поблизости одну пещеру, сухую и просторную, там и укроемся до нужного часа. А огонь я буду время от времени поддерживать.

– Только ты будешь вести себя смирно, о старый сатир?

– Даю слово.

Пещера была в самом деле удобна, велика и чиста, пол ее был заботливо устлан сухими листьями и вереском. Геро с удовольствием села на громадную милоть из густой козьей шерсти. Пастух тоже присел на краешек покрывала.

– Вот теперь, – сказал он, – я буду рассказывать тебе, милая девочка, разные сказки. Чтобы нам обоим было не так скучно.

Ах, как он рассказывал! На что уж очень хорошо играл он на свирели, но сказки его были стократно лучше. Говорилось в них о дальних морских путях в необыкновенно волшебные страны, и о героических приключениях, и о жизни самих богов на Олимпе, и все эти сказки были как бы пронизаны, пропитаны веселой, легкой, проказливой любовью, где на бесцеремонный и страстный натиск игриво отвечала едва замаскированная податливость и откровенная жажда наслаждения. Однажды пастух встал на ноги и выглянул из пещеры.

– Костер горит слабо, – сказал он, – я пойду подкинуть топлива.

– Иди, – сказала девушка вяло. – Только поскорее возвращайся, мне страшно одной.

Пастух управился с огнем и вернулся назад.

– Садись, – приказала Геро, – да поближе. Издали плохо слышно. Ну, рассказывай.

И опять пастух стал изысканно плести сказку за сказкой, и были некоторые из них таковы, что Геро во тьме краснела не только лицом, но даже грудью, спиной и животом. Однако слушала она с величайшей радостью и часто говорила: «Еще, ну, еще одну!» И сама не сознавала того, что ее тонкие пальчики все время ласково перебирали жесткую курчавую бороду рассказчика. Через некоторое время пастух, остановившись на половине сказки, сказал:

– Огонь опять уменьшается. Я пойду подброшу дров.

– Не надо! – капризно воскликнула Геро. – Не надо! Я отсюда вижу, что костер пылает. Иди скорее ко мне досказывать сказку, а чтобы было теплее, ложись со мной рядом.

Но в эту минуту послышался слабый дальний призыв:

– Геро!

То был голос Леандра. Пастух проводил Геро до того места, куда прибой выбросил юношу, а сам скрылся в темноте. Но перед тем как исчезнуть во мраке, он шепнул девушке:

– Завтра я опять приду, а днем меня можешь найти у ворот Ахилла, в доме, над которым торчит большая козлиная голова.

Геро с трудом дотащила Леандра до пещеры. Он смертельно устал и был жестоко разбит волнами о прибрежные камни. Падая на ложе, он успел только прошептать ее имя и растянулся без чувств. Геро посидела около него с час, но, убедившись, что его обморок перешел в глубокий здоровый сон, она тихо встала, поцеловала Леандра холодно в лоб и ушла.

Утром обитатели храма хватились: где Геро? Но ее так никогда и не отыскивали – она исчезла бесследно. Что же касается Леандра, то когда он проснулся и узнал, что заснул во время любовного свидания, лежа в одной постели с возлюбленной, то пришел в жесточайшее отчаяние. Большого позора, чем тот, который пал на него, – не существовало в Древней Эллад. Поэтому Леандр тоже предпочел уйти навсегда из родных мест. Его тоже, как ни искали, нигде не могли найти. Один из жителей Абидоса, пробывший несколько дней в Афинах, рассказывал, что видел в столичном театре знаменитого актера, точь-в-точь похожего на Леандра. Но он был известный лжец, и ему никто не поверил. Народ же сочинил прекрасную легенду.

Ольга Сур

Эту цирковую историю рассказал мне давным-давно, еще до революции и войны, мой добрый приятель, славный клоун Танти Джеретти. Я передаю ее, как могу и умею; конечно, мне теперь уже не воскресить ни забавной прелести русско-итальянской речи моего покойного друга, ни специальных цирковых технических словечек, ни этого спокойного, неторопливого тона...

Вы, конечно, знали, синьор Алессандро, цирк папаши Сура? Это был очень известный в России цирк: Сначала он долго ездил из города в город, разбивая свое полотняное «шапито» на базарных площадях, но потом прочно укрепился в Киеве, на Васильковской улице, в постоянном деревянном здании. Тогда еще Крутиков не строил большого каменного цирка, а имел собственный частный манеж, где и показывал знакомым своих прекрасно выезженных лошадей, всех на подбор масти «изабелла», цвета светлого кофе с молоком, а хвосты и гривы серебряные.

Старик Сур знал свое дело отлично, и рука у него была счастливая: оттого-то и цирк у него всегда бывал полон, и артистов он умел ангажировать первоклассных. Достаточно вспомнить Марию Годфруа, Джемса Кука, Антонио Фосса, обоих Дуровых и прочих. Да и все семейство Сур было очень талантливо. Ольга – грациозная наездница, Марта – высшая школа езды, младший сын Рудольф прекрасно работал «малабриста», то есть жонглировал, стоя на галопирующей лошади, всевозможными предметами, вплоть до горящих ламп. Старший сын Альберт занимался исключительно дрессировкой лошадей. Раньше он неподражаемо работал «жокея»: иные знатоки ставили его рядом с самим Куком. Но случилось несчастье, неловкий каскад с лошади за барьер, и Альберт сломал ногу. Конечно, это беда небольшая: нужно было бы только, чтобы его лечили свои, цирковые, по старым нашим тысячелетним способам. Но мамаша Сур оказалась женщина с предрассудками: она обратилась к какому-то известному городскому врачу, ну и понятно: нога срослась неправильно, Альберт остался на всю жизнь хромым. Но, подумайте, пожалуйста, синьор Алессандро: если великий живописец ослеп, если великий компонист оглох, если великий певец потерял голос, – разве они для самих себя, внутри, не остались великими артистами? Так и Альберт Сур. Пусть он хромал, но он был настоящей душой цирка. Когда на репетициях или на представлении он, прихрамывая, ходил с шамбарьером в центре манежа, то и артисты и лошади чувствовали, как легко работать, если темп находится в твердой руке Альберта. Он одним быстрым взглядом замечал, что проволока натянута косо, что трапеция подвешена криво. И, кроме того, он так великолепно ставил большие пантомимы, как уже теперь никому не поставить. Впрочем, выходит теперь из моды прекрасное зрелище – пантомима.

У него был ангельский характер. Его все любили в цирке: лошади, артисты, конюхи, ламповщики и все цирковые животные. Он был всегда верным товарищем, добрым помощником, и как часто заступался он за маленьких людей перед папашей Суrom, который, надо сказать, был старик скуповатый и прижимистый. Все это я так подробно рассказываю потому, что дальше расскажу о том, как я однажды решил зарезать Альберта перочинным ножом...

Если Альберт считался сердцем цирка, то, по совести, его главной красой и очарованием была младшая сестра Ольга. Старшая – Марта – была, пожалуй, красивее – высокая, стройная, божественно сложенная и первоклассная артистка. Но от работы ее веяло холодом и математикой, а поклонников своих она держала на расстоянии девятнадцати шагов, на длину манежного диаметра: так она была суха, горда, величественна и неразговорчива. Ольга же вся, от волос, цвета лесного ореха, до носочка манежной туфельки, была сама прелесть. Впрочем, вы видели Ольгу, а кто ее видел, тот, наверное, никогда не позабудет ее нежного лица, ее ласкового взгляда, ее веселой невинной улыбки и милой грации всех ее движений. Мы же, цирковые, знали и о ее природной простодушной доброте.

Что же удивительного в том, что в Ольгу были влюблены мы все поголовно, в том числе и я, тогда тринадцатилетний мальчишка, работавший на пяти инструментах в семье музыкальных клоунов Джеретти.

Я хорошо помню это утро. В пустом цирке было полутемно. Свет падал только сверху из стеклянного кумпола. Ольга в простой камлотовой юбочке, в серых чулочках репетировала с Альбертом. Мы, шестеро Джеретти, сидели, дожидаясь своей очереди, в первом ряду паркета.

Ольге все не задавался один номер. Она должна была, стоя на панно, сделать подряд два пируэта, а затем прыжок в обруч. Всего четыре темпа короткого лошадиного галопа: пируэт, пируэт, выдержка, прыжок. Но вот бывают же такие несчастные дни, когда самая пустячная ра-

бота не ладится и не ладится. Ольге никак не удавалось найти темп для прыжка, все она собиралась сделать его то немножко раньше, то немножко позже, а ведь скок лошади – это непреложный закон. И вот только она соберет свое тело для прыжка и даже согнет ноги в коленях, как чувствует, что не то, не выходит, и делает рукою знак шталмейстеру: отведи обруч!

И так несколько кругов. Альберт не волнуется и не сердится. Он знает, что оставить номер недоделанным никак нельзя. Это тоже закон цирка: в следующий раз будет вдвое труднее сделать. Альберт только звончее щелкает шамбарьерным бичом и настойчивее посылает Ольгу отрывистым: «Allez!» – и еще и еще круг за кругом делает лошадь, а Ольга все больше теряет уверенность и спокойствие... Мне становится ее жалко до слез. Альберт кажется мне мучителем.

И вот один быстрый момент. Я слышу повелительное, толкающее, точно удар, allez! – и одновременно вижу, как тонкий конец шамбарьера обвился вокруг стройной Ольгиной икры и дернулся назад. Ольга громко и коротко закричала. Вот так: а! – и в ту же секунду легко прыгнула в обруч и опять стала на панно. Вот в этот-то момент я вытащил из кармана мой, только что купленный, ценою бог знает каких свирепых сбережений, перочинный ножик. Но напрасно я старался открыть лезвие, обломав ноготь большого пальца в узкой выемке. Пружина была нова, еще не расходилась и упорно не хотела поддаваться моим усилиям. И, конечно, только эта заминка спасла жизнь милому, доброму Альберту Суру. Пока я возился с ножиком, за это время моя тринадцатилетняя итальянская кровь перестала бурлить и kloкотать. Ко мне вернулось сознание. Ведь надо сказать, что вкус, цвет и запах таких тонких блюд, как шамбарьер или рейтпейч, мне уже были знакомы с самых ранних детских дней. Но напрасно в публике и в цирковых романах ходит ошибочное мнение, что у нас будто бы учителя истязают учеников. Ведь для мальчишек нет более соблазнительного занятия, чем прыгать, скакать, кувыряться, бороться и вообще побеждать закон притяжения. Однако в цирковых номерах бывает порою и жутковато и страшновато. Надо сделать то-то или то-то. Момент нерешимости, колебания... и вдруг тебя оггло по задушке... Боль моментально заглушает трусость. Остается только приказание и желание ему повиноваться. Номер сделан так легко, точно ты раскусил орех. А учитель гладит всей пятерней твое мокрое лицо и говорит сразу на трех языках:

– Bravo, schön, bambino!²⁰

Всю эту науку я, конечно, знал в совершенстве, но поставьте и себя на мое место: обожаемую, недостижимую богиню – вдруг хлыстом по ноге? Чье юное сердце это вытерпит? Лучше уж хлестни лишний раз меня!

А Ольга между тем делала круг за кругом, пируэт за пируэтом, прыжок за прыжком, все свободнее, легче и веселее, и теперь ее быстрые, точно птичьи, крики: «А!» – звучали радостно. Я был в восторге. Я не утерпел и стал аплодировать. Но Альберт, чуть-чуть скосив на меня глаза, показал мне издали хлыст. На репетициях полагается присутствующим молчание. Хлопать в ладоши – обязанность публики.

Потом Альберт скомандовал:

– Баста!

Большая, белая, в гречке, лошадь первая схватила приказание и перешла в ленивый казенный шаг. Ольга вся в поту села боком на панно, свесив свои волшебные ножки.

Альберт, быстро ковыляя, подошел к ней, взял ее обеими руками за талию и легко, как пушинку, поставил ее на тырсу манежа. А она, смеясь и радуясь, взяла его руку и поцеловала. Это – благодарность ученицы учителю.

Я уже рассказывал, синьор Алессандро, о том, какая замечательная артистка Ольга Сур. Но у меня не хватило бы сил описать, как она была мила, добра и прекрасна. Теперь-то я понимаю, что в нее были влюблены все: и весь состав цирка, и все его посетители, и весь город Киев, – словом, все, все, не исключая и меня, тринадцатилетнего поросенка.

Однако влюбленность такого мальчишки ничего в себе дурного не таит. Так любит брат старшую сестру, сын молодую и красивую мать, ученик самого мелкого класса ученика выпускного класса, который безбоязненно курит и щиплет на верхней губе вырастающий пух первого уса.

Но как же я мог догадаться, что в Ольгу влюблен – и влюблен навеки – м-сье Пьер, неза-

²⁰ Браво, прекрасно, мальчик! (фр., нем., ит.)

метный артист из униформы. В цирковом порядке он был почти ничто. Им, например, затыкали конец вечера: оркестр играет галоп в бешеном темпе, а артист вольтижирует. Но вы понимаете сами: последний номер, публика уже встает, надевает шубы и шляпы, торопится выйти до толкотни... Где же ей глядеть на заключительный вольтиж? Мы-то, цирковые, понимали, как отчетлива и смела была работа Пьера, но, извините, публика никогда и ничего не понимает в нашем искусстве.

Также иногда в понедельник, в среду или в пятницу, в так называемые «пустые» дни, выпускали Пьера работать на туго натянутом корабельном канате; старый номер, никого не удивляющий даже в Италии, в этой родине цирка, где цирковую работу любят и понимают. Но мы, цирковые, стоя за униформой, этого номера никогда не пропускали. Десять сальто-мортале на канате с балансиром в руках – это не шутка. Этого, пожалуй, кроме Пьера, никто бы не мог сделать в мире.

Устраивался иногда в цирке, чаще всего в рождественские и масленичные дни, так, для потехи градена, общий конкурс прыганья. Принимали в нем участие почти все артисты: униформы, клоуны и шталмейстеры – все, кто умел крутить в воздухе сальто-мортале. Укреплялась на высоте второго яруса, около входа, гибкая длинная доска в виде трамплина, а на середине манежа постилась большой матрас. Вот мы и прыгали все по очереди, а с каждым туром матрас отодвигался все дальше от трамплина, и с каждым разом выходили из игры один за другим соперники, у которых не хватало мужества или просто мускулов. Так представьте себе: Пьер всегда побеждал и оставался один для последнего прыжка, который он делал чуть не во всю длину манежного диаметра!

Теперь вы видите, что был он артистом первоклассным, а для цирка очень ценным и полезным. Однако судьба осудила его на полную безвестность. Ведь слава часто приходит не от труда, а от счастливого случая. Прибавлю еще, что Пьер был очень добр, скромен, услужлив и всегда весел. Его в цирке любили, но как-то всегда затирали на третье место.

Повторяю, был я тогда совсем желторотый птенец. Мне и в голову не могло прийти, что этот бесцветный старый Пьер (ему тогда было лет тридцать, но, по моему клопиному масштабу, он казался мне чрезвычайно пожилым), что наш незаметный Пьер смеет любить, да еще кого, саму Ольгу Сур, первую артистку цирка, мировую знаменитость, дочь грозного и всесильного директора, страшнее и богаче которого не было никого на свете. Я только с удивлением заметил его восторженные взгляды, когда он устремлял их на Ольгу во время репетиций и спектаклей.

Но наши, цирковые, давно уже поняли Пьерову болезнь. Случалось, что они добродушно подтрунивали над Пьером. Острили, что после вечера, на котором Пьеру-удавалось держать обруч для Ольги, или помочь ей вскочить на панно, или подать ей руку, когда она, убегая по окончании номера с манежа, перепрыгивала через воображаемый барьер, Пьер шел на другой день в костел и там, полный благодарности, распластывался крестом перед статуей мадонны.

Тогда мне Пьер был и смешон и жалок. Теперь-то, в моем очень зрелом возрасте, я понимаю, что Пьер был бесконечно смелым человеком. Однажды утром, во время репетиции, он наскоро перекрестился да взял и пошел к самому Суру в его директорский кабинет: «Господин директор, я имею честь просить у вас руку и сердце вашей младшей дочери, мадемуазель Ольги».

Старый Сур от великого изумления выронил одновременно и перо, которым только что подводил счета, и длинную вонючую австрийскую сигару, которую только что держал во рту. Он позвал свою старую жену и сказал:

– Послушай, Марихен, нет, ты послушай только, что говорит этот молодой человек, м-сье Пьер... Повторите-ка, молодой человек, повторите.

Старый Сур говорил ничтожному Пьеру на «вы»! Это был зловещий признак. Никому во всей вселенной он не говорил «вы», за исключением местного пристава. Душа у Пьера дрогнула, но все-таки, прижав руку к середине груди, он сказал негромко:

– Мадам Сур, я сейчас имел честь и счастье просить у господина директора руку и сердце вашей прекрасной...

Мамаша Сур мгновенно вскипела:

– Как он осмелился, этот нищий конюх? Выброси сию же минуту этого негодяя из труппы и из цирка, чтобы им и не пахло больше!

Но старый Сур одним коротким поднятием ладони заставил ее успокоиться:

– Штиль!

Мадам Сур сразу поняла, что директор намерен немного позабавиться, и замолчала.

Старый Сур, не торопясь, достал с пола свою черную сигару и старательно вновь раскурил ее. Утопая в клубах крепкого дыма, начал он пробирать Пьера едкими, злыми словами. Так сытый и опытный кот подолгу играет с мышью, полумертвой от ужаса.

Как это Пьер мог додуматься до идеи жениться на дочери директора одного из первоклассных цирков? Или он не понимает, что расстояние от него до семьи Суров будет побольше, чем от земли до неба? Или, может быть, Пьер замаскированный барон, граф или принц, у которого есть свои замки? Или он переодетый Гагенбек? Или у него в Америке есть свой собственный цирк, вместимостью в двадцать тысяч человек, но только мы все об этом раньше не знали?

А впрочем, не свихнулись ли у Пьера набок мозги при неудачном падении и не надлежит ли ему обратиться к психиатру? Только сумасшедший человек или круглый идиот может забыть до такой степени свое ничтожное место. Кто он? безымянный служитель из униформы, которого обязанность подметать манеж и убирать за лошадьми их кротт. Действительно, вот приходит молодой человек, у которого в одном кармане дыра, а в другом фальшивый гривенник, и это вся стоимость молодого человека. Он приходит и говорит: господин Сур, я желаю жениться на вашей дочери, потому что я ее люблю, и потому что вы дадите за нею хорошенькое приданое, и потому что я благодаря жене займу в цирке выдающееся положение. Нечего сказать – блестящая афера. Не хватало бы еще того, чтобы старый Сур передал этому бланбеку главное управление цирком!

Так, очень долго, пиявил, язвил и терзал бедного Пьера раздраженный Сур. Наконец он сказал:

– Ну, я понимаю, если бы у тебя было громкое цирковое имя или если бы ты изобрел один из тех замечательных номеров, которые артисту дают сразу и славу и деньги. Но у тебя для этого слишком глупая голова. Поэтому – вон!

И это «вон!» старый Сур выкрикнул таким повелительным громовым голосом, что рядом, в конюшне, лошади, услышав знакомый директорский окрик, испуганно заметались в стойлах и затоптали ногами.

Бедный Пьер с похолодевшим сердцем выскочил из директорского кабинета. Но тут в темноте циркового коридора нежная женская рука легла ласково на его руку.

– Я все слышала, – сказала ему на ухо Ольга. – Не отчаивайтесь, Пьер. Говорят, что любовь делает чудеса. Вот, назло папе, возьмите и выдумайте совсем новый номер, самый блестящий номер, и тогда с вами будут говорить иначе. Прощайте, Пьер.

После этого происшествия Пьер внезапно пропал из цирка. Никому из товарищей он не писал. Начали его понемногу забывать. Все реже и реже вспоминали его имя, но, надо сказать, каждый раз с теплотой.

А через год, в разгаре зимнего сезона, он опять приехал в Киев и предложил старому Суру ангажировать его на новый номер, который назывался довольно странно: «Легче воздуха». Только теперь он не звался бледным именем Пьера; его имя стало Никаноро Нанни, и оно красовалось на всех заграничных афишах большими буквами и мелкой печатью в альбомах с иностранными газетными вырезками. Отзывы были так восторженны, что хитрый Сур не устоял: подписал контракт с Никаноро Нанни. Да как же было устоять, когда и в Италии, и в Испании, и в Вене, и в Берлине, и в Париже, и в Лондоне известнейшие знатоки циркового дела писали, что такие цирковые номера появляются лишь раз в столетие и говорят об усердной, долгой, почти невозможной тренировке.

Мы видели результаты этой дьявольской работы на пробной репетиции. Необычайное зрелище! Сам старый Сур не удержался и сказал:

– Это чудо! Если бы не видел своими глазами – я никому бы не поверил.

А номер был, на неопытный взгляд, как будто простой. На высоте двух хороших человеческих ростов строилась неширокая площадка для разбега; она оканчивалась на середине манежа американским ясеневым трамплином, а на другой стороне манежа укреплялся обыкновенный бархатный тамбур такой величины, что можно было только поставить ноги, окончив прыжок. И что же делает Никаноро Нанни? Он берет в каждую из рук по двадцатипятифунтовой гире, затем он делает короткий, но быстрый разбег, отталкивается со страшной силой от трамплина и летит прямо на тамбур...

Но во время этого полета, в какой-то необходимый, но неуловимый момент, он бросает обе гири, и тут-то, преодолев закон тяжести, ставши внезапно легче на пятьдесят фунтов, он неожиданно взвивается вверх и потом уж кончает полет, упав на тамбур. И этот-то невообразимый полет, клянусь вам, синьор Алессандро, производил каждый раз на нас, всего навидавшихся в цирке, ощущение какой-то внезапной светлой радости. Такое же чувство я испытал гораздо позже, когда увидел впервые, как полз, полз по земле аэроплан и вдруг отделился от нее и пошел вверх.

Да, мы много ждали от этого номера, но мы просчитались, забыв о публике. На первом представлении публика, хоть и не поняла ничего, но немного аплодировала, а уж на пятом – старый Сур прервал ангажемент согласно условиям контракта. Спустя много времени мы узнали, что и за границей бывало то же самое. Знатоки вопили от восторга.

Публика оставалась холодна и скучна.

Так же, как и Пьер год назад, так же теперь Никаноро Нанни исчез бесследно и беззвучно из Киева, и больше о нем не было вестей.

А Ольга Сур вышла замуж за грека Лапиади, который был вовсе не королем железа, и не атлетом, и не борцом, а просто греческим арапом, наводившим марафет.

Четверо нищих

Легенда

Во всех кабачках и ресторанах Парижа можно спросить на десерт лесные орехи, миндаль, изюм и вяленые фиги. Надо только сказать гарсону: дайте мне «нищих», и вам подадут аккуратную бумажную коробочку, в которую заключены все эти четыре сорта заедок, столь любимых когда-то и у нас, в бывшей богатой торговой тысячеглавой Москве.

Париж, в своей беготне и суетливости, нетерпеливо сокращает слова и фразы: метрополи-тен – метро, бульвар С.-Мишель – Буль-Миш, бифштекс а-ля Шатобриан – шато, кальвадос – кальва. Так и вместо старинного «*dessert des quatre mendians*»²¹ он бросает кратко «*mendians!*». Однако лет девять назад я еще заставлял на коробочках, содержащих это простое и вкусное лакомство, полную надпись. Теперь ее больше не увидишь.

Я уже и сам не знаю, услышал ли я где-нибудь, или видел во сне, или нечаянно сам придумал милую легенду о происхождении этого странного названия. Любимейший из французских королей и героев (кроме мифических) еще не был тогда Генрихом Четвертым, могущественным королем Франции, а всего лишь Анри Бурбоном, маленьким властелином маленькой Наварры. Правда, при его рождении знаменитый астролог Нострадамус предсказал ему по звездам великую будущность: славу, сияющую во всех веках, и неиссякаемую народную любовь. Но во времена, о которых идет речь, молодой гасконский король – этот веселый и добрый скептик – еще и не думал о своей блестящей звезде или, может быть, по свойственной ему осторожной скрытности, делал вид, что не думает. Он беззаботно бегал не только за прекрасными дамами своего крошечного двора, но и за всеми хорошенькими женщинами Оша, Тарба, Мираны, По и Ажена, не оставляя своим любезным вниманием также и жен фермеров и дочерей трактирщиков. Ценил он острое слово, сказанное вовремя, и не напрасно его иные шутки и афоризмы стали сокровищами народной памяти. И любил он еще хорошее красное вино за веселой дружеской беседой.

Был он беден, прост с народом, справедлив в своих приговорах и весьма доступен, поэтому искренно преданы ему были и гасконцы, и наваррцы, и беарнцы, находя в нем милые черты доброго, легендарного короля Дагобера.

Большой его страстью и любимым развлечением была охота. В то время множество зверя водилось в Нижних и Верхних Пиренеях: волки и медведи, рыси, кабаны, олени, горные козлы и зайцы. Знатком был небогатый король Анри и в соколиной охоте.

Однажды, охотясь в окрестностях По, в густом сосновом лесу, простиравшемся на много десятков лье, король Генрих напал на след прекрасной горной козы и, преследуя ее, отделился

²¹ «Лакомство четырех нищих» (фр.).

понемногу от своей охотничьей свиты на очень большое расстояние. Раздраженные запахом зверя, его собаки так увлеклись погоней, что вскоре не стало слышно даже их лая. Между тем незаметно сгущался вечер, и пала ночь. Тут король понял, что он заблудился. Издали доносившиеся призывные звуки охотничьих рогов, но – странно – чем дальше он шел на них, тем слабее звучали рога. С досадою вспомнил Генрих о том, как сбивчивы и капризны все громкие звуки в горных лесах и какой предательский насмешник – горное эхо. Но было уже поздно. Предстояло переночевать в лесу. Однако король, как истый гасконец, был решителен и настойчив. Усталость одолевала его, голод терзал его внутренности, мучила жажда; к тому же неловко подвернувшаяся нога испытывала острую боль в ступне при каждом шаге; король все-таки, прихрамывая и спотыкаясь, с трудом пробирался сквозь чащу, в надежде найти дорогу или лесную избушку.

Вдруг его ноздрей коснулся слабый-слабый запах дыма (король вообще отличался изумительным обонянием). Потом мелькнул сквозь чащу малый огонечек. Король Анри пошел прямо на него и вскоре увидел, что на горной полянке разложен небольшой костер и вокруг него сидят четыре черные фигуры. Сиплый голос окликнул:

– Кто идет?

– Добрый человек и хороший христианин, – ответил Анри. – Я заблудился и вывихнул правую ступню. Позвольте посидеть у вас до утра.

– Иди и садись.

Король так и сделал. Странная компания заседала среди леса у огня: одетые в лохмотья, грязные и мрачные люди. Один был безрукий, другой безногий, третий слепой, четвертый кривлялся, одержимый пляскою святого Витта.

– Кто вы такие? – спросил король.

Но слепец с сиплым голосом возразил ему:

– Сначала гость представляется хозяевам, а потом уже спрашивает.

– Верно, – согласился Генрих, – Ты прав. Я ловчий из королевской охоты, что, впрочем, можно заметить по моему костюму. Я случайно отбился от товарищей и, как видите, потерял дорогу...

– Я-то, положим, ничего не вижу, но все равно, будь нашим гостем. Мы рады тебе. Мы все из бродячего цеха свободных нищих, хотя очень жаль, что твой добрый господин, король Анри, – да будет благословенно его славное имя, – издал такой жестокий указ о преследовании нашего сословия. Чем можем мы служить тебе?

– О, кишки святого Григория! – вскричал король. – Я голоден, как собака, и жажду, как верблюд в пустыне. Кроме того, может быть, кто-нибудь перевяжет мне ногу. Вот вам маленький золотой, все, что у меня есть с собой.

– Прекрасно, – сказал слепец, который, по-видимому, был предводителем компании. – Мы предложим тебе на ужин хлеба и козьего сыра. У нас также имеется самое отличное вино, какого нет, пожалуй, и в королевском погребе, да притом в безграничном количестве. Эй ты, плясун! Сбегай-ка скорее к роднику и нацеди фляжку воды. А ты, охотник, протяни мне больную ногу, я стащу с тебя сапог и забинтую тебе подъем и лодыжку. Это не вывих: ты просто растянул жилу.

– Вскоре король вдоволь напился холодной родниковой воды, которая ему, великолепному знатоку в напитках, показалась вкуснее самого драгоценного вина. С необыкновенным аппетитом съел он простой ужин, а туго и ловко перевязанная нога сразу почувствовала облегчение. Он сердечно поблагодарил нищих.

– Подожди, – сказал слепой. – Неужели ты думаешь, что мы, гасконцы, обходимся без десерта. Ну-ка, ты, однорукий!

– Мне лавочница подала мешочек с изюмом.

– Ты, одноногий!

– А я, покамест он заговаривал зубы лавочнице, стянул пригоршни четыре фиг.

– Ты, плясун!

– Я набрал по дороге полную запазуху лесных орехов.

– Ну, а я, – сказал слепой староста, – я присоединяю узелок с миндалем. Это, друзья мои, из моего собственного маленького садика, с моего единственного миндального дерева.

Покончив с ужином, король и четверо нищих легли спать и сладко проспали до ранней зари. Утром нищие указали королю дорогу до ближайшей деревни, где Анри мог найти лошадь

или осла, чтобы кратчайшим путем добраться до По. Прощаясь с ними и благодаря их от души, Генрих сказал:

– Когда придете в По, не забудьте зайти во дворец. Короля вам незачем будет разыскивать, вы спросите только ловчего Анри, ловчего с остренькой бородкой, и вас проведут ко мне. Живу я небогато, но бутылка вина и кусок сыра, а иногда, может быть, и курятины у меня всегда найдется для друзей.

Король благополучно добрался до города По, встретив по дороге свиту, которая в тревоге его разыскивала. О своем ночном приключении он никому не рассказал. Сколько прошло дней, недель или месяцев с того времени – легенда не говорит. Но однажды остановились у ворот скромного королевского дворца в городе По четыре нищих и стали просить, чтобы их проводили к сьеру Анри, ловчему королевской охоты, к тому самому Анри, у которого остренькая барбишка²². Начались пререкания и ссора. Нищие настаивали на своем, привратник кричал на них и все пробовал их вытолкнуть. На шум сбежались дворцовые люди, наконец и сам король выглянул в окно.

– Не трогайте этих людей, – крикнул он, – и ведите их скорее ко мне. Это мои друзья.

– Кто этот монсиньор? – шепотом спросил слепец.

– Неужели не знаете? Король!

Король угостил своих лесных знакомцев сытным обедом и добрым вином. Он сам сидел с ними за столом. А под конец трапезы подан был десерт из четырех блюд: орехов, изюма, миндаля и вяленых фиг. Нищие ушли из дворца обласканные и щедро одаренные монархом (который, надо сказать, был обычно несколько скуповат). А десерт четырех нищих стал модным сначала в Наварре и Гаскони, а потом, когда Анри стал доблестным Генрихом IV, славным королем Франции, он сделался неизбежным в каждом порядочном доме и даже во всех трактирах. Очень может быть, что именно в память своих четырех друзей король Генрих отменил указ о преследовании нищих, но – человек великого практического ума – он все-таки обложил их известным налогом в пользу государства.

Домик

Петербург. По главной аллее Летнего сада идут три человека. Один из них – актер, Илья Уралов, новый любимец взыскательной петербургской публики. Все у него преувеличенно большое: и могучее рослое тело, и рыжее крупное лицо с солидной бородавкой, и голос, и имя, и английское широченное пальто балахоном, и мягкая ковбойская шляпа, и даже карманные часы величиною с кухонный будильник. Рядом с ним, едва достигая головой его плеч, мелкими, торопливыми шажками семенит милейший, добродушнейший Яшенька Эпштейн. Весь артистический мир Петербурга знает и любит «нашего Яшу». Писатели, актеры, певцы, художники, музыканты – все они постоянные гости, а порою и временные жильцы в широко открытом Яшином доме.

Празднует Яша одинаково усердно и православные и еврейские праздники. Впрочем, иногда он не празднует ни тех, ни других. Это бывает в несчастливые дни, в *невезеньевы* полосы, когда в купеческом клубе понтеры быют у него банк за банком, ибо главная специальность Яши – «макао», а то, что он талантливый инженер-химик – это маленькая побочная профессия...

В доме у него всегда просто, светло, весело и как-то радостно. Здесь поют, импровизируют, декламируют. Здесь рождаются бесшабашные анекдоты, ставятся экспромтом одноактные оперетки и пародии на новые театральные пьесы, рассказываются старинные театральные предания и с любовью воскрешаются забытые старые песни и наивные романсы... Здесь каждый гость хозяин, ему все позволено. Одного только не терпит Яша: это когда кто-нибудь дурно говорит об отсутствующем товарище по профессии. Но милый лик Яши заставил меня немного уклониться. Сзади Ильи Уралова лениво идет третий компаньон, очень смирный человек, – это ваш покорнейший слуга, пишущий настоящие строки. Вчера была еврейская пасха, и Яша пригласил нас по этому случаю в еврейскую кухмистерскую, что на углу Невского и Фонтанки, и там угощал нас замечательным обедом, состоявшим из фаршированной щуки (рыба фиш) и курицы

²² Бородка (от фр. *barbiche*).

по-еврейски, — обедом, орошенным семидесятиградусной пейзаховой водкой и сладким палестинским вином.

Но не в этих кулинарных прелестях заключался главный смысл обеда, а в том, что Яша познакомил нас с великим еврейским писателем и бесподобным юмористом Шолом-Алейхемом. Этот морщинистый маленький старик с острым и добродушно-лукавым взглядом сквозь роговые очки охотно прочитал нам несколько своих коротеньких рассказов. Он читал на жаргоне, но, обладая самым ничтожным запасом немецкого языка, его легко было понимать, так выразительно выговаривал он каждое слово и так ясны и богаты были его интонации.

А кроме того, все, что читал Шолом-Алейхем, тотчас же невольно, как живая иллюстрация, отражалось на подвижном лице Уралова, который родился и прожил всю молодость в черте и отлично знал жаргон. Ах, это было двойное наслаждение — слушать одного и смотреть на другого. У Яши все лицо сияло от удовольствия... А на другой день, то есть сегодня, все мы трое званы были к пасхальному русскому столу у пламенного Павлуши Самойлова и оттуда ушли лишь после того, как раздели хозяина и бережно уложили его на диван. Тогда и мы сами почувствовали потребность в прогулке по свежему воздуху.

Столетние липы Летнего сада еще были голы, но на их тонких ветках уже краснели пупырышки тугих почек. Весенний воздух дрожал и щекотал лицо. Мраморные богини, нимфы и музы только что освободились от своих зимних дощатых покрывал, и мне казалось, что их белым нагим телам хочется потянуться в сладкой весенней истоме. По дорожкам ходили женщины, такие прекрасные, какие бывают только в Петербурге весной... Яша вдруг воскликнул:

— Укротись, Илья, сделай милость. Ты бежишь, как слон, и я устал тебя догонять. Мы остановились.

— Вот что я вам хотел, господа, сказать, — продолжал Яша. — В сущности же это — свинство. Ну да, кто же из нас не назначал свиданий на скамейках Летнего сада. И все мы отлично знаем, что в Летний сад водил гулять юного Женю Онегина его гувернер — *monsieur l'abbé* и что Пушкин называл Летний сад своим огородом. Но признайтесь, друзья мои, были ли вы когда-нибудь в доме Петра Великого?

Мы переглянулись и все трое сознались конфузливо, что нет, не были.

— Так пойдемте.

Посетителей, кроме нас, не было. В сенях нас встретил древний старик в старинном мундире. Ростом он был с Уралова, несмотря на то что время слегка согнуло его спину. Лицо его было обрито, а толстые и крутые, как у моржа, бело-зеленые усы покрывали всю его верхнюю челюсть. Вид у него был суровый, даже строгий. Он повесил наши пальто на колышки и сунул каждому из нас по номерочку. Говоря с нами, он поминутно делал паузы и, должно быть от астмы, громко отпыхивался так: паф-паф-паф.

— Пожалуйте за мною, — сказал он и пошел по лестнице.

Яша ликовал. Потирая быстро и крепко свои маленькие ручки, он сказал восторженно:

— Так вот это, значит, и есть домик Петра Великого? (Справедливость требует сказать, что Яша произнес не «домик», а нежно «доми́к», с мягким знаком на конце.)

Старик вдруг остановился и с негодованием обернулся на Яшу.

— Домик? — переспросил он с густым презрением. — Домик? Паф-паф-паф. Не домик, а дворец его императорского величества, государя Петра Алексеевича. Паф-паф.

И он, ехидно передразнивая Яшу, еще раз повторил бляющим голосом:

— До-о-о-о-оми́к. Паф!

Яша был уничтожен. Тщетно он бормотал извинения. Он-де отлично знает, что домик — это на Петербургской стороне, под стеклом, он только случайно сбился, ошибся, сбился. Старый солдат не удостоил его даже взглядом. И странно: в эту минуту мне вдруг показалось, что ветхий сторож служил солдатом еще при самом Великом Петре, разделяя с ним военные тяготы под Нарвой, Полтавой и Азовом, и показалось также, что в покоях вдруг запахло крепким табаком, ямайским ромом и острым потом огромного плотника.

Старик вел нас дальше, тяжело ступая по дубовым доскам, натертым, как паркет. Яша не удержался и во второй комнате.

— Что за прелестный ковер! — сказал он, указывая на стену. — Изумительно!

— Ковер? — снова огрызнулся старик. — Это ковер? Паф-паф. Это не ковер, а гобелен французской королевской мануфактуры. Подарок герцогини Беррийской во время посещения Парижа

государем Петром Алексеевичем... Паф-паф-паф. Дoooоомижь.

Тут Яшенька уже совсем замолк. В картинной галерее он попробовал было сказать на ухо Уралову: «Какой великолепный Рембрандт!», и слава богу, что не сказал громко, а то бы задал ему перцу старый воин. Картина оказалась кисти Тинторетто. Наконец сподвижник Петра привел нас в столовую.

– Обратите внимание, – торжественно заговорил он. – Стол из простого соснового дерева. Деревянные чашки и ложки... Паф-паф... А здесь, извольте поглядеть, малое окошечко прямо в кухню. Император любил, чтобы все подавалось самое горячее. Другие, паф-паф, не выдерживали, не терпели, обжигались...

– Да, – продолжал он с глубоким пафосом. – Было время, и были люди. Ведь государи-ня-то, Катерина Алексеевна, сама, собственными ручками, изволила императору обед стряпать... А нынешние!.. Разве они могут? Разве понимают? Паф-паф. Дoooоомижь.

Мы спускаемся в сени. Петровский солдат помогает одеться мне и Уралову. Мы даем ему по полтиннику. Яша дает дрожащей рукой синюю пятирублевку. Но старик не притрагивается к его пальто. Он равнодушно опускает бумажку в карман и произносит:

– Паф-паф. Дoooоомижь.

Дурной каламбур

Я написал в журналах несколько рассказов из цирковой жизни. Они были многими читателями приняты с милой теплотой. Эту отзывчивость я отнюдь не склонен приписывать достоинствам моих сочинений: писал я попросту о том, что видел и слышал. Причина читательского одобрения совсем другая. Всех нас в ранней юности цирк восхищал, волновал и радовал. Кто из нас избежал его чудесной, здоровой, кипящей магии? Кто из нас забыл этот яркий свет, этот приятный запах конюшни, духов, пудры и лайковых перчаток, этого шелка и атласа блестящих цирковых костюмов, шелканье бича, холеных, рослых, прекрасных лошадей, выпуклые мускулы артистов? Тогда ведь видали мы гораздо зорче и совсем другими глазами, чем теперь. И возвращались мы из цирка домой широкими и упругими шагами, круто выпятив грудь, напрягая все мускулы. Легкие бывали у нас расширены от беззаботного, громкого, доброго хохота, и как ловко мы перепрыгивали через лужи!

Много драгоценных и, по совести скажу, полезных минут давал нам цирк... И теперешние знаки внимания к моим рассказам – это всего лишь благодарность пожилых людей цирку их прежних лет, трогательное воспоминание детства. Недавно я получил из Болгарии от неизвестного мне человека небольшое, очень порадовавшее меня письмо. Оно является как бы продолжением, послесловием к моей «Ольге Сур».

Я его привожу почти целиком, с малыми поправками. Надеюсь, читатели не посетуют на меня. Это письмо – правда. Вот оно:

«М. г. и т. д., отбрасывая часть официальную. Читал и вспомнил себя семнадцатилетним гимназистом Киево-Печерской гимназии, одним из многих влюбленных в Ольгу Сур. Впрочем, это не совсем так. Влюблены мы были в других, в барышень, с которыми мы встречались на гимназических чайных балах или на катке в саду Меринга. А к Ольге Сур мы относились с какой-то особой лаской, теплотой и бережливостью. Иногда мы, что греха таить, возвращаясь с вечеринки, говорили довольно-таки развязно о знакомых дамах и барышнях, но никто никогда не позволял ни себе, ни другим выразиться об Ольге Сур фривольно. Нас было шестеро знатоков и любителей цирка, шесть приятелей, и в наш кружок входил окончивший с нами гимназический курс сын киевского генерал-губернатора графа П. Игнатьева, в будущем полковник генерального штаба, ныне живущий у вас, в Париже.

Так как семья графа Игнатьева почти никогда в цирке не бывала, то губернаторской ложей пользовалась наша компания.

Помню, раз мы поднесли Ольге Сур букет. Поднесли за кулисами. Милая девочка покраснела не меньше нас, но протянула лодочкой каждому из нас худенькую ручку. В это время мимо нас проходил кто-то из униформы и с большим аппетитом ел апельсин, даже не очистив его, а прямо с кожей. Ольга взглянула на него и вдруг сказала:

– Счастливцев! Он ест апельсин!

На другой день каждый из нас принес в цирк по десятку апельсинов. Тогда апельсины стоили по три копейки за штуку, – и после номера Ольги (джигитовка) все шестьдесят апельсинов полетели на арену к ногам очаровательной. В награду две милые ручки послали нам несколько воздушных поцелуев. Много ли надо тогда было семнадцатилетнему гимназисту? Несколько дней спустя, во время того же номера Ольги, когда с лошади снимали седло и уздечку для вольного галопа, один из клоунов, кто – не помню, обратился к публике со следующей репризой:

– А скажите, господин капельклейстер, если бы у Олечки, когда ее папаше уже за шестьдесят лет, да вдруг родился бы братец, – что надо было бы сказать про такой факт?

И так как публика молчала, то клоун объяснил:

– Надо было бы сказать: Сур-рогат.

Очень немногие из публики засмеялись. По-видимому, не все поняли игру слов, но мы заметили, что Ольга круто повернула лошадь к клоуну и слабо вскрикнула. Лошадь ее опять пошла свободным галопом. Нужно было брать барьеры. Держал один из барьеров несчастный клоун. Когда Ольга взяла предыдущий барьер, то вдруг сбросила наземь свою белую папаху, подняла над головой кавказскую нагайку с серебряной рукояткой и, поравнявшись с клоуном, уже на прыжке, со всего размаха ударила его по лицу. Сквозь его грим сразу стал виден сначала мгновенно белый, а потом багровый рубец.

Клоун выпустил барьер и, закрыв лицо обеими руками, мелкими шагами побежал с манежа. Но тут публика уже поняла смысл дерзкого каламбура и наградила Ольгу бешеными аплодисментами.

Не знаю, известен ли вам этот случай? Если нет, то он будет лишней черточкой в ваших воспоминаниях о цирке и о милой, маленькой Ольге, восхитительнице наших гимназических сердец.

Из нашей киевской шестерки нас в Болгарии оказалось двое: я и мой приятель – инженер. Он живет на границе Греции, я – в Софии. Встречаемся лишь раз в год. Вспоминаем милое далекое... Непременно вспомянем Ольгу Сур в черкеске и наши апельсины».

Соловей

На днях я рылся в бумажном мусоре, отыскивая какой-то неважный документ, и – вот – нашел эту фотографическую группу, которая лет уже девять как не попадалась мне на глаза, и я о пей забыл окончательно.

Почему-то теперь, глядя на нее, я вздохнул так глубоко, так нежно и так грустно.

Это было еще до великой войны, в первой половине мая. Я жил тогда в Северной Италии в маленьком курорте Сальцо-Маджиорэ. Теперь туда, по ценам, нет доступа людям даже очень богатым, а в то время в гостинице «Сперанца»²³ я платил восемь итальянских лир за милую светлую комнату и за все остальное, вплоть до вина, хотя вино пить было невозможно по причине его крепости, горечи и кислоты.

Диковинное было это местечко Сальцо-Маджиорэ. Ехать в него нужно было из Милана на Борго-Сан-Донино, часа три по железной дороге, а оттуда верст шесть на лошадях.

Как только на станции Борго-Сан-Домино вы садились в коляску и трогались, как уже ясно ощущали запах йода, который постепенно делался гуще и крепче. Это пахнут йодистые источники, которые здесь пропитали всю почву и носят славное наименование: Аква-Мадрэ, Вода-Мать. Потом к этому постоянному запаху так привыкаешь, что совсем не замечаешь его.

«Материнская вода» употреблялась разнообразно: ее пили, из нее делали теплые ванны; в большой зале, насыщенной ее парами, пациенты могли писать, читать, пить кофе или просто лежать на лонгшезах, проходя в то же время курс лечения.

Но особенно высокой репутацией пользовались в Сальцо-Маджиорэ йодистые ингаляции: вдыхание йодистой воды, обращенной пульверизаторами в воздушную пыль. Давно уже стало известным, что эти ингаляции творят истинные чудеса при горловых болезнях, при усталости горловых связок и при поражении дыхательных путей.

Оттого-то Сальцо-Маджиорэ и был тем лечебным местом, куда на летнее время стекались

²³ «Надежда» (от ит. speranza)

все хоть мало-мальски известные певцы и певицы. Знаменитости непременно посещали его ежегодно. И у всех этих тенор ди грациа, тенор ди форца, баритон ассолито, басса-профондо и басса-нобиле, у всех сопрано лирических, драматических и колоратурных и у всех бархатных контральто был один неписанный, даже неуговоренный завет: все они в течение курортного времени не издавали ни одного звука; они избегали даже говорить громко, ограничиваясь слабым томным полупшепотом.

В пансионе «Сперанца» нас жило трое русских. Один из них, с которым я приехал из Петербурга, был синьор Джакомо Чирени, он же клоун Жакомино, артист, который так завидно был любим петербургской детворой, что в игрушечных магазинах называли рождественских плюшевых обезьянок не иначе как Жакоминками. Это дети так научили взрослых: «Мама, купи мне Жакоминку...» И это ли не подлинная, чистопробная слава?

Другого русского мы уже застали в нашем пансионе. Он приехал за несколько дней перед нами. Это был Джиованни Страпула, когда-то солист в итальянской капелле Граменья, тот самый знаменитый Джиованни, чьими неаполитанскими канцонеттами восхищался весь Санкт-Петербург, несмотря на то что эти резвые прелестные песенки бывали порою совершенно неприличными. Он точно не имел возраста. Как петербургские старожилы, так и петербургские юнцы видели его всегда одним и тем же плешивым а морщинистым стариком, низеньким, крепким и веселым. И голос его – необыкновенно высокий блестяще-белый тенор – никогда не знал ни порчи, ни следов утомления; друзья в шутку не раз его спрашивали: «Правда ли, Джиованни, что вы пели еще в ватиканской капелле папы Сикста Пятого?»

И он неизменно отвечал: «Ти все вриошь, бабушка (он величал бабушками одинаково: мужчин и женщин, старых и молодых). Ти вриошь. Я бил два раза жената».

И как же мне не называть этих двух милых итальянцев русскими, если они и до сих пор спрашивают меня в письмах или при встречах:

– Синьор Алессандро, когда же ми вернеть домой, на наша Россия?

Ах, было, было в душе нашей варварской, нашей отсталой, нашей некультурной, нашей старорежимной родины какое-то могучее очарование, которое пленяло и акклиматизировало души коренных иностранцев, чему доказательство – многие сотни известных имен и тысячи неизвестных.

Мы жили в нашей «Надежде» очень дешево, дружно, беззаботно, весело. Они играли азартно в «окопу», пели, бренчали на гитарах. Я учился итальянскому языку, переводя Стеккети и Кардуччи с помощью словаря. Итальянцы в ту пору были чрезвычайно общительны и легки на знакомство, и вскоре нашу столовую все чаще и чаще начали посещать друзья моих русских итальянцев, преимущественно из оперного мира. Промелькнул метеором, по дороге в Америку, необыкновенно толстый, по очаровательный Карузо, два или три раза пообедал с нами добрый, ласковый Джиральдони: вот уж к кому было бы удачно применено пушкинское словечко «из русских распрорусский». А потом как-то особенно прочно и надолго прижилась у нас прекрасная четверка: Ада Сари, Пинтуччио, Тито Руффо и кавалер Нанни – все первоклассные певцы с громкими именами, такие великолепные и недостижимые на сцене, в атласных и бархатных костюмах, с латами, коронами, перьями, брильянтами и жемчужными ожерельями; такие простые, наивные, добродушные, доверчивые ребята в обыкновенной, будничной жизни.

Меню наших обедов были несложны; все традиционные итальянские блюда: минестра, макарони, равиоли, иногда жесткий кусок мяса, жаренного на деревянном масле, с неизбежным салатом «финоки», лечебно пахнущим ипекекуаной. Мы, «русские», считали себя как бы хозяевами и потому старались по возможности разнообразить стол, покупая кое-когда фрукты, пирожное или бутылку кианти. В этих наших хозяйственных хлопотах ревностно и бескорыстно помогали нам два наших соседа по гостинице, торговавшие оптом: один марсалою, другой вермутом. Мы с Жакомино так и называли их: папа Вермут и папа Марсала. Джиованни, конечно, называл их бабушками. Марсала и вермут подавались всегда на стол в изобилии... Виноторговцы были страстными меломанами.

Никогда мне не забыть одного удивительного дня.

Мы пообедали в нашей обычной табльдотной компании. Обед окончился поздно. После десерта многие разошлись. Остались только семь человек: трое нас, русских, и четверо итальянских певцов. Настал задумчивый тихий час. Смуглел и зеленел воздух за открытым окном; темнели листья кустов. Мы не заметили, в какой момент вечерняя звезда серебряным светом засия-

ла, задрожала на зеленом небе. Точно она повисла на тончайшей невидимой нити... Сразу нежно и властно полился волшебный аромат каприфолий. Первые летучие светляки зачертили свои золотые быстрые полукруги. Мы молчали, боясь нарушить очарование вечера.

И вдруг в палисаднике, в кустах жасмина, в пяти шагах от пас, сначала осторожно, недоверчиво запел соловей. Конечно, он пел не так, как, например, поют наши курские соловьи, но, несомненно, чувствуя, что его внимательно слушают тонкие знатоки пения, он старался от всей своей маленькой души. Так он пел минут пять, потом закончил высоким, высоким чистым звуком и замолчал. Настала пауза. Среди тишины раздался голос Джиованни:

– Какой тон?

И сразу все четыре большие певчие птицы всполошились:

– До... до-диез... Си... до-диез... До...

Ада Сари побежала к пианино и часто застучала по одной клавише:

– Я же говорила вам, что чистое до!

Но – баритон и кавалер – Нанни авторитетно сказал:

– Инструмент не темперирован. Соловей взял четверть тона, Это ни до, ни до-диез, а среднее между ними.

Зажглось электричество, и мгновенно погасла сказка. Но, однако, вот что случилось.

Бывает так, что несчастный привычный пьяница, по зароку или по приказу врачей, бросит совсем пить вино и долго, мужественно держит свое слово. Но как-то за обедом неосторожно дали ему сладкий пирожок с сабайоном, в котором была лишь одна капелька рома, и – вот загулял, завертелся подвижник, ударился во все тяжкие, и пошел насмарку его великий, тяжелый подвиг.

Почти то же произошло на моих глазах с великими певцами. Они сразу оскорбились. Никто из них уже не жалел столь бережно своих голосовых связок. Тито Руффо с увлечением рассказывал о своих гастролях в Петербурге и Москве. Он изумительно имитировал пение Шаляпина, Тартакова и Леонида Яковлева: их тембры, их манеру давать голос, их своеобразные приемы, их жесты... Поздним вечером мы сидели на веранде лучшего кафе, пили «Лакри-ма-Кристи», болтали и хохотали. Наступала уже ночь, и все черное небо усеялось крупными южными звездами, когда мы (честное слово – и я в том числе) запели прекрасную народную песенку: «О прекрасная садовница». Вот она в приблизительном переводе:

О прекрасная садовница,
Мать всех цветов,
Сделай мне букет
Из всех трех красок:
Зеленой и белой
И красной, конечно.
Да здравствует Италия и Свобода!

E viva Italia e la Liberia!

Надо сказать, что эта песенка была в то время революционной и, следовательно, запрещенной.

Двое нарядных карабинеров (они всегда ходят по двое) подошли к нам, и старший сказал:

– Синьора, и вы, синьоры. Вы поете прекрасно, но эту песню петь публично не полагается, а потому, ввиду позднего времени, я попрошу вас разойтись по домам, если не хотите, чтобы я переписал ваши имена...

Мы разошлись, но еще долго, по несколько раз прощались, провожали друг друга, и снова прощались, и снова провожали, а за нами упорно и молча ходили нарядные карабинеры. Подняв руку вверх и потрясая ею, кричал прославленный баритон:

– Пишите мне, друзья мои, пишите. Адрес простой: Roma, villa Tito Ruffo²⁴.

²⁴ Рим, вилла Тито Руффо (ит.)

Бальт

Год, может быть, два назад произошло на севере Америки, в Аляске, событие не совсем обыкновенное.

В небольшом поселке Номе, глубокою зимою, открылась вдруг эпидемия дифтерита, до той поры никогда Ном не посещавшая. Количество заболеваний увеличивалось с грозной быстротой. Начались и смертные случаи. Единственный врач поселка был почти беспомощен перед лицом жестокой гибели, грозившей всему населению. Во всем Номе не нашлось ни одной ампулы с антидифтеритной сывороткой. Достать ее можно было – и то не наверняка – лишь в ближайшем городе, который лежал от поселка в трехстах верстах и не был с ним соединен ни железной дорогой, ни телеграфом, ни шоссе.

И вот один из жителей добровольно вызвался послужить обществу. Не знаю, кто он был – охотник или золотоискатель. Мне теперь очень досадно, что я своевременно не удосужился записать его имя. Он сказал:

– У меня есть хорошая, испытанная собачья упряжка. Я съезжу на ней в город, возьму там, сколько надо, вакцины и вернусь назад. Сделаю все это так скоро, как угодно будет богу.

Поехал и сделал. Нужно ли рассказывать о трудностях его путешествия среди безграничного снежного моря, в «белом молчании», без малейшего намека на дорогу или тропу, когда руководиться приходится лишь компасом и соединенными инстинктами человека и животных? Прочитайте об этом в прекрасных рассказах Джека Лондона. (Впрочем, нельзя не признать, что в случае, о котором идет речь, сама жизнь взяла и сочинила именно тот самый рассказ, которого, однако, не доставало у Лондона.)

На обратном пути, уже в последней трети дороги, упряжку захватила метель. Собаки выбивались из сил постепенно падали, поднимать их бывало невозможно ни лаской, ни уговорами, ни кнутом. Приходилось обрезать одну за другою постромки. Наконец, остались на ногах лишь человек и передовая собака, по имени Бальт. Теперь тащить за собою сани было и обременительно, и бесполезно, и их пришлось бросить.

Тогда хозяин прочно укрепил пакеты с драгоценным серумом на спине Бальта, накормил его в последний раз и, указав собаке направление, велел идти домой.

– А я пойду следом, – сказал хозяин.

Конечно, Бальт был в любой момент готов с восторгом положить свою верную собачью душу за малейший из интересов хозяина. Но в эту минуту он понял – о, несомненно, понял, – что хозяину скорая доставка груза гораздо дороже собственной жизни, и вот послушно побежал вперед и скрылся в бушующем снегу, в наступающем мраке ночи.

Чутье, инстинкт и силы не изменили Бальту. Он прибежал в Ном настолько быстро, насколько это было угодно богу, и своим знакомым лаем поставил сразу на ноги всех жителей, не привязанных болезнью к постели. И в то время, когда доктор обходил с чудотворной сывороткой один за другим дома, где находились больные, – навстречу хозяину Бальта уже мчалась спасательная экспедиция на свежих упряжках, с запасными собаками и с провиантом. Его нашли в тридцати верстах от поселка, еле живого, ползущего в снежных сугробах... Он задал только два вопроса:

– Сыворотка? Бальт?

Ему ответили:

– Все хорошо...

Он улыбнулся и потерял сознание.

Ну, чем это не рождественский рассказ, чтимые читатели и милые читательницы? Да еще рассказ, поднесенный самой жизнью? Надо к нему еще прибавить то, что и человек, и пес до сих пор живы, здоровы и неразлучны. На днях в Номе произошло торжественное открытие бронзовой статуи Бальта, воздвигнутой благодарным населением. Попервоначалу хотели было увековечить и смелого хозяина, но он круто отказался.

– Глупости!.. Вся заслуга принадлежит Бальту, а я только прогулялся... Сейчас передо мною газетная вырезка, на которой сняты бронзовый могучий Бальт, напряженно влегший в постромки, а рядом с ним живой Бальт и его хозяин, пришедшие полюбоваться памятником. Человек спокойно смотрит на чудесное изображение своего друга, но Бальт отвернулся.

– Какая же это собака, если от нее ничем не пахнет?

О, скромность сильных!

А вот я знаю еще и такую историю. В одном городе поставили одновременно два памятника двум местным уроженцам, людям мировой известности, и поставили еще при их жизни. Так вот оба великих мужа приходили каждое утро с разных сторон на площадь, где стояли их статуи, и некоторое время безмолвно их созерцали: каждый самого себя. Потом, точно по сигналу, окидывали друг друга гневно-презрительными взглядами, поворачивались друг к другу спинами и медленно покидали площадь. Мне Балът милее.

Типографская краска

Кадетом я писал стихи. Надо признаться теперь, что были они подражаниями Г. Гейне в переводе Михайлова и были очень плохи. О последнем я не сам догадался, а мне сказал молодой, довольно известный поэт Соймонов, когда меня к нему привел почти насильно мой шурин вместе с моими стихами. Нет! Мне не пришло в голову, что поэт зол или завистлив. Я просто перестал писать стихи, и – навсегда. Будучи потом юнкером Александровского училища, я ударился в прозу. Я дерзнул на нее потому, что очень легко и быстро писал классные сочинения для себя и для товарищей.

Между прочим, написал я рассказ «Последний дебют» из закулисной театральной жизни, которую, впрочем, никогда не видел и ничего о ней не знал. К этому меня поощрил другой московский поэт – старый, добрый, всегда восторженный Лиодор Иванович Пальмин, наш сосед по даче в Краскове.

В то лето я был «безумно» влюблен в старшую из трех сестер Синельниковых, в полную волоокую Юленьку – Юлию Николаевну. Ей я решил посвятить мою будущую новеллу. Правее и немного выше заглавия я сделал надпись: «Поев. Ю.Н. С-вой». Полного имени своего я под новеллой не писал; поставил просто: Ал. К-рин.

С нетерпением ожидал я появления моей новеллы, которую принял для просмотра «Русский сатирический листок» Н. Соедова. Ждать пришлось довольно долго. Наконец наступил вечер одного воскресенья, в которое я был наказан без отпуска за единицу по фортификации. Юнкера приходили один за другим и являлись к дежурному. Пришел, наконец, и мой товарищ Венсан, которого я попросил заглянуть в два-три журнальных киоска. В руках у него был толстый сверток. – Поздравляю! Есть!

Я развернул два номера «Листка», и каждый с моей напечатанной новеллой. О, волшебный, скипидарный резкий запах свежей печати! Что сравнится с ним в самых лучших, в самых драгоценных воспоминаниях писателя? Он пьянее вина и гашиша, он ароматнее всех цветов и духов, он сладостнее первого поцелуя... В душу мою вторгнулся такой ураган радости, что я чуть было не задохнулся. Чтобы утишить бурное биение сердца, я должен был перепрыгнуть поочередно через каждую койку в моем ряду туда и обратно. Я пробовал читать мою новеллу товарищам вслух, но у меня дрожал и пресекался голос, черные линии букв сливались в мутные пятна. Я поручал читать ближайшему юнкеру, но мне его чтение казалось совсем невыразительным, и я отнимал от него журнал.

О, незабвенный вечер!

На другой день я познал и шипы славы. Не знаю, каким образом узнал о моем триумфе ротный командир Дрозд (юнкера не были болтливы). После утренней переклички он скомандовал:

– Юнкер Куприн!

– Я, господин капитан.

– До меня дошло, что ты написал какую-то там хреновину и напечатал ее?

– Так точно, господин капитан.

– Подай ее сюда!

Я быстро принес журнал. Я думал, что Дрозд похвалит меня. Он поднес печать близко к носу, точно понюхал ее, и сказал:

– Ступай в карцер! За незнание внутренней службы. Марш...

Ах, я совсем позабыл тот параграф устава, который приказывает каждому воинскому чину все написанное для печати представлять своему ротному, тот передает батальонному, батальонный – начальнику училища, а одобрение, позволение или порицание спускается в обратном по-

рядке к автору.

Я пошел под арест. Я не унывал. У меня сохранился второй экземпляр. Я прочитал его множество раз про себя и, наконец, не удержался, прочитал вслух сторожившему меня солдату.

– Ну? Как?

– Здорово, – ответил часовой. – Только ничего не понять.

И еще огорчало меня одно обстоятельство: первые опечатки в первом сочинении, да еще в самых чувствительных местах. Вместо Ю.Н.С. было напечатано Ю.И.С., а вместо Ал. К-рин – А.Н. Крин.

– Пройдет незаметно, – думал я. – Юленька поймет. Да, она поняла.

По выходе из карцера я послал ей уцелевший номер с извещением, что моя новелла посвящается ей.

Я получил от нее убийственную записку:

«Вот так ваше посвящение! Во-первых, сочинение вовсе не вами написано, а во-вторых, оно посвящено вовсе не мне. Я не хочу вас больше видеть и на ваш училищный бал не приеду».

И – злая – не приехала-таки на наш блестящий юнкерский бал. Приехали ее младшие сестры Оленька и Любочка! В Оленьку я с горя и решил влюбиться на этом балу и к концу его действительно пылал, как Этна.

Рахиль

Киносценарий Действие I. Первая жизнь Рахили Первая часть

Поселок первобытного горного племени. Дома сложены из камня. (Может быть, шатры.) Лунная ночь.

У вождя племени в эту ночь родилась дочь. При рождении ей нарекают имя Рахиль. (*Имя показать на экране.*)

С детства Рахиль отличалась от своих резвых подруг. Любила одиночество. Собирала в горах цветы и красивые камни, украшала себя ими. Пела в горах странные песни. Не умела и не любила работать. Опаздывала к обеду и ужину. Сестра старшая прибила ее, оставила без ужина, выгнала на улицу. Рахиль плачет. Мальчик Симеон тайком к ней пробирается с куском хлеба. Вытирает ей рукой слезы. Отламывает хлеб, кладет ей в рот. Они расстались.

Дети играют. Рахиль в стороне. Уходит на холм собирать цветы. Плетет венок. Симеон за нею. Надевает на него венок. Зацепила платье за сук. Симеон помогает ей распутать. Платье разорвано. Общее горе. Симеон: «Я скажу, что это я». Приходят домой. Симеона прогоняют. Лия хочет бить Рахиль. Вступается Лаван. Старшая сестра, Лия, домовитая, злая и работающая, часто бранила и била ее. Братья тоже были недружелюбны. Не любили ее и девушки племени, так же как старики и старухи. Была она для них чужая, точно пришлица из неведомых стран. Одевалась иначе. Иные лицо, походка, жесты. Один патриарх, Лаван, отец странной девочки, заступался за нее.

Кроме того, был у нее двоюродный брат, мальчик Симеон, сверстник ее, с которым иногда она играла. Была она худа и некрасива.

Но вот из детского нежного возраста перешла она в пору девичества и, как это бывает с девушками, сразу, точно в одну ночь, расцвела и похорошела (*показать ее идущей с кувшином на плече*). И стала она любезной и желанной в глазах всех юношей и мужей Хоррама (*показать*).

Праздник. Девушки танцуют. Проходит Рахиль. Юноши останавливаются на ее дороге. Кто-то бросает ей цветы под ноги. Симеон поднимает. Идет с ней рядом, заговаривает робко. Она холодная и гордая.

Вслед ее красоте, вслед ее ароматам бежали они. Для того чтобы привлечь ее, слагали на праздниках любовные песни, метали копья и яростно боролись между собой. Каждый юноша мечтал о том, чтобы взять ее в жены. Она же оставалась равнодушной и к мужской красоте, и к лесть, и к любовным обольщениям. По-прежнему уходила в горы, садилась на дикой скале и пела. Простирала руки вперед. Нетерпеливо ждала: вот придет кто-то неведомый.

И для ее брата-друга Симеона наступила пора любовных томлений. Как тень, ходит он за Рахилью, везде ищет ее тоскующими глазами. Идет за ней в горы, следит. Однажды, забравшись к ней на скалу, обнял, стал целовать:

– Люблю тебя, прекрасная моя.

– Оставь меня, Симеон. Я тебя не люблю, я не тебя люблю. Будь мне по-прежнему другом и братом.

– Кого же ты ждешь, всегда устремляя глаза на запад?

– Не знаю. Жду неведомого.

Лия завидует младшей сестре и еще больше притесняет ее. Рахиль месит хлеб, мелет зерно на ручной мельнице. Лия грубо упрекает ее в лени. Полощет белье. Приносит на плече. Мнет его ногами в ручейке.

Оазис среди пустыни. Лагерь пастушеского кочевого племени. Палатка патриарха Исаака.

Патриарх. (*Призывает к себе своего сына Иакова.*) Сын мой, ты уже вступил в зрелый возраст. Хочу на склоне дней видеть твоих детей и детей твоих детей. Но среди женщин нашего племени не вижу для тебя достойной. Все они сварливы, злы и бесчестны. Итак, возьми верблюдов, навьючь на них хорошие подарки и завтра утром иди на восток, в Месопотамию, Хоррам, где живет друг моей юности Лаван, правящий сильным горным племенем. Там ты выбери себе девушку по сердцу и возьмишь ее себе замуж.

Иаков. Повинуюсь, отец. Но как же я выберу ту, которая будет угодна в глазах твоих.

Патриарх. Сделай так. Приди к колодцу, что у Западных ворот Хоррама.

Остановись там и жди. Вечером пойдут девушки с кувшинами за водою. Каждую из них ты попроси пить. Одна из них скажет: «Не только тебе я дам пить, но напою и твоих верблюдов». Знай, что это будет указанием тебе свыше.

Иаков. Да будет. Иду изготавливать караван. Иаков в пустыне на пути в Хоррам.

Иаков у колодца. Раздаются звуки пастушеской свирели. Идут стада, сопровождаемые мужчинами. Все толпятся у колодца. Одна за другой цепью спускаются сверху девушки с кувшинами на плечах, одна рука поддерживает кувшин, другая опирается на бедро, прекрасная и древняя, как мир, поза. Наполнив кувшины, разговаривают, смеются и одна за другой поднимаются наверх. Иаков обращается к некоторым из них: «Девушка, дай мне напиться. Я устал и жажду». Но девушки боятся его и сторонятся: они никогда не видали чужеземца. Юные пастухи смотрят недружелюбно на пришельца. Обмениваются между собой насмешливыми замечаниями, смысл которых понятен на всяком языке. Но Иаков внушает им почтение ростом, силой и спокойствием. Отдельно спускается Рахиль. Хор девушек. Вот идет Рахиль. Юноши. Гордая, прекрасная Рахиль.

Появляется Рахиль. Сзади, следом за нею Симеон. При виде Иакова на секунду останавливается пораженная, взволнованная.

Он выпрямляется и устремляет на нее глаза. И во все время, пока Рахиль спускается вниз, они не отрывают друг от друга восторженных глаз. Рахиль черпает воду из колодца, не переставая глядеть на Иакова. Иаков. Сестра моя, наклони кувшин твой, чтобы я мог напиться. Рахиль. Брат мой, пей, прошу тебя, а потом, если хочешь, я напою и твоих верблюдов.

Иаков напился. Пьют и верблюды.

Рахиль. Скажи мне, брат мой, кто ты и откуда пришел?

Иаков рассказывает. Симеон следит за ним с тревогой. В это время сквозь толпу пробирается Лия и серьезно, с недобрым вниманием и ревностью слушает слова Иакова. Он поразил ее воображение и сердце. Надпись на экране.

Он рассказывает. Одна же из них скажет: не только тебя напою, но дам пить и твоим верблюдам. Ее ты и возьмишь себе в жены. – Не дочь ли ты Лавана, брата и друга отца моего? Рахиль. Да, я дочь Лавана. Имя мое Рахиль.

Иаков. Прими же дары отца моего, вот эти золотые подвески и золотые запястья, и дай мне поцеловать тебя.

Рахиль *смущена*, краснеет, стыдливо отворачивается. Иаков обнимает ее. Она не сопротивляется. Опускает голову вниз. Иаков целует ее трижды²⁵. Смятение между девушек. Гневное

²⁵ Звук свирели.

движение среди мужчин. Симеон злобно порывается вперед. Лия останавливает его, подходит к сестре и делает ей выговор с суровым повелительным видом. Но когда Лия оборачивается к пришельцу, в ее глазах восторг и мольба.

Рахиль. Пойду, побегу к отцу моему. Он будет рад узнать, что пришел сын друга его. (*Убегает.*) Лия тоже уходит.

Молчаливая, оживленная сцена у колодца. Юноши хоррамские обступают Иакова, как шакалы льва. Но его спокойствие и сдержанность в движениях подавляет их. Когда он делает шаг вперед, они отступают. Когда же он уходит назад – они приближаются. Гневные крики и яростные жесты. Впереди всех Симеон.

По дороге к дому Лаванову:

Лия догоняет идущую Рахиль. Останавливает ее. «Отдай мне этого чужестранца. Я полюбила его с первого взгляда. Я старше тебя и должна выйти первой замуж. Ты молода и красива, ты найдешь, кого хочешь, а я, увидев его однажды, уже не буду ничьей женой».

Рахиль. Нет, нет, сам бог мне послал того, кого искала душа моя.

Лия останавливается, оскорбленная, задумчивая. Рахиль вошла в свой дом. Рассказала Лавану обо всем, что было у колодца. При имени отца Иакова он радостно встает и идет навстречу Иакову. Рахиль опережает его.

Продолжение сцены у колодца. Входит Рахиль. Перед ней все расступаются. Глядя только на Иакова, берет его за руку и ведет навстречу Лавану.

Встреча Лавана с Иаковом. Поздний вечер. Место у входа в жилище Лавана. Костры. Лаван сидит. Перед ним стоит Иаков. Сбоку Рахиль. С другой стороны Лия, Симеон и другие члены семьи, малые дети. Дальше, вокруг все племя. Иаков рассказывает.

Экран: ...и тогда поцеловал я ее и назвал сестрой своей и возлюбленной своей, а она повела меня навстречу отцу своему.

Лаван. Гляжу я на тебя и узнаю в твоём лице лицо друга моей юности Исаака. И тепло стало сердцу моему. Подойди, сын мой, и обними меня.

Иаков подходит и преклоняет колени между колен Лавана. Тот возлагает руки на его голову, подымает и целует.

Иаков. Прошу тебя, отец мой, да не прогневают тебя слова мои, скажи мне, не видишь ли ты во всем этом указания бога. Отдай мне в жены дочь твою Рахиль.

Лия (*вспыльчиво*). Обычай страны не позволяет отдавать младшую дочь раньше старшей.

Лаван (*сурово*). Замолчи. (*Задумчиво.*) Руку божью я здесь вижу, но не хочу поступать опрометчиво. Дам время подумать и тебе, и дочери моей. Семь лет ты должен прослужить у меня, как простой работник. Это будет и выкупом твоим за Рахиль, и испытанием для вас обоих. После этого срока отдам тебе в жены дочь мою.

Рахиль и Иаков склоняются. «Да будет так».

Лаван. С завтрашнего дня ты начинаешь работать. Ныне – ты гость. Да будет в честь тебя пир. Эй, женщины и рабы.

Пир в котловине между дикими горами. Танцы. Рахиль танцует перед Иаковом. Древний танец, заключающийся лишь в страстных и нежных изгибах тела. Состязание юношей в стрельбе из лука. Метание копья. (Это очень легко исполнимо, если привлечь к позированию гимнастов-любителей.) Симеон, как будто бы нечаянно, бросает копье так, что оно пролетает на вершок от головы Иакова. Иаков спокоен. Не торопясь, встает, выдергивает копье, застрявшее острием в дереве, и говорит: «У тебя слабая рука, брат мой, и неверный глаз. Посмотри, как надо метать копье».

Делает углем отметку на столбе, отходит на некоторое расстояние и мечет копье. «Пойди извлеки копье, брат мой».

Юноша не может вытащить. Не могут этого сделать и двое. Иаков возвращается спокойно на свое место рядом с Лаваном. Сконфуженный Симеон незаметно выходит.

Лаван наливает ему вина. «Пей, сын мой. Глядя на тебя, я молодою душой».

Женщины расходятся. Пир продолжается.

Сцены у дома Лаванова, в стороне от пира. Светит луна.

1) Симеон, пристыженный Иаковом, потихоньку ушел с пира. Стоит, прислонившись к стене, терзаемый ревностью, местью, унижением.

2) Лия проходит мимо него. «Мальчишка. Тебе не копье держать в руках, а женское вере-

тено».

3) Проходит Рахиль: «Ты это нарочно сделал, Симеон?»

– Да! Ты полюбила его, а не меня.

– Другой любви и не могу тебе дать, ты сам это знаешь. Я и теперь люблю тебя, как брата!

– Уйди, уйди, Рахиль, такой любви я не хочу. Я знаю, что мне делать. Уходит.

Место пира.

Лаван. Звезды высоко, дети, пора спать. (*Пир кончается.*)

Работа Иакова. На вершине холма, на фоне утреннего неба стоит Иаков, опершись на посох, устремив глаза вдаль...

Иаков идет сзади стада. (*Собаки! Два-три пастушонка!*) Отыскивает в кустарнике заблудившегося ягненка, приносит его к матери. Хорошо было бы поставить борьбу с волком или леопардом или показать хоть издали льва. Показать, как он наказывает непокорную овцу (отбегающую от стада). Издали мечет в нее камнем из пращи.

Иногда его навещает Рахиль. Иаков сидит среди горной лужайки на камне, плетет пастуший кнут из тонких сыромятных ремней. Вокруг стадо. Снизу подымается Рахиль. Принесла ему вина, сыру, хлеба и пр. Садится рядом с ним. Нанизывает на нитку сухие ягоды терна. Делает себе ожерелья и браслеты. «Нравится ли тебе?» Иаков хочет обнять, поцеловать ее. Она уклоняется. «Подожди, возлюбленный. Разве я не горю желанием? Смотри: целый год прошел, как минута; осталось только шесть». Гладит его лицо, руки. Уходит. Несколько раз оборачивается, посылает приветствия. Симеон, крадучись, незамеченный пришел вслед за ней. Видел сцену свидания. Мучается ревностью. Осторожно уходит вслед за Рахилью. Иаков заметил его. «Эй, кто там?» Симеон хочет убежать. Иаков: «Остановись, беглец. Камень из моей пращи догонит тебя». Симеон остановился. «А, это ты, Симеон. Зачем же ты бежишь? Ведь я подумал, что это овечий вор, а не ты».

Прошло три года. Звездная ночь. Стадо спит. Иаков смотрит на небо. «Еще три долгих года». Разводит костер. Ложится у огня. Иногда Иаков спускается с гор. Стрижка овец. Иаков идет по поселку. На крыше дома Лаванова – Рахиль. Обмениваются страстными взглядами. Выглядывает из двери Лия. Иаков ее не замечает. Юноши к нему враждебны. Но молча дают дорогу. Встречаются на улице с Симеоном. Останавливаются друг против друга. Симеон пылает ревностью и злобой. «А, это ты, брат мой Симеон. Помнишь, как я тебя принял за овцекрада и уже хотел пустить тебе вдогонку камень из моей пращи?» Симеон, сконфуженный, отводит взор. Уходит.

Прошло 7 лет. Семь лет работает Иаков за Рахиль, и показались они ему за семь дней, так как он любил ее. Последний день.

Рахиль среди ночи проснулась в своем доме. Засветила светильник. Одевается в лучшее платье. Вынимает из потаенного места подвески и запястья. «Подарок возлюбленного моего, жениха моего. Сегодня я буду принадлежать тебе, милый мой». Выходит. Идет в горы легкими танцующими шагами.

Иаков проснулся. Молится, простирая руки к разгорающейся заре. Приход Рахили. Радостная, бурная встреча. Ласки. «Оставь меня, возлюбленный. Семь лет мы ждали. Подожди еще только семь часов».

В селении. Лия приходит к отцу. «Отдашь ли ты Рахиль Иакову?» – «Да». – «Но разве ты не помнишь закона страны нашей, по которому нельзя выдавать младшую дочь раньше старшей?» – «Знаю. Но я дал слово Иакову и Рахили». – «Ты не сказал, что дашь ему Рахиль. Ты сказал только: «Дам свою дочь тебе», – но не сказал, какую из двух». (Разговор принял резкий характер. Лия вспыльчива и груба.) «Но в мыслях я думал о Рахили» и т. д.

Лаван разгневан: «Уйди из шатра дома моего, женщина: злоба и зависть на языке твоём».

Иаков и Рахиль спускаются с гор цветущим ущельем. Он обнял ее, она положила ему голову на грудь. Блаженство на их лицах.

Лия вышла из дома. Ищет и находит Симеона. Уводит его в безлюдное место. «Ты любишь Рахиль? Ты ненавидишь Иакова?» – «Да», – «Удовлетворишь и месть и любовь, если послушаешь меня». Говорит ему свой план – настойчиво, повелительно. Симеон убежден. Соглашается.

Лаван у себя в доме. Задумчив. Огорчен.

В селении веселая суeta. Готовятся к свадебному празднику. На площади много юношей. Торопливо входит Симеон. Потрясает поднятой вверх рукой. Кричит. Юноши собираются во-

круг него. С волнением внимают его горячей речи. «Лаван нарушил древний закон, выдавая младшую раньше старшей. Закон древнее патриарха. Пойдем к Лавану и скажем, что побьем камнями чужестранца, если не выдаст за него Лию». Его слова принимаются всеми горячо. Многие мечтали о Рахили, многие завидовали Иакову.

В горах. У источника. Рахиль и Иаков подкрепляются в дороге. Сели. Откусывают от одного куска хлеба. Пьют из одного сосуда. Смеются радостно.

Толпа перед домом Лавана²⁶. Лаван выходит. Требования. Лаван не уступает. Спор. Впереди Симеон: «Закон выше патриарха и клятвы!» – «Преступающий закон – не патриарх».

Лаван. Хорошо, Сохраню закон. Сегодня же прежде брака Рахили я выдаю замуж старшую мою дочь Лию. Кто из вас, храбрые и сильные юноши, возьмет ее в жены?

Молчание. Все поражены.

Лаван. Ты? Ты? Ты? Может быть, ты, Галим?

Галим. (*Хромой и горбатый юноша выступает вперед.*) Прости, отец. Но сказано прежде нас мудрыми людьми: «Соглашусь лучше жить со львом и драконом, нежели со злою женою».

Смех. (Игра Лии.) Лаван поникает головою в тяжелом раздумье. Потом подымает голову.

«Я внял вашим словам. В них есть истина. Но не с мальчиками, лиц которых не отличишь от женских, я буду держать совет. Попросите старейшин прийти в дом мой. А теперь разойдитесь».

Толпа неохотно расходится.

Сцена в горах. Рахиль спит, положив голову на колени Иакову. Он сидит неподвижно, боясь разбудить ее.

Покой в доме Лавана. (Обстановка.) Лаван сидит на почетном месте. Один за другим входят четыре почтенных старца. Приветствия в важном восточном стиле. Садятся. Лаван объясняет им положение дел. Вопрос громадной важности. Покачивают головами, поглаживают бороды. Наконец один старик лукавого вида находит какое-то решение. Сообщает его точно тайну, с видом хитрым и тонким. Старцы удивлены, не могут скрыть едва заметных улыбок. Один Лаван хмурится, пробует возражать. Но доводы всех убеждают его. Деловая сторона окончена. Лаван хлопает в ладони. Появляется Лия²⁷ с угощением (финики, верблюжье молоко). Обходит всех. Видно, что понимает, что решалась ее участь. Волнуется.

Иаков и Рахиль в дороге. Вдали виден город. Держатся за руки. Городские ворота.

Рахиль. Теперь мы должны расстаться. Нехорошо, если люди увидят жениха и невесту на улице до часа свадьбы.

Нежно прощаются. Войдя в город, идут по разным дорогам. Иаков один идет по улице. Злыми взглядами и улыбками провожают его юноши племени. Он спокоен и радостен. Не хочет уделять им внимания.

В доме Лавана. Старики и Лаван беседуют о делах домашних. Едят, пьют. Лаван печален. Входит Лия. «Сюда идет Рахиль». – «Позови ее, а сама уйди».

Иаков идет по улице. Один из юношей бросает вслед ему камень и тотчас же прячется за выступ стены.

Рахиль вошла в комнату. Вся светится радостью. Приветствует отца и старцев. В эту минуту она так хороша, что у всех на лицах умиление и восторг. «Ты звал, я пришла, отец мой».

Лаван (*лукавому старику*). Говори ты.

Тот говорит долго, убедительно, умно.

Она: «Нет, нет. Ни за что».

Говорит отец.

Рахиль. Никому не отдам его!

Вбегает Лия. Притворяясь испуганной: «Выйдите наружу, посмотрите, что делают с Иаковом» (или «Поглядите в окно, что делают с Иаковом»). Все смотрят.

Иаков на улице. Толпа сзади него гуще и смелее. Однако никто не смеет подойти ближе. У некоторых в руках луки. Камни летят чаще. Наконец один камень попадает Иакову в плечо. Он

²⁶ У многих в руках камни. Лия незаметно наблюдает с крыши или из узенького окна дома.

²⁷ Не подслушивала ли она?

быстро оборачивается, озлобленный болью. Нагибается. Вырывает из земли огромный межевой камень и с силой бросает его в толпу. Юноши разбегаются. Иаков продолжает путь. Видно, как один из юношей положил стрелу и натянул тетиву.

Рахиль. О, спасите его! Я на все согласна, всему подчинюсь. Возьми его себе.

Лия. Сохраните только его жизнь.

Старцы выходят к толпе. Успокаивают ее. Толпа расходится.

В доме. Рахиль плачет у ног Лавана.

Лаван: «Они убили бы его, а может быть, и тебя».

Она: «Пусть меня, но только не его!» Плачет горестно.

Лаван. Потерпи еще немного. Что это для истинной любви?

Рахиль, плачущая, уходит.

Девушки украшают цветами и гирляндами площадь перед домом Лавана. Иаков стоит перед овечьим загонем, куда приходит стадо, и считает овец и коз.

Свадьба. Костры, гирлянды, факелы. Музыканты. Сходятся почтенные старцы и приглашенные. Сзади толпа. Лаван с родственниками.

Комната Рахили. Ее одевают к брачному торжеству. Она печальна и безвольна. Лия (издали) наблюдает со злобным торжеством.

Подруги ведут Рахиль. Лицо ее, по брачному обычаю, закрыто чадрой. Видны только глаза.

Место свадьбы. Входит Иаков и преклоняет колена перед Лаваном. «Отец мой, ты назначил мне выкуп и испытание... и т. д. Отдай же мне в жены дочь твою Рахиль». Лаван. «Да, ты сдержал и т. д. И я сегодня отдам тебе в жены одну из моих дочерей». Иаков несколько встревожен, но не догадывается. Входит Рахиль. Жертвоприношение. Рахиль танцует перед гостями (зная заранее, что не она будет женою Иакова). Лаван соединяет их руки и возлагает свои руки им на головы. Лаван. Ты, Иаков, иди в свой дом (шатер) и ожидай невесту. Вы, девушки, отведите Рахиль к ней, чтобы она, по обычаю, простилась с родным домом. Рахиль и Иаков расходятся. Пир кончен. Дорога к дому Лавана.

В доме Лавана, на женской половине. Лия, Рахиль, их мать и подруги. Лия велит подругам уйти. Лия снимает с Рахили ее свадебные украшения. Надевает на себя. Рахиль покорна, печальна, молчалива (дрожит). Лия хочет взять у сестры ее золотые запястья и ожерелья. Но Рахиль не дает, «я буду кричать». Лия уступает. Мать уводит Рахиль в другую комнату. Входят подруги, окружают Лию и ведут. Дорога. Последние гости с любопытством глядят на процессию.

Иаков в шатре. Слабый свет светильника. Подруги подводят Лию к входу в палатку, прощаются с нею. Уходят.

Шатер Иакова внутри. Вход шатра распахивается, входит Лия. Иаков кидается навстречу ей. Хочет обнять, снять чадру. Она указывает ему на светильник. Иаков гасит его.

Лаван сидит внутри своего дома с печальными мыслями.

Рахиль притворилась спящей. Встает, прислушивается. Потихоньку уходит из дома. Идет по улице. Луна так ярко светит, что все в свету кажется ярко-голубым, а в тени – темно-зеленым. Останавливается невдалеке от дома Иакова, прислонясь спиной к дереву (к стене), опустив руки, склонив голову.

Подходит Симеон. Заговаривает с Рахилью. Сначала Симеон издевается над нею. Рахиль молчит. Но когда он начинает вновь говорить о своей любви, девушкой овладевает гнев. «Это ты сделал? Ты?» Теперь Симеон молчит, поникнув головой. «Уйди от меня! Ненавижу! Уйди!» Жест ее так повелителен и страшен, что Симеон отворачивается и уже делает несколько шагов от Рахили. Она вдруг подзывает его. «Подожди. Еще два слова. Ты любишь меня?» – «О да!» – «Ты сделал мне зло из любви?» – «Да». – «А если я попрошу тебя сделать мне во имя этой любви благо, ты сделаешь?» – «Да, да». – «Все, что я ни попрошу?» – «Да». – «Поклянись мне в этом перед всевидящим и страшным богом». Симеон клянется. «Симеон, ты мужчина. У тебя у пояса меч. Обнажи его». Симеон повинуется. «Помни же, клятву твою слышал бог». Разрывает одежду на своей груди. Указывает рукой на сердце. «Рази!»

Симеон в ужасе. Шатается. «Я думал, что ты прикажешь мне убить их обоих!» – «Рази! Помни клятву!» Меч выпадает из рук Симеона. «О, как ты его любишь!» Опускается на колени. Целует край платья Рахили. Встает, закрывает лицо руками. Медленно уходит. Потом едва видно, как в тени от дома он выпрямляется. Делает какой-то странный жест и мягко опускается на землю. Рахиль этого точно не заметила. Неподвижно стоит, бессильная, у дерева. Прислушива-

ется. Вдруг вздрагивает. Падает на землю. Ею овладевает припадок скорби и отчаяния. Она катается по земле, царапает пальцами песок. Встает, опять падает... и т. д. Наконец присела на корточки, охватив руками ноги, с головой между коленями, изредка вздрагивает всем телом.

Утро. Внутренность шатра (дома) Иакова. Брезжит свет. На постели спит женщина, лицом к стене. Видим только ее распущенные черные волосы. На полу, на звериных шкурах лежит Иаков. Иаков проснулся. Распахнул окно (дверь, полу шатра). Светло. Осторожно подходит к лежащей женщине. Встревожен. Тихонько трогает ее за плечо. Женщина быстро вскакивает и садится на постели. Тотчас же закрывает лицо руками. Но Иаков уже успел ее увидеть. «Это не Рахиль. Это Лия! Обман!» Хватает Лию за руку, заставляет встать и сильным движением бросает ее на колени. «Говори!»

Лия. Это Рахиль виновата... Отец заставил меня... (*Лепечет, точно в бреду.*) Иаков. Говори!

Улица. Город (поселок) пробуждается. Одинокие фигуры. Из дома выходит разгневанный Иаков. Влачит за руку Лию. Иаков. Лаван! Лаван! Выйди, погляди на твой и мой позор.

Выходит Лаван и его семейные. Собирается толпа. Иаков желчно упрекает Лавана. Лаван простирает руки, хочет говорить. В эту минуту Лия обернулась назад, увидела что-то необычайное. Хватает за руку Иакова. Заставляет его обернуться. Показывает пальцем за кулисы. Лаван, весь народ смотрят туда же. Общий ужас. Все медленно движутся в этом направлении.

Площадь за домом Лавана. По-прежнему скорчившись, сидит Рахиль. Невдалеке от нее труп Симеона; юноша в эту ночь пронзил себя мечом, павши на него. Лицо Симеона застыло в мольбе. Руки точно устремлены к Рахили.

Рахиль подымает голову. Медленно выпрямляется. Смотрит с жалостью и трепетом на Симеона, налево – с ужасом и отвращением на приближающуюся толпу. Толпа вокруг Рахили. Негодование. Из толпы вырывается Лия (фурия). «Отдай мне подвески и браслеты. Ты недостойна их носить. Они не тебе присланы патриархом Исааком, а жене Иакова, мне...» Рахиль покорно отдает.

Лия (*в бешенстве ударила сестру*). Смотрите все на нее и на мертвого! Их часто видели вместе! Что делала ты всю ночь возле нашего дома? Смотрите, кровь его на ней!

Хор. Кровь его на ней.

Лия. Изгнать ее из племени! Побить камнями!

Хор. Изгнать. Побить камнями.

Рахиль. Иаков!

Но Иаков точно окаменел от своих мрачных ревнивых мыслей. Рахиль бежит из поселка. Ее преследуют, бросают камнями. Она падает, поднимается, бежит, опять падает...

Стала Рахиль как скиталица возле домов и шатров своего племени...

Когда Иаков собрал караван и двинулся с семьей, рабами и скотом из Месопотамии на родину, Рахиль шла за ним, как рабыня и носильщица.

От постоянных слез и лишений она ослепла, но и слепая продолжала она любить Иакова.

Иногда тайком он находил ее на ее ночлеге возле вьюков и боязливо бросал ей кусок хлеба. Она произносила только одно слово «Иаков» и простирала к нему руки.

Но Лия всегда следила за мужем... «Иаков!» Не вождю и патриарху говорить с рабыней. Иаков уходит. Она ощупью находила в песке следы его ног и целовала их.

Жизнь с каждым днем уходила из ее тела, и освобождалась ее печальная душа.

(*неокончено*)